Август’ 2025

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года

УРАЛ

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Виктор ЛЯПИН. Догадавшись, что времени нет... *Стихи* **3**

Марианна ИОНОВА. Новая жизнь. *Повесть* **7**

Ольга ФАДЕЕВА. Милостью озноба. *Стихи* **71**

Александра ПОДЕНОК. Три рассказа **74**

Павел ПРОСКУРЯКОВ. Советские сказки. *Стихи* **81**

Никита ОРЛОВ. Слово о московском дворе. *Повесть* **85**

Надежда БОЛТАЧЕВА. Скворечника речь. *Стихи* **127**

Сергей КУЛАКОВ. Чарли Буковски неожиданно появляется. *Рассказ* **131**

Михаил МЕДВЕДЕВ. На сопках Маньчжурии. *Рассказ* **135**

Алексей ВИНОГРАДОВ. Синец. *Рассказ* **140**

Амарсана УЛЗЫТУЕВ. В Индию Духа купить билет. *Поэма* **143**

Игорь ОДИНОКОВ. Опасные хобби. *Рассказы* **150**

ДЕТСКАЯ

Мария ГЕРБЕР. По вагонам! *Повесть* **167**

Екатеринбург

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Сергей БОРОВИКОВ. Запятая — 36. *(В русском жанре — 96)* **202**

К СТОЛЕТИЮ ЮРИЯ ТРИФОНОВА (1925–1981)

Юрий ПОКЛАД. Поэзия и музыка прозы **209**

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Константин КОМАРОВ. Безлицый «Лицей» **213**

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Елена СЕВРЮГИНА. За пределами земных координат.
Борис Гриненко. Признание в любви. Роман **218**

Михаил ОРДЫНСКИЙ-ДАВИДОВ. Противостояние.
Алексей Мальцев. Перчатки с пришитыми пальцами. Роман **221**

Егор КУЛИКОВ. Не спеши, коза, все волки твои будут.
Эльза Гильдина. Коза торопится в лес. Роман **223**

Василий ГЕРОНИМУС. Пушкин за компьютером.
Борис Кутенков. 25 писем о русской поэзии **225**

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

Сергей СИРОТИН. Пространство страдания.
Джесмин Уорд. Пойте, неупокоенные, пойте **229**

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

С.В.С. Недолгое счастье.
Анора. Реж. Шон Бэйкер, 2024, США **232**

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Юрий КАЗАРИН. Лента белая моя... *(Несколько слов любви о Вадиме Месяце)* **235**

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

Василий ШИРЯЕВ. Последнее кочевье **236**

© Журнал «Урал», 2025.

Виктор Ляпин

Догадавшись, что времени нет…

***

И тайной вечери
их каменный корабль
плывёт в закатной мгле,
в кораллах и в горах,
в песках, в приливах, в днях,
в молчанье и в дожде,
послушный воле волн,
невидимый нигде.

Сладчайший мёд просвир,
лекало из лекал —
он птицам гнёзда свил,
он ночи извлекал.
Плывёт, плывёт, плывёт,
сандал и кипарис.
Кто сбился, кто устал,
кто ловит свежий бриз.

Сказать накоротке,
что эта плоть нежна,
и тают на руке —
мерцанья, снег, луна.
...И катится земля
в глаза, как спелый плод.
...На реки, на поля
плывёт, плывёт, плывёт...

Виктор Ляпин — родился в г. Кстово Нижегородской области. Окончил Литинститут им. А.М. Горького (семинар Е.М. Винокурова) и журфак МГУ. Работал футболистом, журналистом, помощником мэра, дворником, сторожем. Автор книги стихов и нескольких сборников пьес. Участник ряда российских и международных театральных фестивалей. Пьесы поставлены в театрах России, Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Австралии, Албании. Живет в Кстове.

***

Она говорила, целуя ладони:
— Бог с ним, мой небесный, бог с ним.
...И он оставался на мокром перроне,
тот, прежний, под ветром ночным.

Молила, шептала, целуя ресницы:
— Не плачь, мой небесный, не плачь.
Слова распахнутся, и белые птицы
смахнут твою боль неудач.

И пела негромко, и сказки дарила.
И долго глядела во тьму.
— Прости, мой небесный, — она говорила, —
прости эту горечь ему.

Он письмами листья осенние бросит.
Он выбелит жемчугом сад.
Он не возвратится. И где его носит —
не знает ночной листопад.

Но только в дыханье, но только в дыханье,
но только в прохожем вдали
узнаешь — бредёт... Сквозь листвы полыханье.
За краешек сладкой земли...

***

Догадавшись, что времени нет,
он сиреням бормочет нестрого.
И лампадки мерцающий свет
в небеса отпускает с порога.

Вязью грамот плотнеют в словах
раны свежие, берестяные.
Воздух волосы исцеловал.
Манит грешного в дали иные.

Старый служка, бездомен и юн,
прикрывает нестлевшею тканью
горстку слов в одиноком краю:
да пребудет в нас знанье-дыханье.

Не оставленный, пьёт тишину
заповедной реки над полями,
обнимая Россию-жену
белоснежной тоски кораблями.

Он неспешно идёт по траве,
растворяя и вновь проявляя
светлый полог в густой синеве.
...За пределами отчего края...

Шаламов

Они могут убить,
изнасиловать, выжечь клеймо.
И легко вам — «терпи» —
когда смолкло и небо само.

Они могут предать,
на костре тебя сжечь и золу
по листве разметать.
...Исполняя приказ, не по злу.

Огляди свои дни.
И потуже суму затяни.
...Всё, что могут они,
всё, что могут сегодня они...

***

Единый плод твой, осень, — не облако, не дождь,
и облако, и дождь, и мглистая дорога
средь полевых мимоз, их инистая дрожь,
их отданное золото убого.

Единый плод — не яблоко, не вишня,
и яблоко, и вишня, и гранат.
И голые деревья. Так уж вышло.
Их веток талость им самим странна.

Ты мчишься в необузданной метели,
ты отдаёшь без жалости себя —
грядущим вербам, мартовской капели.
Ты жертвенна, уход свой торопя.

Сжигаемой листвы алтарной воскуренья.
Лёд, застилающий глаза. И первый снег.
Единый плод твой, осень, — смутное прозренье,
шёлк ткачества, необратимый бег...

***

Облако окутало откос.
Образ бесконечной полноты.
Светоносный, вешний шум берёз
в небе наметался и остыл.

Миро проступает в синеву
из берёст, оживших от тепла,
и в новорождённую траву
смуглая крапивница легла.

Облако касается реки.
Облаком становится река.
И плывут, прозрачны и легки,
в светлой дымке реки-облака.

В тёмных безднах осеней и зим,
в зрелой черноте речной воды —
так и будет жить, душой храним,
образ вечной вешней полноты.

Бабушкина молитва

дай бог всем счастья правым и неправым
безгрешным грешным праведным лукавым

дай бог всем света милости терпенья
молящимся молитв и певчим пенья

дай встречи истомившимся в разлуке
скорбящим облегченья скорбной муки

болящим дай стиханья рвущей боли
невольникам возврата из неволи

крылом незримым словом неранимым
дай силы всем любить и быть любимым

кому бог счастье в сердце изливает
не мучает не лжёт не убивает

забитые тщеславием и ложью
пусть все сердца очистит счастье божье

Марианна Ионова

Новая жизнь

Повесть

Чистое безумие

Середина июля и середина дня.

Кажется, что на деревьях растут белые цветы, но это обратная сторона листьев.

Сегодня оно вдруг шагнуло ко мне, дерево, липа, мимо которой я прохожу почти каждый день и которую называю чудом. Я начинаю смотреть уже издали, приближаюсь, взгляд вверх и вправо, и я двигался по той же траектории, что всегда, на том же расстоянии в пару метров, но сегодня ее крона вдруг наплыла, как если бы я подошел вплотную к стволу и сам встал под нею.

Жарко и тихо, как бывает только в середине июля и в середине дня. Только зеленые с белым листья и серый кирпич. Деревья и пяти-, девяти-, даже двухэтажные дома, я стою посреди безмолвного жилого мира. Поблизости нет вокзала, а переулок — Вокзальный. В середине дня, притом буднего, в середине июля этот мир не только безмолвен, но и безлюден, людей среди домов и деревьев не водится. Кроме меня. И девочки лет десяти, которая выгуливает на поводке собаку по виду редкой породы. Корпусом и мастью собака напоминает лайку, только шерсть короче и морда массивнее, не такая острая, скорее как у бойцовых, но глаза большие и добрые.

«Что это за порода?»

«А это смешка, — отвечает девочка и со значением добавляет: — Охотничья».

«И на кого ты с ней охотишься?»

Девочка улыбается от смущения, у нее крупные передние зубы, бормочет, что ни на кого, и собака как-то сразу утягивает ее за поводок прочь от меня. Я не мог не заговорить хоть с кем-нибудь, стоя здесь один в середине мира, в середине июля, в середине дня, и совсем упустил, что вообще-то вынуждаю ребенка нарушать технику безопасности разговором с незнакомым дядькой. Нет, я понимаю девочку. Я выгляжу ненадежно — прямо скажем, одна сплошная издевка над благонадежностью. Гренадерского роста, в темных очках, футболке с надписью Planet Hollywood и ультракоротких

Марианна Ионова (1986) — родилась в Москве. Окончила филологический факультет Университета РАО и факультет истории искусства РГГУ. Печаталась в журналах «Воздух», «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «НЛО», «Гвидеон». С 2011 г. член редколлегии журнала «Гвидеон», участник проекта «Русский Гулливер». С 2014 г. работает в журнале «Новый мир». Лауреат премии «Дебют» в номинации «Эссеистика» (2011). Из последних изданных книг: «Рюбецаль» (2022), «Неправильные цветы» (2023).

шортах, а через плечо большущая, где нежно, где кричаще розовая — обляпанная огромными пионами, с ручками тоже пионового цвета — клеенчатая сумка.

Из-за болезни я потерял около десяти кило, так что одежда, в которой меня госпитализировали, жутковато на мне повисла. Зрелище проняло Валю, и в следующее посещение он явился с объемистой, сочно переливающейся клеенчатой сумкой, которую снаружи распирали розовые пионы, а внутри — Валины старые шмотки. Что сумку он подобрал самую вместительную, Валя мог и не объяснять. Я ничего не имею ни против розового цвета, ни против огромных розовых цветов. Чем дольше я смотрел на сумку, тем больше она мне нравилась.

Джинсы, которые отдал мне Валя, неплохо сели в бедрах, но до щиколоток не дотягиваются. Валя, наблюдавший примерку, обругал джинсы «ублюдочными», короче говоря, поскольку в палате не было кондиционера, я обрезал их чуть ли не по ягодицы. В тех же обновах я выписался, а что нельзя было надеть на себя, заполнило пионовую сумку. И ступил я на землю после трех месяцев линолеума и плитки теми же черными резиновыми сабо, которые Валя купил в подземном переходе рядом с больницей, видимо, от растерянности.

Я помню Валю пятилетним, а он меня — мы ходили в одну группу детского сада. Его отдали в школу с углубленным изучением немецкого, а меня в простую, он поступил в Суриковский, на факультет искусствоведения, а я в мореходку, он преподавал историю дизайна, а я плавал на сухогрузах, словом, жизнь как могла пыталась нас разделить и по прошествии более чем сорока лет сдалась. Признала-таки, что, несмотря на все миражи взросления, мы с Валей до сих пор ходим в наш детский сад.

Считается, что собаки не выдерживают человеческого взгляда, но, насколько я заметил, человек не дольше собаки способен выдерживать взгляд другого человека. Мы вообще и собственный взгляд не выдерживаем. Не можем долго смотреть на что-то. Поэтому возникла фотография. Про нее говорят, что она останавливает время, но на самом деле она останавливает взгляд, чтобы он держался и держался без нас.

Мой взгляд задерживается на детях немного дольше установленного теперь регламента, но я тут ни при чем, это все он, взгляд, он выхватывает детей, во-первых, потому что ребенок — типичное яркое пятно, нарушающее равновесие цветовой гаммы, всегда неожиданная деталь, хотя вроде бы естественная, а во-вторых, потому что ребенок — это другое.

Но и толстый парень лет тридцати в сиреневом плюшевом спортивном костюме, на ходу хлопающий в ладоши над головой и поющий высоким голосом: «Все не по пла-а-ану!.. Весь день не по пла-а-ану!..» — это тоже другое. И молодой щуплый кавказец, весь в черном, как мим, и в черной панаме, похожий на бородатую девочку, перебегающий улицу с картонной упаковкой яиц, прижатой к сердцу, — это тоже другое.

Думаю, я все-таки найду работу прежде, чем закончатся сбережения, но сначала хотел бы научиться не думать. Глаза — часть мозга, так что смотреть для него не менее почетная деятельность. Человек либо смотрит, либо думает, никогда одновременно. Животное не думает, и тут-то легко сделать ошибочный вывод, что оно смотрит, ан нет, животные не смотрят, они — видят. Только мы способны смотреть, а когда перестанем думать, то будем смотреть еще лучше.

Согласно навигатору, мне надо выйти на улицу Клары Цеткин. Спросить дорогу не у кого, но, двигаясь наудачу, вдруг обнаруживаю, что иду правильно. Меня ведет пространственная память. Все эти годы я помнил район Коптево, в котором и бывал-то, дай бог, трижды двадцать пять лет назад. Помнил, что по Коптевской улице ходит трамвай. Что над рельсами смыкаются сводами деревья.

Оборачиваюсь.

На том конце коридора деревьев медленно ковыляет фигурка — белая панама и две белые палки. Она не приближается и не удаляется по этому коридору. Она мерцает вечно.

Улица — это листва и свет. Улица — это портал. Улица — это исчезающий храм, храм, которого нет.

Поливальная машина ранним утром превращает тротуар в свет, в электрический свет, белый, теплый и яростный.

Я чувствую себя хорошо. После болезни я какое-то время мог есть только молоко и фрукты и чуть не загубил кишечник. Сегодня небо абсолютно ясное, хороший день, по-своему хорош и пасмурный, плохие для меня дни — это когда переменная облачность. Большие мягкие облака беспрерывно перемещаются, солнце то выйдет, то скроется, атмосферное давление скачет, и я чувствую себя полиэтиленовым пакетом, который ветер то прибивает к земле, то отрывает от нее, и каждый раз ему кажется, что это навсегда.

Лучше всего мне, когда я прохожу мимо маленьких пабов и закусочных, особенно вьетнамских. Перед входом раскладные столики и стулья, железные бочки, лужицы. Маслянисто-острые запахи. Я никогда не пробовал вьетнамскую кухню, но, проходя мимо, представляю, будто люблю ее, и меня наполняет тихая приветливость. Маленький мир. Тусклый жемчуг в воздухе. Редкие и крупные капли дождя падают на плечи, почему-то только на плечи, а не на макушку.

Недавно я понял, почему мне не нужна цель и не скучно идти и идти по улицам. Я хожу по своему городу как турист. Для туриста важно все. Турист ничего не пропускает. Турист не хочет никуда попасть. Он уже там, где должен быть. Главное с ним уже произошло. Он — здесь.

Улицы нравятся мне больше всего с изнанки. Гудит вытяжка из кухни кафе, мне нравятся ее жестяные трубы, нравится легкий запах перегорелого масла, не имеющий ничего общего с едой, сам по себе; нравится запах резинового покрытия на детской площадке.

Года четыре назад Валя делал подкаст о дизайне в Третьем рейхе и почти на девять десятых — о Карле Дибиче, том самом разработчике эсэсовской униформы, он потом еще владел фарфоровой мануфактурой, где отливались среди прочего столь любимые Гиммлером церемониальные подсвечники, а потом еще вступил в дивизию «Мертвая голова». Валя как раз подходил к «Мертвой голове», когда на него наехала прокуратура с обвинением в пропаганде нацизма. Ему многие намекали, что демонстрацией на себе собственноручно, при участии его жены Жени, по аутентичным образцам пошитых мундиров он пересек некую тонкую грань. На Валю завели дело, судили — и оправдали. Бывший Женин одноклассник состоит в коллегии адвокатов, и он, благородный человек, вместо того чтобы бежать от Вали как черт от ладана, уговорил своего коллегу по коллегии взяться за Валю по минимальному тарифу (если так говорится), и тот сотворил маленькое — или немаленькое — чудо, потому что свастики там у Вали и впрямь хоть носом ешь. Коллега-адвокат доказал, что помимо просветительской Валя преследовал цель внушить к Дибичу с его черными мундириками и белыми сервизиками омерзение как к латентному содомиту, а если бы дошел черед до «Мертвой головы», то и кровавому упырю. Но подкаст Валя все же закрыл. А вдогонку и Женя свой, о немецкой военной технике, — просто из солидарности, тут никто пропаганды не усмотрел. Вот так у них было: Женя по танкам, а Валя по тряпкам. Помню где-то когда-то виданный магнит для холодильника с таким мо, что, дескать, любовь означает не глазеть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Это полностью про Валю с Женей. Они точно смотрят в одном направлении. Сейчас Валя носится с историей Эдды Геринг, пусть даже для подкаста не хватает видеоматериала, а главное — куража. Навещая меня в больнице, он все рассказывал и рассказывал об Эдде, я выздоравливал, а его лихорадило.

Прекрасная Эдда. Кронпринцесса Третьего рейха — это не Валя придумал, так ее прозвали еще в пору, когда родитель восседал на нацистском

Олимпе. Крестница фюрера. На крестины получила в подарок от обер-бургомистра Кёльна картину Кранаха «Венера и купидон» из его личной коллекции (без какого бы то ни было давления, что бы он потом ни утверждал). Домиком для игр ей служила специально возведенная в папином поместье уменьшенная копия дворца Сан-Суси.

Она обожала отца, а тот — ее. А потом мать приводила ее к отцу в нюрнбергскую тюрьму. Маленькая Эдда знала, что ждет отца; да, все вышло не по плану, но все же это была смерть, для него, а для нее — пожизненная травма, словно пожизненное в какой-то серой башне, куда принцессу заключили оплакивать потерянную сказку, потерянного папу-короля. Может, не святого мученика, может, не героя (как для Гудрун Гиммлер ее папочка) — просто любимого и родного. Никаких свастик. Эдда была аполитична. Эдда была одинока. Есть одно фото ее совсем молодой, и с этим широким геринговским ртом, со «стрелками» по моде 60-х она похожа на Лану Дель Рей, только блондинка. Никогда не была замужем, потому что не за кого было идти, потому что не встретила — как и мы, на наше счастье, — кого-то хоть отдаленно подобного папе. Поступила на юрфак Мюнхенского университета и бросила, работала не то медицинским техником, не то лаборанткой в больнице, жила с матерью, ухаживала за ней последние годы, уязвленная, нелюдимая, хрупкая. В своей травме-башне из дымчатого стекла, куда не проникает свет, зато светит внутри негасимый отцовский образ. Принцесса Несмеяна. В тридцать три осиротела, а в тридцать восемь судьба подарила ей встречу, нет, не с тем самым, хоть отдаленно подобным, но все же со спасителем, с тем, кто вывел ее из затвора, распахнул перед нею простор новой жизни, его звали Герд Хайдеманн.

Журналист-международник первой, можно сказать, когорты, бывал в горячих точках, спас жизни своего коллеги и еще нескольких заложников в Аммане. Если ей было тридцать восемь, то ему сорок пять. Ну да, потом была эта история с поддельными дневниками Гитлера, после которой его поперли из «Штерн», считается, что для него дочь Геринга была таким же фетишем, как яхта Геринга, и только. Валя уверен, что все наоборот: Хайдеманн влюбился в Эдду до беспамятства, потому и написал книгу об ее отце и выкупил и отреставрировал для нее отцовскую яхту, продав ради этого свой загородный дом. Яхту, на которой можно уплыть в мир Эддиного детства, а рядом будут люди, которые помнили и ценили папу, Карл Вольф, например, которая станет плавучим двором снова сияющей принцессы.

Герду сейчас за девяносто, Эдда покинула нас в 2018-м. В конце жизни она на потеху всей Германии безуспешно судилась за то, чтобы ей вернули произведения искусства, которые наворовал ее батюшка посредством «арииизации» и грабежа из музеев. В моем воображении Эдда произносит голосом Ренаты Литвиновой: «Ну зачем евреям картины?..» Она и была Ренатой Литвиновой, только настоящей. Мне хочется думать, что Эдда не унаследовала отцовского цинизма, что скорее ей передались наивность и чистота матери, бесталанной актрисы с милым именем Эмми. Эмми Зоннеманн была из тех жен, которые отмаливают мужей, как жена Пилата или жена Аттилы, хотя не ручаюсь за историческую корректность.

Конечно, на самом-то деле, я думаю, Эдде нравилось быть дочерью Германа Геринга. И Герду, потерявшему от нее голову, помимо прочего нравилось, что она, его прекрасная Эдда, дочь Германа Геринга. И вовсе она не была изгоем в ФРГ «экономического чуда». Чьи государственные структуры и экономика были плотно прошиты бывшими нацистскими функционерами («Большинство командиров айнзатцгрупп выпустили через год-два!»). Эдда рассказывала, что таксисты везли ее бесплатно, стоило ей назвать свою фамилию.

После обвинения и суда Валя слегка сбрендил. Потому ему и нужна теперь Эдда, фарфоровая невеста, к которой не пристает сажа крематориев и сожженных деревень. «Упыри» — его определение, хотя, на мой взгляд, тут

он перегибает палку, не ко всем, далеко не ко всем оно применимо, многих ставили во главе карательного отряда и отправляли на Восточный фронт вопреки их воле, того же Отто Олендорфа, и Дирлевангер был единственным в своем роде, и все же, при самом непредвзятом подходе, — год, два, пять лет за газенвагены?.. Кстати, как раз Олендорфа американцы вроде выдали полякам, и те его повесили. А многих иных тридцать лет спустя принимали у себя на яхте — на папиной яхте — Эдда с Гердом. Обвинение в «пропаганде» Валю ошарашило, возмутило и в конечном счете подкосило, хотя, конечно, по-своему он повернут на Третьем рейхе, пусть и чисто эстетически. Герду нравилась яхта, он любовался ею, любовался Эддой, стареющей девочкой-блондинкой, обеих он спас.

Вероятно — нет, совершенно точно, Эдда была не такая, какую грезит и какой бредит Валя. Она все так и жила в Мюнхене, городе нацистской славы (курьезной славы: Гитлер придумал отмечать годовщины пивного путча, и в этом что-то такое есть по-гитлеровски отчаянное, чистое безумие — отмечать неудачу). Хайдеманна обвинили в мошенничестве и посадили на четыре года, после того как эксперты установили, что дневники Гитлера, которые Хайдеманн приобрел для «Штерна» у некоего якобы нашедшего их профессора, наглейшего аферист, и из которых журнал готовил сенсацию, — фальшивка. Думается мне, именно после истории с поддельными дневниками Гитлер всем окончательно надоел. Конечно, конечно, все было сложнее. С середины 80-х Германия стала уже не та. Не только потому, что поумирали папины соратники и вассалы, а потому, что к власти пришло поколение, для которого национал-социализм вонял, вот так просто. Таксисты уже не возили Эдду бесплатно. Таксисты были все больше турки да арабы.

На фото примерно конца 80-х у нее такие же мешки под глазами и такая же усталая улыбка, как у ее отца на фотографиях с Нюрнбергского трибунала.

Вчера Валя прислал мне электронное письмо, без заголовка и пустое, но с вордовским документом во вложении. Я позвонил Вале, и он сказал, что пишет сценарий художественного фильма, причем это должен быть российско-немецкий проект, сейчас на стадии «болванки», но мое мнение нужно ему чем раньше, тем лучше. Он определенно малость поехал после обвинения и суда, и все-таки я заявляю, что лет двенадцать—пятнадцать назад сценарий почти наверняка купили бы и поставили, и потом еще показали бы картину на Берлинском кинофестивале. Это шедевр. Правда, там есть накладка, чисто техническая, и устраняется она двумя кликами. Первые несколько страниц протагонист мужского пола, с Валиным хобби, это я про Третий рейх, но названный в мою честь Гелием. (Спасибо, в СССР не знали гель для душа, и меня не дразнили до 8-го класса, до курса химии, но и тогда всем очень быстро надоело повторять за мной каждую фразу мультяшным голосом, как после вдыхания газа-тезки.) Так вот, полсценария действует Валино alter ego по имени Гелий, а примерно на середине его как не бывало и вместо него — Таня. Зачем Валя решил сменить мужчину на женщину, я не интересовался, поскольку, в общем, догадываюсь.

Мне особенно нравятся первые страницы.

Гелий стоял перед дверью палаты и потел.

«Начните с «Гитлер капут!», а дальше само покатится», — пошутил завлаб в виде напутствия, и по лицу его было видно, что развеселить он пытается прежде всего себя.

«Растолкуй ему как-нибудь, что никто его травить не собирается, — сказал Гриша, провожая Гелия к палате. — Пролежать в глубокой заморозке семьдесят лет и ожить, чтобы тут же околеть с голоду, — ну я не знаю. Во всяком случае, нам наших трудов было бы жаль, а уж заслужил он их или нет — другой вопрос».

Накануне позвонил Гриша; бывший одноклассник Гелия, он подвизался главврачом клиники при Институте экспериментальной нейрофизиологии.

С Гелием они созванивались не реже чем раз в год, но и не чаще чем два раза в полгода.

«Слушай, у тебя же свободный немецкий? И ты по Третьему рейху специализируешься?..»

«Немецкий — свободный, но Третьим рейхом я больше для себя…»

«Не важно. Для себя или не для себя, ты в нем собаку съел, так?»

«Ну, насколько собаку — самому судить трудно…»

«Короче, приезжай. На месте разберемся… насчет собаки».

Гриша встретил Гелия у проходной института и проводил в кабинет директора. Там, помимо директора, были двое сотрудников лаборатории, вскрывших пресловутый бокс и сразу вызвавших Гришу.

Директор считал, что надо сообщить спецслужбам, а уж те свяжутся с посольством ФРГ, однако его мучило, что в таком случае с него и с остальных возьмут подписку о неразглашении, и тогда ценнейшую информацию невозможно будет ввести в научный оборот. Решено был с оповещением органов повременить.

Человек пока лежал в отдельной палате, а дикобраз жил при виварии. Его кормила Таня. Только пять человек во всем институте знали о находке: директор, Миша, Таня, Егор и врач, приставленный к замороженному, — его по необходимости пришлось ввести в курс дела. Медсестре было сказано только, что пациент немец, и велено при нем на всякий случай молчать. Со всех четверых директор взял клятвенное слово, что они никому ни гугу. Бокс, а также униформу спрятали и заперли.

Гриша, кстати, исчезает заодно с Гелием, его место занимает Миша, что мне даже больше нравится.

Связаться с посольством ФРГ? Первым опомнился Гриша: что с того, что немец, обнаруженный в боксе, гражданином ФРГ-то, строго говоря, не является. Справедливо. Тогда, по-хорошему, надо известить спецслужбы, тем более что звонок в посольство те все равно засекут так или иначе, долго в неизвестности не пробудут. Но в таком случае с него, директора, и с сотрудников лаборатории, которые вскрыли бокс, возьмут подписку о неразглашении, и пиши пропало научная сенсация. Сенсация, на минуточку, двух веков — как нынешнего, так и минувшего: кто-то еще в 1940-х подверг успешной витрификации человека и позвоночное животное, а мы обоих успешно разморозили и реанимировали!

«Прямо как у Водолазкина…»

«И не говори».

«До сих пор в себя не приду. Все-таки когда открываешь бокс, а там тебе остекленевший эсэсовец при всей сбруе…»

«Да в комплекте с дикобразом…»

«А я не могу прийти в себя от того, что мы это сделали! Если не засекретят — Нобелевская премия сто пудов!»

Теперь же громадная научная победа, которая их вполне занюханный НИИ в одночасье прославила бы на весь свет, а уж как подняла бы мировой престиж российской науки, эта одержанная почти случайно, наобум — сами едва верили, что он не погибнет при разморозке (а что не погиб — во многом заслуга тех, кто его криоконсервировал), победа теперь сама «заморожена» на неопределенный срок и того гляди ляжет под гриф «секретно».

Естественно, об отчете для ученого совета и речи быть не может. Но отдельную папку, пока что вне лабораторного журнала, все-таки создали, и вся цепочка, вся проделанная работа шаг за шагом, от вскрытия бокса до результатов анализа крови и клеточного материла, взятых у пациента фон Р. и у дикобраза, электроэнцефалограмм и электрокардиограмм, была туда Таней внесена. В том числе:

«Мужчина на вид лет 45. Одет в униформу члена общих СС образца 1938 года…» — тут интернет помог — «…при нем кинжал (на клинке выгравирована надпись Meine Ehre heißt Treue, на рукоятке — орел со свастикой и мертвая голова) и удостоверение гауптштурмфюрера СС на имя Готфрида Кристиана фон Р., 1900 г. р.

Дикобраз, подвид Hystrix africaeaustralis. На шее животного кожаный ошейник с жестяной бляхой, на бляхе выгравировано Sepp.

<…> Сделанные замеры показали наличие жизненных процессов, по интенсивности типичных для организма, находящегося в анабиозе».

«Вот бы не подумала, что у них наука была на таком уровне!..»

«Иногда решает везение. Может, они сами не верили, что получится. Как и мы».

Итак, с оповещением органов директор решил тянуть сколько возможно, да и с привлечением коллег из Германии, которым наверняка об опытах по криоконсервации в Третьем рейхе известно, тоже повременить. С одной стороны, если рассуждать беспристрастно, кому, как не им, его исследовать, тем более что бокс был вывезен в 45-м из Берлина незаконно, и, хоть и пылится тут семьдесят лет, никаких прав институт на него не имеет. А с другой стороны, вскрыли-то его мы, мы и реанимировали обоих, человека и животное, с применением институтом разработанных технологий. Охотнее всего директор никому вообще не выдавал бы этого Готфрида. Наблюдали бы его сами здесь, у себя, ну хотя бы год, а там — пожалуйста, приезжайте-забирайте кому надо, но не поселишь ведь в институте человека без документов, да еще фактически как подопытного; статья получится, да не та, мрачно пошутил Миша. Обидно до боли. Только бы спецслужбы уже ФРГ все это не засекретили, когда до них дойдет, а до них дойдет рано или поздно, хотя сперва, конечно, до наших. А если не засекретят, то даже сделанные Таней по горячим следам записи — почти готовая публикация «Science», «Nature» или «Cell». Тогда уже не так обидно, тогда, в конце концов, можно и поделить лавры с немцами.

Лаборатория клеточной нейрологии насчитывала, с руководителем, то есть Мишей, троих сотрудников. Все трое присутствовали при вскрытии бокса, даже Таня. И как же удачно она там оказалась с ее немецким на уровне С1…

Человек пока лежал в реанимации. Дикобраза поселили в виварии. Удивленным девочкам-лаборанткам Таня сказала, что, мол, да, понадобился дикобраз, а поскольку экземпляр ценный, доверить им она его не может, будет кормить и обихаживать сама.

Помимо лаборатории в составе троих ее сотрудников о находке знали только директор, к которому Миша сразу побежал, и главврач институтской клиники, которого по необходимости пришлось посвятить. Обоих замов, по научной и по административно-хозяйственной работе, директор привлекать не рискнул. Со всех четверых он взял клятвенное слово, что они никому ни звука. Бокс, а также униформу, удостоверение, кинжал и дикобразий ошейник спрятали и заперли.

На пятый день пациента перевели в отдельную палату — угроза жизни миновала. Мозг его функционировал нормально, но пробыть без сознания он мог еще и дни, и недели. Заходили к нему только главврач и медсестра. Медсестре было сказано только, что пациент немец, по-русски ни бум-бум, и чтобы, когда он очнется, она в палате молчала. Об этом-то — когда очнется — все посвященные думали с таким, на грани священного трепета, напряженным ожиданием, что, как выразился, директор, если нам самим потом не понадобится реанимация, это будет вторым чудом науки. Что ему в ближайшие дни обеспечен инфаркт, он мало сомневался.

Диалоги тоже очень хороши.

«Я в больнице?»

«Это клиника при научно-исследовательском институте. Я одна из сотрудников, которые окрыли бокс. Я знаю немецкий, поэтому буду вашим переводчиком».

Он слегка прищурился, и Таня подумала, что, наверное, он уловил ее акцент.

«Какой сейчас год?»

«2021-й. Доктор должен задать вам несколько вопросов о вашем самочувствии».

Врачу он сказал, что иногда у него нестерпимо болит все тело.

«Как называется государство, в котором мы находимся?»

«Российская Федерация».

«Федерация… Понятно. А город… город, где мы находимся…»

«Москва».

«Мы не в бывшем Берлине?»

«Что? А, нет! Мы в России, в Москве. Берлин в Германии. Вас вывезли оттуда в 45-м году…»

«Германия существует?» — спросил он чуть более возбужденно.

«И даже прекрасно существует. Одна из самых процветающих экономик мира. Один из самых высоких уровней благосостояния. Наука, медицина одни из лучших в мире. При этом демократический режим. Ни расизма, ни антисемитизма».

«И все благодаря вам, большевикам?» — Он хмыкнул.

«Отнюдь. Никаких большевиков, кстати, давно уже нет. Коммунисты в России больше не у власти. Советский Союз распался… Теперь мы тоже строим демократию или вроде того».

Таня выдохнула после этой непривычной сводки политинформации.

«Значит, Германия сохранила свою государственность и не входит в состав Федерации, правильно я вас понял?»

«Все именно так».

«Почему вы дрожите?» — спросил он.

«Волнуюсь».

«Со мной должен был находиться дикобраз».

«С ним все в порядке. Я сама его кормлю. Картошкой и яблоками, — Таня чуть не добавила: «…как написано в интернете». — Почему именно это животное было подвергнуто витрификации?»

«Я попросил. Это мой дикобраз, домашний. Я подобрал его детенышем в разбомбленном зоопарке. Из коллег его никто не мог взять, а снова отдавать в зоопарк, под бомбы…»

«Зепп — это кличка?»

«Да. Ему нужно обо что-то стачивать резцы… Дайте ему деревяшку, а то он сгрызет мебель».

«Напрасно вы не едите — вас никто здесь не отравит!»

«Я не боюсь, что меня отравят. У меня нет аппетита» .

«Скажите, немецкие газеты можно достать? Или лучше принесите мне, пожалуйста, радиоприемник».

«Я вам принесу… кое-что… У вас прямо тут, на кровати, будет и радио, и огромная библиотека, и кинозал. Вы узнаете, что происходит сегодня и что произошло за эти годы».

«Эти годы» вызвало наконец что-то вроде испуга в его глазах.

Таня не спала всю ночь, придумывая, как объяснить фон Р., что такое интернет.

«Представьте, что вы включаете некий прибор вроде портативного радиоприемника и не только узнаете новости, которые вам передают, но получаете доступ к гигантскому хранилищу информации, из которого извлекаете именно то, что вам нужно. Это хранилище везде и нигде — как радиоволны. Только не звук, а память. Вселенский архив. Понимаете?»

«Информация в виде частиц?»

«Что-то в таком роде. Я изучала естественные, а не технические науки».

Труднее всего фон Р. было уяснить, что нет никакой высшей инстанции, которая формирует невидимое хранилище, что внести в него свой вклад может кто угодно — от канцлера до мусорщика.

По-моему, чудесно. Как будто немного наивно, но в устах актеров реплики оживут и совсем иначе будут восприниматься. То есть уже не будут, ну да бог с этим.

На другой день к нему зашел с Таней директор. Он подробно расспрашивал о заморозке, и фон Р. охотно ему отвечал. Воздействие гипотермии на человеческий организм изучалось в Институте научных исследований военно-полевого назначения при обществе «Наследие предков». В конце 1942 года Гиммлер посетил их институт и беседовал в кабинете директора с руководителями нескольких отделов о перспективах криоконсервации и последующего оживления человека, и руководитель отдела заявил, что может на себя это взять. В результате отдел неофициально приписали к Институту научных исследований военно-полевого назначения. Руководитель отдела утверждал, что не знает, каково практическое значение нашей работы. Эксперименты понемногу велись, хотя финансирования еле хватало, а к 44-му году все средства уже шли на войну, да и сотрудников отправляли на фронт. Когда Красная армия наступала в Восточной Пруссии, а союзники высадились в Бургундии, никто из окружения фон Р. уже не сомневался, что война проиграна. Кое-кто из сотрудников предположил, уж не хотят ли заморозить фюрера, чтобы он, как новый Карл Великий или Фридрих Барбаросса, спал где-нибудь в подземелье, пока обстановка не прояснится. Тут Гиммлер наконец озвучил свой замысел: сохранить для потомков некоторое количество экземпляров нордической расы — на случай, если ее чистота окажется под угрозой. Было ясно, что избежать некроза нейронов и их необратимых морфологических изменений возможно, только если подвергнуть заморозке не умершего, а живого человека, введенного в состояние анабиоза.

«Эксперименты ставились на людях?» — спросила Таня.

«Да. На приговоренных к смерти преступниках. В этом не было никакой необходимости — с тем же успехом можно было замораживать теплокровных животных, это и другие понимали. Но руководитель группы убедил Гиммлера, что изменения психики, которые могут наступить после пробуждения, легче будет обнаружить у существа, наделенного речью…»

Гиммлеру доложили об успехе, и он велел сделать «первую партию» из нескольких добровольцев. Но доброволец нашелся только один. Рейхсфюреру послали мою фотографию и метрическую выписку, и он одобрил мою кандидатуру как хороший расовый тип».

«Почему вы на это пошли?»

Жена и две дочери фон Р. погибли во время британского авианалета. Сначала он попросился на фронт, но руководство института отказало на том основании, что адекватную замену ему в ближайшее время не найдут, слишком многие мобилизованы. Тогда он предложил себя в «добровольцы».

«Вы представляли себе, что вас ждет?»

«Я был почти уверен, что меня ждет смерть».

«И не допускали, что?..»

«Что очнусь в будущем? Допускал, но старался гнать мысли. Я полагался на волю провидения».

Мне кажется, переходы от эпизода к эпизоду просто мастерски решены, если можно так выразиться.

Из вивария слышался какой-то рокот. Это дикобраз, топая, тряс иглами.

Егор показал несколько длинных игл и помазанные йодом ранки на руке.

«Эта фашистская зверюга меня атаковала. Я только в мордочку ему заглянуть хотел, а он как повернется сразу ко мне жопой — простите, Татьяна Валентиновна, — рука и напоролась. Может, они у него отравленные, иглы. Может, это боевой дикобраз».

«Дикобраз Дирлевангера. — Миша улыбнулся через силу. — Хватит, Егорка, молоть чушь».

«Надо как-то осторожно ввести его в курс дела. Насчет того, что Гитлер застрелился, и вообще всего, что было потом. Как бы он на себя руки не наложил, если сам обо всем прочтет».

«А тебе его что, жалко было бы? — сказал Миша. — Я лично только за то, чтобы он себе мозги вышиб, как его фюрер. Я зашел к нему сегодня утром. Пытался говорить с ним по-английски, но он по-английски в сто раз хуже, чем я…»

«Господи, ну разумеется, это же не современный немец…»

«…Показал ему мемориал жертвам в Шоа в Берлине».

«Как показал?»

«Как-как — в смартфоне! Так эта гнида выбила у меня из рук смартфон и швырнула о стену».

«Да он не понял, что ты ему показываешь».

«Понял он. Под фотографией была подпись на немецком. Я просто хотел, чтобы он увидел… Просто хотел… У меня сегодня была мысль — может, отравить дикобраза и принести ему. Не из-за разбитого смартфона, как ты, наверно, догадываешься».

«Да, Татьяна Валентиновна, он тот еще фрукт, — сказал Егор. — Я погуглил, чего они творили. Если честно, раньше не особо интересовался. Мы с Михал Львовичем решили, потом, когда он совсем оклемается…»

«Да он уже оклемался, — вставил Миша. — Здоровенный лось».

«…В общем, устроить ему маленький Нюрнберг…»

«Да вы с дуба рухнули?! Кто вас уполномочил? Игра в войнушку вам это, что ли?»

«Знаешь, это твое женское миротворчество… лично меня просто оскорбляет», — сказал Миша.

«Я тут, кстати, тоже погуглил… Дикобразье мясо, оказывается, употребляется в пищу. Так что можете ему передать…»

Нет, с диалогами Валя — для новичка — справился на пятерку.

«Германия стала великой без Гитлера и Тысячелетнего Рейха. Разве вы не рады?»

«Это не величие. И это не Германия».

Да, диалоги чуть схематичны, но надо иметь в виду, что их переведут на немецкий, а потом снова на русский, и появится такая благородная отчужденность.

«Дело не только в женщине-канцлере и не в этих так называемых беженцах, и вообще я ничего не имею против турок и арабов, и даже негров самих по себе, на положенном им месте… Но Германию лишили Германии. Все, что называлось Германией… Культура… Нация…»

Он подбирал слова и пытался выразить то, что и сам, похоже, понимал скорее интуитивно.

«Скажите, вы правда верили в гений Гитлера?»

Таня долго шлифовала свой вопрос, пока он не стал выглядеть именно так.

«Разумеется. Он отождествлял свою судьбу с судьбой немецкого народа. Он готов был на все ради Германии. Не говоря уже о том, что никакой другой альтернативы коммунистам, которые иначе в конце концов захватили бы власть, просто не было. Было очевидно, что с таким лидером нам нечего бояться ни Антанты, ни экспансии большевизма».

«И это все… оно вам нравилось?»

«Целью похода на Советский Союз было свержение большевистского режима, опасного для стабильности в Европе. Да, у Гиммлера была идея насчет завоевания жизненного пространства до Урала…»

«И у Гитлера. Вы же читали «Мою борьбу»?»

«Читал, конечно, но книга была написана в 1924 году, с тех пор фюрер, несомненно, пересмотрел свои взгляды и отказался от этой странной затеи, а вот Гиммлер был ею одержим, да, но все знали, что его утопические проекты — просто фантазии, из моих знакомых по крайней мере никто не рвался переселяться фермерами в Россию, это просто смешно… Если бы со Сталиным покончили… вероятно, к власти пришло антибольшевистское правительство, лояльное Рейху, а в дальнейшем, возможно, европейская часть России стала бы германским протекторатом…»

«Потому что немцы должны управлять славянами?»

«А лучше, когда ими управляют евреи?»

Внезапно он посмотрел на Таню пристально и словно издалека.

«Между прочим, вы бы прошли расовый отбор. Ваша внешность соответствует критериям нордического типа».

Почему-то в этом месте, независимо от содержания реплик, я вдруг прозрел относительно того, что мой мир центробежен, а Валин — центростремителен. Мой мир точно клякса, а Валин — точно литая капля.

Директор связался с Центром молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка в Берлине. Там срочно оформили командировку для нескольких сотрудников. Миша должен был сделать доклад на закрытом заседании у директора.

«Ну, а нам обязательно сообщать им о дикобразе?» — произнес Миша раздумчиво.

«Михаил Львович, я всегда говорил, что вы супермегамозг»

Сотрудники берлинского Центра молекулярной медицины в сопровождении представителей германских и российских спецслужб сначала посетили лабораторию и выслушали Мишу. Осмотрели и сфотографировали бокс, униформу и удостоверение пожелали забрать на экспертизу. Затем их повели в клинику. Они столпились в какой-то растерянности у постели фон Р. и казались еще более пораженными, чем были поражены Миша, Таня и Егор, когда обнаружили его в боксе. Они захотели сами взять у него кровь и клеточный материал для анализа на своем оборудовании, и директор хоть и явно обиделся, но разрешил.

Фон Р. повторил то, что рассказал директор. Под конец он попросил, чтобы ему разрешили, когда он окончательно поправится, посмотреть Москву. Все опешили, эта просьба, вполне предсказуемая, звучала как-то нереально.

«Что теперь с ним будет?» — спросила Таня немецкого офицера безопасности.

«Скорее всего, он предстанет перед судом как нацистский преступник. Для этих преступлений нет срока давности».

На мой взгляд, замороженный эсэсовец здесь самый живой, да так, наверное, и должно быть.

То он твердил, что вышел бы из СС, если бы «все» узнал, то говорил, что принес фюреру присягу повиноваться до смерти. То он говорил, что Европа стала сателлитом Соединенных Штатов, а значит, нужен новый фюрер, с которым Европа вновь поднимется, и его появление не за горами. То, что можно было достойно для Германии завершить войну, если бы фюрер еще в 43-м заключил сепаратный мир с Англией и США, а мешал ему своим дурным влиянием Борман; то, что это Англия и США выдвигали совершенно унизительные условия для заключения мира и по их вине война привела-таки Германию к гибели.

«Но фюрер умер бы раньше вас в любом случае, даже если б не покончил с собой».

«Тогда его преемнику. И преемнику преемника».

В развязывании войны, по его мнению, были виноваты те же Англия с Францией, и они же — в геноциде евреев: англичане ограничили еврейскую эмиграцию в Палестину, а французы не предоставили Мадагаскар. А на территории Польши невозможно было разместить такое громадное гетто, иначе куда пришлось бы деть поляков. Создавать местные гетто значило бы создавать очаги сопротивления в тылу, как и получилось в Варшаве… От безысходности было принято это окончательное и трагически ошибочное решение, ошибочное и «в высшем смысле», и для судьбы Германии.

«Да как вы не понимаете, что все планомерно шло к геноциду! Почему было с самого начала не оставить евреев в покое?»

«Это вы не понимаете, в вас говорит либо наивность, либо наследие большевизма…»

И он начинал объяснять Тане про мировой масонско-еврейский заговор. Таня не пыталась спорить и не слушала. Она думала о том, что перед ней человек двадцатого века, и этот двадцатый век не столько в том, что он говорит, сколько в том, как он говорит. Не воззрения, а убежденность, чистота этой убежденности осталась в двадцатом веке.

Он говорил, что войну начали преждевременно, это было трагической ошибкой фюрера, стране не хватало ресурсов, а потом, словно забыв, утверждал, что ошибкой было воевать на два фронта, и тут фюрер допустил ошибку, то ли двинувшись на Россию, то ли не заключив, пока еще было не поздно, сепаратный мир с союзниками.

«Сказала бы ему, что сам фюрер был ошибкой», — отреагировал Миша.

«Я не могу ему такого сказать».

«Почему?!»

«Потому что человеку можно сказать только то, что он способен вместить» .

С Мишей говорить о фон Р. стало невозможно. Таня теперь разговаривала с главврачом, человеком неэмоциональным, как и большинство врачей. Фон Р. много спал, и они, бывало, смотрели на него, спящего.

«Строго говоря, зла не существует, — шепотом сказала Таня. — Никто не хочет творить зло. Каждый считает, что он на стороне света. Каждый хочет добра. А потом на пути этого добра оказывается что-то, что этому добру мешает. Мировое еврейство, например. Но пока человек не нашел врага своему добру, зла не существует, и человек добр, и это так прекрасно. Как он во сне. Правда ведь, он сейчас прекрасен?»

«Тогда, выходит, он безнадежен, — шепотом сказал главврач. — Тогда он неисправим. Добро ведь не исправишь, добро не ошибается. Понимаете, да?»

Таня думала о том, что для тех, кто на Нюрнбергском процессе смотрел документальный фильм об Освенциме, Освенцим, еще не успев стать историей, уже был символом бесчеловечности. Для нее и даже для Миши он — история. А для Хёсса Освенцим был его жизнью. И проживи Хёсс хоть сто лет, Освенцим всегда был бы для него его жизнью, хоть бы для всех вокруг стал не просто символом бесчеловечности, а символом бесчеловечности в истории. Мы читали про Третий рейх книги и смотрели фильмы,

а для фон Р. Третий рейх — жизнь, его жизнь. Сейчас он тоже прочитал книги и посмотрел фильмы, но жизнь сильнее, жизнь в конечном счете перетянет. А значит, он безнадежен. Значит, он неисправим.

«Я была не права, — шепотом сказала Таня. — Все-таки зло существует. И я верю в способность человека различать добро и зло».

«Знаете, мне всегда горько, когда при мне говорят что-нибудь вроде "я верю в добро"…»

Таня взглянула на него с недоумением.

«Веришь в то, чего не видишь, — шепотом объяснил главврач. — Об этом еще апостол Павел писал. Применительно к чему-то человеческому, а не божественному вера — последнее дело».

На другой день фон Р. встретил ее, лучась отчаяньем и нетерпением.

И откуда у Вали это: «лучась отчаяньем»? А с другой стороны, откуда весь его Третий рейх?..

«Знаете, Таня, вчера я был не прав».

Таня сама удивилась охватившему ее радостному предвкушению.

«Не прав, говоря о том, что окончательное решение было принято от безысходности. Нет. Такая радикальная мера не могла не быть тщательно обдуманной и взвешенной. Вопрос в том, что толкнуло на нее фюрера? Какая у него была причина для такого шага? Вот что я хотел бы понять!..»

Он считает, что это можно понять, подумала Таня. Ему не приходит в голову, что понять такое никто не может и не должен.

«Отвлекитесь вы от фюрера. Я бы на вашем месте задалась другим вопросом. Почему люди делают такое с людьми. Почему по приказу фюрера ли, кого-то еще мы, люди…»

И тут произошло неожиданное. Он натянул одеяло на голову, и оттуда послышались рыдания. Таня как ошпаренная выскочила из палаты. Напрасно она ему это сказала, нельзя было такого говорить.

«Знаете, о чем я думал? Сколько мне лет? Сто двадцать или сорок четыре? Какая-то нелепость… Нелепость, что, если бы я 44-м не захотел оборвать свою жизнь, я давно бы умер, а выходит, я увеличил свою жизнь вполовину. Нелепость, что я еще живу. Скажите, я не должен жить, ведь так?»

«Должны, — ответила Таня автоматически, не успев подумать. — Раз живете, значит, должны»

«Вы имеете в виду божественный промысел?»

«Наверное».

«Когда меня подвергнут экстрадиции?»

«Точно пока неизвестно».

«Значит, в Германии я предстану перед судом? Как преступник?»

«Вероятнее всего».

«Говорите, Берлин почти полностью отстроен заново и его я не узнаю? Я никогда не любил этот город, вообще не люблю большие города, но мне и любопытно, и страшно» .

«Вы должны меня ненавидеть».

«В идеале должна».

«Но не ненавидите».

«Нет».

«Почему?»

«Мне кажется, я вообще не умею ненавидеть. Во всяком случае, не умею ненавидеть "потому-что-должна"».

«Но остальные… Миша…»

«Миша — еврей и, строго говоря, имеет право испытывать к вам ненависть, но и он вас по-настоящему не ненавидит, я знаю его и вижу это».

«Зеппа нельзя держать в тесном помещении — дикобразу нужно жизненное пространство под открытым небом, иначе он захиреет. У меня Зепп жил на лужайке за домом, там он сам себе вырыл нору. Отдайте его в зоопарк».

«Я вам это обещаю».

Жизненное пространство, Lebensraum, повторила про себя Таня.

В этом месте сценария до меня дошло, что я читаю никакой не сценарий, что невозможно сделать так, чтобы зрители услышали, как Таня повторяет про себя за Готфридом Lebensraum, разве только это Lebensraum предстанет белыми буквами на внезапно черном экране.

Если немцы не побоятся шумихи и решат обнародовать научную сенсацию, процесс над фон Р. в Германии будет публичным. Он станет «звездой» (и наверняка иконой «правых»), и больше пятнадцати лет ему вряд ли дадут, а отсидит он еще меньше. Если же они захотят удержать все в тайне… Из фон Р. сделают «железную маску» — засунут в спецтюрьму или спецдурдом пожизненно.

«Как ты думаешь, он учел оба варианта?»

Кто-то из персонала клиники заразил фон Р. ковидом. Теперь отправка в Германию задерживалась на несколько недель.

«Может, сдохнет».

«А ты действительно этого хочешь?»

«Я не понимаю! Я отказываюсь понимать! Ты ходишь к нему, разговариваешь с ним!.. Смотришь на него…»

«Я хожу к нему как в музей. Он для меня экспонат. И потом, отчасти мне его жалко. Да-да, жалко».

«В эсэсовцах есть для вас, баб, что-то притягательное».

«Да-да-да, и в детстве я была влюблена в Тихонова-Штирлица».

«Не прикрывайся Штирлицем, нечего меня за дурака держать, — в Дирка Богарта из «Ночного портье» ты была влюблена, признавайся!»

«Мы не в гестапо, чтобы признаваться. Прости, Миш…»

Вот здесь я ощутил такой даже не прилив, а приступ любви к Тане, к Мише, к Вале, к фон Р., к Зеппу, что опустил руку со смартфоном, на котором читал сценарий, как если бы собирался что-то метнуть этой самой рукой, но передумал.

Когда к фон Р. снова стали пускать, Таня вызвалась его проведать, тем более что она ковидом переболела. Она сама не знала зачем. Все вопросы она задала и ответы получила. Они больше не говорили о судьбе Германии, Гитлере, евреях. Фон Р. рассказывал о своем детстве. Поместье отца в Восточной Пруссии, их было четверо братьев, он младший, и сестра, Ульрика. Он обожал животных. Они с сестрой постоянно подбирали раненых птиц, которых выхаживали, у них жили то ежи, то белки, были, конечно, собственные кролики, собаки, а однажды егерь принес им в подарок странного щенка — это была помесь собаки и волка. У них на попечении тогда же жил козленок, и эти двое детенышей сначала друг друга боялись, а потом стали играть, правда, когда козленок подрос, его вернули на ферму. В детстве фон Р. долго не мог определиться, кем же больше хочет стать, военным или ученым-зоологом, то просил отца отдать его в прусский кадетский корпус, то заказывал на Рождество и на день рождения атласы живой природы.

Все трое старших братьев погибли на Великой войне. Он мечтал отомстить за них, да и вообще стать солдатом кайзера, но едва дорос до призывного возраста, война кончилась. Ему было так больно.

«Один раз я уже умирал. Из той Германии я остался один».

И слава богу, подумала Таня. И тут произошло нечто удивительное. Фон Р. взял Танину руку и положил себе на глаза, а свою руку поверх Таниной. Таня смотрела на кольцо с «мертвой головой» на его пальце.

«Все это чушь. Я внушал себе, что верю во все это: арийская раса, предназначение Германии. Я хотел убежать от себя. Во мне самом есть славянская кровь, но я не поэтому хотел убежать от себя. Почему многие хотят от себя убежать? А потом мне было страшно того, что творится, и того, что я говорил себе и вслух, страх и отвращение».

«Скажите это на суде, и вас, может быть, оправдают».

«С тобой я чувствую себя в безопасности. Почему? Ты поможешь мне уйти?»

«Куда уйти?»

«Уйти совсем».

«Нет, я не хочу. Ты должен жить».

«Ради чего?»

«Потому что это твоя судьба. Судьба и человека, и страны может заключаться в том, чтобы жить не ради чего-то, а просто потому, что, живя, можно что-то понять… Потому, а не ради» .

«Это значит пережить свою судьбу», — сказал он.

Тут он закашлялся и отвернулся к стене.

«Какой отвратительный грипп… Ты придешь завтра?»

«Я буду приходить каждый день».

Он скоро умрет, подумала вдруг Таня.

Он кашлял все меньше, но слабость не проходила.

«Зачем ты вступил в СС?»

«Юношеская мечта о военной карьере… У них были мундиры, звания, почетные кинжалы, дисциплина… Штурмовики меня раздражали, потом я никогда не был поклонником идеи «мужского братства», грубости. У СС этого не было, они претендовали на аристократизм. Можешь не верить, что я правда не подозревал о размахе… того, что делалось… Я был уверен, что евреев просто выселяют. Если бы я только узнал… Я бы сразу вышел и из партии, и из СС!»

Господи, все это говорилось шестьдесят—семьдесят лет назад. Как странно, что она сейчас слышит это и это говорится ей.

От врача Таня узнала, что фон Р. просил подержать его здесь подольше. Через неделю, зайдя в палату, Таня застала ее пустой.

«Сегодня рано утром забрали», — сказал главврач еще взволнованно и уже с облегчением.

Медсестра отдала ей кольцо, которое нашла под кроватью. То ли фон Р. снял его, то ли оно само соскочило с пальца — во время болезни он исхудал.

Концовка офигенная. Я, во всяком случае, совсем не такого ожидал.

«Теперь мы либо очень скоро о нем услышим, либо не услышим никогда», — сказал Миша.

Вскоре директору позвонили и дали понять, что любые печатные и устные упоминания о фон Р., тем более публикации в международной прессе, очень нежелательны. Вот тогда у него случился инфаркт. Директор ушел на пенсию, и его место занял бывший зам по научной работе. Сначала он периодически намекал Мише и Тане о том, что ему нечто известно, а потом вдруг вызвал Мишу и спросил без обиняков, почему они не начинают опыты, допустим, на собаках, ведь имеется полное пошаговое описание всей работы, полученное Татьяной Валентиновной из первых уст. Миша сказал, что неэтично использовать достижения других ученых, на которых нельзя сослаться, даже если это нацистские ученые.

Но и все в лаборатории после истории с фон Р. как-то сдали, даже Егор, впрочем, он меньше чем через полгода уволился, и его как-то подозрительно

сразу прибрала крупная фармакологическая фирма на, говорили, очень приличный оклад.

Прошел год. Таня вытащила из почтового ящика конверт, в котором было письмо. Последний раз Таня видела написанное от руки личное письмо, когда училась в младших классах.

«Дорогая Таня!

Меня не судили. Мне предоставили право решать: либо мою историю сделают достоянием гласности, либо я получаю новые документы и новую биографию, но, если захочу открыться кому-нибудь, должен буду сначала поставить в известность своего «наблюдателя». Я выбрал второе. В моем новом паспорте указан год рождения 1976-й. По совпадению это год смерти моей младшей сестры Ульрики. Я был на ее могиле. У нее остались дети и внуки, но я не готов искать с ними контакта и, возможно, не буду готов никогда. Пока у меня не возникло и желания кому-либо открываться.

Я работаю в зоопарке. Стараюсь как можно меньше контактировать с людьми. Привыкать к этой жизни трудно, но и та, прежняя жизнь отдалилась так стремительно. Люди, которых я знал, с которыми разговаривал, давно умерли. События моей собственной жизни изучают как историю. Никаких следов Готфрида фон Р. в современной Германии не осталось. Иногда я кажусь себе своим собственным внуком. Врач, который здесь меня наблюдает, сказал мне: не понимаю, чем вы заслужили вторую жизнь. Не думаю, что вторая жизнь такая уж награда. Посылаю тебе свою фотографию. Сейчас никто не берет в руки фотографии, я пишу тебе об этом не для того, чтобы сообщить что-то, чего ты не знаешь, а для того, чтобы кому-то об этом сказать. Тебе это может показаться странным, но ты и сегодня мой единственный друг. Прости, если тебе это неприятно, но для меня это так. Не знаю, хочешь ли ты снова меня увидеть, но я бы очень хотел увидеться с тобой. Если ты не вспоминаешь меня с неприязнью, напиши мне, пожалуйста, по этому адресу.

Твой Готфрид.

P. S. Надеюсь, Зепп жив».

Я читал сценарий часов до трех ночи, потом уснул, и мне приснилась маленькая комната, и в ней мы с Валей гоняемся за Гитлером, а он от нас — по потолку. Утром я встал, побрился, помолился и отправился искать улицу Клары Цеткин, где меня ждали на собеседование. Я нашел ее.

Конечно, с таким резюме упрекать мне некого и не в чем. Сорокавосьмилетний бывший моряк торгового флота, после только что перенесенной пневмонии от каждого легкого осталось по половинке, как мне объяснил врач без обиняков. А кем ты себя видишь, осторожно спросил Валя в день, когда меня выписывали. Кем-нибудь вроде бариста на удаленке с почасовой оплатой, ответил я неожиданно для себя и добавил: шутка. Тогда я еще не мог этого знать, а теперь знаю, что в идеале хотел бы заниматься тем, чем занимался предыдущие тридцать лет, только по-другому, — доставлять товары, проще говоря, хотел бы наняться курьером, но курьеры теперь все моторизованные, жаль, потому что с сухопутным транспортом у меня не сложилось. А мне бы только идти и идти с коробом за плечами, смотреть на это безумие, называемое жизнью и смертью, в его неподкупной чистоте, а порой для разнообразия думать о Вале, Эдде, Герде, Готфриде, о кино и немцах, улица за улицей. В каждой улице есть что-то доброе, каждая улыбается по-своему. Когда я еще немного окрепну, а мои легкие приспособятся к тому, что они теперь — одно, тогда останется лишь идти и смотреть, и я пойду, и не буду думать, буду только смотреть.

Я буду среди деревьев и домов. И среди людей. Конечно, и среди них. Но не с ними.

Ценности

Можно пройти немного вперед и повернуть на маршала Новикова, но можно и немного назад и повернуть на маршала Василевского — все едино. Так подумал Гелий, сверившись с картой.

А еще он подумал: какой-то маршальский район. Маршал на маршале и почти столько же академиков. Гелий посчитал маршалов и академиков, чтобы узнать, кого больше, и маршалов оказалось чуть больше.

Отец и Юра оба членкоры, но отец всегда придавал этому значение, а Юра вроде не придает совершенно. Не большее, чем кто-то, ступающий с улицы академика на улицу маршала, придает их пересечению, попутно удивляясь, как же тихо в окрестностях Курчатовского института.

В Курчатовском институте Гелий раньше не бывал. Сегодня там отмечали двадцать лет Юриной у них работы. Вот она, площадь, а вот она, голова, — бороду ни с чьей не перепутаешь, так говорил Юра, но Гелий Курчатова в лицо не знал, и борода памятника вызвала у него даже какую-то оторопь. Брат заказал на его имя пропуск, и все равно при входе его обхлопали и велели все выложить из карманов, но в карманах у Гелия ничего не оказалось.

Если бы его не назвали Гелием, то и Юру не назвали бы Юрой, вернее, Георгием. Их родители ждали только одного ребенка, что вполне разумно, и для мальчика имя давно было выбрано — в честь деда с материнской стороны: тот уже несколько лет сердился на свою дочь из-за какого-го пустяка, всем это надоело, и такой дипломатический ход помог бы наладить отношения. Родилась двойня. Теперь, по правилам хорошего тона, второго надо было назвать в честь деда с отцовской стороны, но того как на грех звали Владимиром. Близнецы Владимир и Гелий — это все-таки смешно. К греческому имени требовалось тоже греческое, в итоге остановились на Георгии. И, помирившись с одним отцом, поссорились с другим.

Гелий по-гречески значит «солнечный», Георгий — «земледелец». Рядом они должны были бы напоминать себе, друг другу и окружающим о природных циклах, о благодарном и благодатном труде, о чем-то светло-естественном, но к обоим ничто светло-естественное не приставало, к Гелию из-за нервности, к Юре — из-за переизбытка ума.

В вестибюле Гелий увидел Курчатова на фотографиях. Женщина, которая, видимо, тоже пришла на юбилейный вечер, и тоже была тут впервые, и тоже от нечего делать рассматривала фотоэкспозицию, почти воскликнула:

«Какой он был в молодости привлекательный — пока эту дурацкую бороду не отпустил!»

«Вы у меня прямо с языка сняли», — сказал Гелий.

Она напомнила ему другую женщину, ту, которая вчера в торговом центре зазывала опробовать чудо-пилку для маникюра.

«Девушки, подходим! Полировка и удаление кутикул!»

«А можно мне?» — сунулся Гелий.

«Конечно!»

Маленькая чернявая женщина со сморщенным не по возрасту лицом, казалось, рада была освежающему явлению в виде мужских ногтей — и взялась рьяно.

«Ой, больно!» — вскрикнул Гелий и засмеялся.

Женщина перед фотографиями Курчатова была совсем не похожа на вчерашнюю с чудо-пилкой. Еще меньше она была похожа на ту, которую тоже Гелию напомнила, — продавщицу в обувном. Гелий присматривал там кожаные сандалии вместо резиновых сабо в дырочку, чтобы на собеседованиях не прятать ноги.

Присев на корточки возле его ног, продавщица похлопывала его по щиколоткам, водила пальцем вдоль ступни и почти скороговоркой говорила что-то про голеностоп. Гелию было странно, что женщина, явно моложе его, сидит перед ним на корточках и трогает его ноги, при этом он не понимал,

что именно тут странного. Та, в торговом центре, схватила его руку точно так же, как другая стала щупать ступню, и у всех трех женщин было что-то общее, только вот что?

Все, кому Гелий говорил, что у него есть брат-близнец, немало удивлялись, когда наконец видели Юру, равно и все, кому Юра говорил то же самое, удивлялись, увидев Гелия. Браться были одного роста, у них были одинаковые глаза, одинаковые лоб и нос, одного цвета волосы, очень похожие голоса, хотя у Юры из-за мягких, чуть печальных интонаций голос звучал приятнее, но перепутать их не смог бы никто. Юра был толстый, а Гелий скорее худощавый. И вовсе не потому, что один всю жизнь работал сидя, а другой на ногах. Такими они были с раннего детства, а может, и с рождения. Сын доктора физико-математических наук (отец) и кандидата физико-математических наук (мать), Юра был круглым отличником по математике и физике, чуть хуже, но тоже очень хорошо успевал по русскому, литературе и истории. В Юре сочетались способности и усердие. Сын тех же людей, Гелий, учился плохо или посредственно по всем дисциплинам и считался неспособным и расхлябанным. Юра был толстый, сдержанный и умный, а Гелий худой, нервный и бестолковый. Исправив, как ОТК, наиболее одиозные его ошибки в домашних заданиях, отец вздыхал и подытоживал: «Бестолочь».

«Нервный в разные периоды детства» подразумевало: что он просыпался с ревом по сто раз за ночь, что он писался именно там и тогда, где и когда это неуместно, что не проходило ни дня, чтобы его не побил одноклассник или он не побил одноклассника, что почти любой упрек вызывал у него слезы, что он заболевал от страха и стыда и буквально немел от волнения.

После восьмого класса решено было перевести Юру в математическую школу, и тут он, обычно бессловесный, выставил условие, чтобы Гелия перевели с ним, а без брата он никуда не перейдет, лучше бросит учебу. Родители испугались и согласились. В математической школе Гелию мучительно натягивали тройки. Именно тогда он начал «уходить в плаванье» — прямо посреди урока ему вдруг представлялось, что он на палубе корабля посреди океана, хотя Гелий даже не знал, как это, находиться на палубе. У них в роду не было моряков, Гелий, так же как и Юра, ни разу не плавал на пароходе, даже не катался на катере. Маленьким его никогда не тянуло к воде, он и в деревенской речке летом купался только за компанию. Он не пытался понять, откуда это, потому что вообще не отличался пытливостью, не любил копаться в себе. Просто на свой день рождения, когда ему исполнилось шестнадцать, заявил, что будет поступать в мореходку.

Все давно смирились с тем, что Гелий не пойдет в науку, но чтобы на флот? Сын. Это был вызов. Почему, спрашивал Гелий, что тут стыдного? И ему отвечали, что стыдного в самой профессии, разумеется, ничего нет, но… Какое еще «но»? Кто-нибудь объяснит мне наконец, что это за «но»? А «но» было как раз необъяснимое, «но» было такое, что если сын доктора физматнаук, членкора — моряк, пусть бы и капитан, то оказывается нарушен ход вещей, и возникает эксцентричность. Вот в ней-то и стыд, а вовсе не в профессии.

Смутно Гелий, конечно же, понимал. Он видел отцовское лицо в тот момент, когда, сразу после сенсационного заявления, дедушка, тот самый Владимир, так никому и не простивший, подал ехидный голос: «Москва — порт пяти морей». Но Гелий также понимал, что не может ему помочь. Ничем. Разве что попросит отца подтянуть его по математике и физике, без которой не допустят изучать судовождение, как ни крути. Но пилюля все равно оказалась недостаточно сладкой. Когда Гелий радостно сообщил дома, что прошел и едет в Архангельск, мать вышла из кухни, где они сидели, и даже машинально закрыла за собой кухонную дверь, которую обычно держали распахнутой, а отец встал и пожал ему руку, но ничего близкого к гордости Гелий на его лице не прочел.

Не читал и в дальнейшем, хотя как капитан торгового судна зарабатывал намного больше своего брата-ученого, а поскольку тратить деньги ему, так и не женившемуся, было не на что, регулярно и обильно снабжал ими родителей. Квартира в элитной новостройке у метро «Ботанический сад», куда мать с отцом недавно переехали из ставшего неудобоваримым для жизни центра, была куплена им, вернее, на его деньги, которые он вручил Юре, чтобы тот осуществил это переселение от начала до конца. Когда Гелий узнал новый адрес родителей, то подумал, что название станции прямо как нарочно подходит им своей интеллигентностью. Он их не навещал, а звонил не чаще чем раз в полгода. Когда-то Юра уговаривал его, и сам он себя уговаривал быть более внимательным сыном, пусть даже игра идет в одни ворота. Но с тех самых плаваний на уроках Гелия вел его внутренний голос, а внутренний голос призывал оставить все как есть.

Юра единственный не удивился тому, какую карьеру выбрал Гелий, — он был слишком умен. Он искренне поздравил брата с поступлением и все-таки был печален, потому что Гелий не уезжал на учебу в другой город, а отбывал в свой собственный мир. Юра, что странно для близнецов, любил Гелия чуть больше, чем тот его, всегда утешал, поддерживал и на свой лад защищал. «Три к носу», — говорил он обычно после того, как Гелия приносил очередную двойку и получал очередное «бестолочь». Расставаться с ним Гелию было горько, тем более что они росли, как будто только готовясь к будущей близости, а теперь — где она, когда же она?..

Еще спускаясь по лестнице в вестибюль, Юра увидел брата и почти запрыгал через одну ступеньку, так что у Гелия екнуло сердце. Они оба похудели за последний год, Гелий — вследствие болезни, Юра — вследствие всего, наверное.

«Сделаешь пару фоток для нее?» — спросил Юра по пути в актовый зал.

С этой секунды и все чествование, начавшееся в институте и продолжавшееся в ресторане до того часа, когда родители, которых Гелий заметил сразу, а они его только на банкете, утомились и Юра повез их домой по новому адресу, — все это время Гелий прикидывал, как сказать брату, что та, о ком идет речь, два года назад настоятельно попросила больше ей не писать.

Гелий знал, что своего племянника Диму сегодня не увидит. Диме недавно сравнялось восемнадцать, и Юра сказал, что все формальные обязанности перед отцом с него снимает (неформальные же сохраняются), то есть на затхлом мероприятии в «курчатнике» тот может, если не хочет, не присутствовать, и Дима предсказуемо не захотел. Зато присутствовала Юрина пассия — Гелий, к своему, впрочем, небольшому ужасу, забыл, как ее зовут. Предыдущую звали Оксана, но это знание никак не помогало ему сейчас.

В личной жизни Юра долго был неудачлив. Юра нравился женщинам, похожим на него, — толстым, уравновешенным и вдумчивым, но ему они не нравились. Ему нравились худые, дерганые, с ветром в голове. Такие, как брат. И красивые. Но он им не нравился. В Юре была некоторая тихая гордыня, которую никто бы в нем не заподозрил, и она вынуждала его, раз уже недоступно желанное, не довольствоваться чем бог пошлет.

Одна в конце концов все же появилась. Она была худая, красивая, плохо анализировала и обобщала, зато у нее было странное, неистощимое воображение. Юра и Гелий сошлись в том, что, если бы она говорила двадцать четыре часа подряд, слушать бы не наскучило. Все, кроме Юры, были убеждены, что вышла она за него, только чтобы зацепиться в Москве, и только Гелий допускал наличие какого-то менее очевидного мотива, не вместо, так в придачу. Он очень не любил осуждать, но еще сильнее не любил банальные причины.

Юрина жена умерла от разрыва аневризмы, когда их сыну Диме еще не было пяти.

Та, для которой Гелий должен был бы при других обстоятельствах сделать фотографии, возникла четыре года спустя.

Преимущество долгих рейсов — кажется, будто непрестанно происходит что-то важное и интересное, а недостаток долгих рейсов — все это происходит без тебя. Восемь лет назад, в очередной свой отпуск, Гелий сидел дома у Юры. Они ждали гостью. О том, что эта гостья значит для брата что-то особенное, Гелий догадался сам, потому что догадаться было легко. Юра любил скрытность, которая потом разрешается сюрпризом. Так было, когда он первый раз женился, когда у них наметилось прибавление, когда Юру позвали работать в «курчатник»: Юра мог написать брату, где бы тот ни находился, однако предпочитал ждать до его отпуска и сообщать о событии, когда оно уже потеряло новизну. Иногда события таким образом скапливались, наслаивались и переплетались.

Гелий сидел на стуле, а Юра от взволнованности стоял, сжимая спинку другого стула.

Второклассник Дима делал уроки в комнате. Из школы его забрал Гелий — Юра на этом настоял, точно зная, чем привести сына в восторг. Гелий любил племянника, и все же эта показуха с дядей капитаном в кителе и фуражке, который вызовет у ребят к Диме скорее зависть, чем интерес, а педагогов позабавит, стояла ему поперек нутра. Форму Гелий надевал считанные разы и, хотя знал, что она ему к лицу, себе в ней не нравился. Но отказывать Юре, начинать отпуск с братского разлада он не хотел.

«Она актриса», — произнес Юра так, словно это было радостное известие для Гелия.

Гелий кивнул.

«Французско-немецкая».

Гелий моргнул и кивнул.

«Так сложилось, что она много снимается в немецких проектах, но родилась в Париже, но отец у нее швед, а мать наполовину француженка, наполовину малаяли. Малаяли — я вот про них тоже раньше не слыхал — это такой народ, проживающий на юге Индии. Близкий тамилам. Тамилы…»

«Этих я знаю», — снова кивнул Гелий.

Отец Диминой одноклассницы — кинооператор, так что несколько ребят из Диминого класса, включая и Диму, уже побывали на съемочной площадке и даже в массовке поучаствовали. Сейчас этот папаша работает на совместной российско-франко-немецкой картине, сюжет научно-фантастический, и им понадобился консультант, физик со знанием английского, — возможно, чтобы сэкономить на переводчике… Так они и познакомились. Несколько раз Юра водил ее по Москве, дважды они встречались в кафе, российский материал отснят, завтра у Виржини самолет до Парижа, и результат необходимо закрепить. По средствам знакомства с Юрой, а также членами его семьи — кроме родителей! — в домашней обстановке.

«Ну, так вот. Родители ее бабушки с материнской стороны эмигрировали из Индии в Англию, кстати, среди малаяли особенно высокий процент христиан, — и саму Виржинѝ воспитали в католической вере, и вот, значит, ее бабушка...»

«Погоди, Виржинѝ — так ее зовут? Актрису»

«А я не сказал? О господи, да, ее зовут Виржинѝ, Виржини Альм. И, короче, бабушка поступила в английский колледж — по-нашему вуз…»

«Что такое колледж, я в курсе».

«Вот, а учась там, поехала на каникулы в Париж, познакомилась с французом, вышла за него, и у них родилась дочь, которая, в свою очередь, познакомилась со шведом, который приехал в Париж на каникулы, будущим отцом Виржини. А сама Виржини выросла в Швеции...»

«И приехала на каникулы в Париж».

«Не-ет, — Юра усмехнулся. — Если ты об этом, она никогда не была замужем… официально. Ее первый… ну, гражданский муж был немецкий режиссер, поэтому...»

«Получается, она высокая в шведского папу и темненькая…»

«Нет, то есть темненькая — да, у нее почти черные волосы и кожа очень смуглая, но не высокая, нет, — не все же шведы высокие, в конце концов...»

«Все, которых я встречал, высокие».

«Ну да бог с ними, интереснее другое: она говорила, что он, ее дед, был блондином, и отец-француз тоже блондин, и вот поди ж ты, индийская кровь все перебила!»

Юра рассмеялся, как может рассмеяться только влюбленный.

«Ага, и ты, стало быть, напоминаешь ей отца. Или деда».

«Чем черт не шутит».

«А еще ты большой и белый, как слон раджи».

Гелий немедля пожалел, что залез в больную тему габаритов, а Юра и впрямь нервно подобрался, но, оказалось, не от обиды.

«Да, и должен тебя предупредить вот о чем: никаких неполиткорректных шуток. Никаких намеков ни на происхождение, ни на что! — Он сделал скрещенными руками жест абсолютного запрета, и Гелий даже удивился, как же Юра близко к сердцу все это принимает. — Они, на Западе то есть, с этим очень-очень щепетильны...»

«Юра!..» — Гелий развел руки; получилось, будто он себе что-то разрешает, хотя имелось в виду обратное.

«Там с этим очень-очень строго!..»

«Юра, помилуй бог. Я — и неполиткорректные шутки?»

«Ну, я так, знаешь, на всякий пожарный…»

«Оно понятно: моряки-то — народ разнузданный».

Юра снова опал, а потом одновременно надул щеки и улыбнулся — и как это только у него получалось?

«Сколько ей, кстати?»

«Тридцать. Я, как ты догадываешься, не спрашивал — в интернете посмотрел».

«На каком же языке вы общаетесь?»

«На английском, разумеется, — она им владеет в совершенстве».

Юра произнес это с гордостью, и Гелий понял, что эта гордость не за шведско-французскую актрису, а за себя — ведь общаться с человеком, в совершенстве владеющим английским, так, как общается Юра со своей возлюбленной, доступно, только если ты сам владеешь английским в совершенстве. Тут крылась вторая после габаритов больная тема — у кого из братьев английский лучше.

«Да, кстати, она — веган, это как вегетарианцы, только…»

«Юр, я уже вроде как десять лет вегетарианствую».

За десять лет до того Гелий решил, что хватит с него мясных консервов, а заодно и мяса вообще.

«…Только еще жестче. Так что не обессудь, к чаю у нас сухофрукты. — Юра продолжал, словно — а может и вправду — не слыша. — Я просто больше ничего не смог придумать».

«Я бы придумал», — тихо сказал Гелий и тут же спросил себя, а с чего он так уверен.

Виржини принесла большую плитку немецкого шоколада, причем молочного, — for Dima. Дима поблагодарил, но дальше допустил по этикету оплошность, демонстративно положив шоколад между собой и дядей.

«Yura said that you are the captain of the ship».

Если бы она произнесла это по-русски, то всенепременно сказала бы «корабля, и Гелий привычно поправил бы: не корабли, а суда, корабли только в военном флоте. Но на английском, где слов вполовину меньше, ошибиться было невозможно.

«What do you dislike most about Russia?» — спросил Гелий.

«Dislike?»

«Yes, dislike».

Виржини нахмурилась, подперев кулаком подбородок, и с полминуты выглядела как ребенок, изображающий глубокое раздумье, — просто она была актриса, и у нее были большие глаза, густые брови и полные губы на маленьком лице, — а потом сказала:

«Why do you have to jump up and take your luggage off the shelves when the «fasten your seat belts» sign has not yet gone out?»

Юра и Гелий переглянулись. Юра открыл было рот, как показалось Гелию — еще не имея ответа, но Виржини продолжила:

«And also the way Russians treat homosexuals and women is very alien to me».

«But… not all Russians, is it?» — подсказал Юра одновременно настоятельно и неуверенно.

«Of course not! — Виржини накрыла его руку своей, и Юра улыбнулся. — Но я очень огорчена тем, что men here generally do not know how to communicate with women in a friendly way. Everything immediately turns into the plane of sex… Oh, Yura, I didn't mean you!..»

Юра не покраснел, но если бы можно было покраснеть, не краснея буквально, то Гелий сказал бы, что Юра производил впечатление покрасневшего.

«You know, in Germany, — Виржини, не убирая руку с Юриной руки, по правилам этикета обращала взгляд то к Юре, то к Гелию, — as in the United States, there are now discussions about how to get rid of the words «man» and «woman» to denote biological sex».

Юра только повел плечами и опустил подбородок, поэтому Гелий сказал:

«Really?»

«Yeah! «Man» and «woman» are not sexual, but gender categories, and gender may not coincide with gender. Therefore, it is more correct, if we are referring specifically to the biological sex, to say not «man» or «woman», but «person with a penis» or «person with a vagina»».

Гелий и Юра синхронно бросили взгляд на Диму, но прозвучавшие термины были ему, видимо, незнакомы, и он уже почти спал за столом. И в то же мгновение Гелий услышал какие-то приятные ненавязчивые звуки со стороны Виржини — она тихо смеялась, сомкнув домиком ладони у рта. Он засмеялся, и Юра засмеялся секундой позже.

«Person with a penis!» — смеялась Виржини.

«Person with a vagina!» — засмеялся и Гелий, а Юра, смеясь, еще раз покосился на Диму.

Они болтали, как болтают люди из разных миров, с симпатией друг к другу относящиеся, сравнивали свои профессии, сравнивали привычки и мелочи уклада в России, Германии и Франции, и Гелий думал: Юра и Виржини влюблены.

С той минуты, когда Юра ухватился за спинку стула и произнес «она актриса», и до той, когда он открыл перед Виржини дверь, Гелий успел понять, что брат, вероятно, впервые в жизни валяет дурака и его надо поддержать. Но как только Виржини вошла в прихожую, он понял, что ему придется сейчас все обнулить, забыть и начать сначала. Единственное, чего он все же не понимал, это что французско-немецкая актриса нашла в его брате, которого он любил и уважал, но который был русским толстым физиком, за всю жизнь посмотревшим вряд ли больше двадцати фильмов целиком. Когда Гелий видел Юру вместе с его женой, ему волей-неволей лезла в голову московская прописка. Но даже будь Виржини не французско-немецкой, а малаяльской актрисой, не сумевшей пробиться в Болливуд, и тут никакой прописке втиснуться было бы некуда. Как и парижской, кстати.

Конечно, думал Гелий, если Юра и Виржини поженятся, Юра с Димой переедут к ней во Францию — найти там себе применение для брата труда не составит, физика есть физика. Гелий сможет его навещать, но по большому счету придется проводить отпуск без Юры, а еще уделять внимание родителям, принять на себя сыновний долг, который Юра выполнял так, словно это доставляет ему удовольствие. Наверное, и впрямь доставляет.

Наверное, и даже вероятно, Юра выпишет родителей к себе в Париж. И Гелий останется один. Может, это по-своему неплохо — быть одному. Может, одному ему понравится.

«Ума не приложу, что из этого получится», — произнес Юра, стоя посреди прихожей, после того как проводил Виржини до метро.

Гелию стало одновременно жалко его и радостно за него, потому что, если Юра так говорил, значит, непременно получится именно то, что нужно: последний раз Юрин ум пасовал перед тем, что получится, когда понадобился Курчатовскому институту.

«Слушай, а разве это можно… тебе... на твоей работе… я имею в виду общаться с иностранцами?»

Юра округлил глаза, комично отпрянул и засмеялся.

«Господи, ну о чем ты говоришь! Во-первых, она актриса, в моей работе ни бельмеса не разумеет, и какого рожна нам ее обсуждать. Во-вторых, я же не занимаюсь ядерными исследованиями. Ну и в-третьих, никакой секретности давным-давно нет, то есть она, конечно, есть, но… В общем, это чушь, извини, то, что ты сказал».

Когда они встретились в следующий отпуск Гелия, Гелий с ходу спросил о Виржини, и Юрино мягкое лицо тут же застыло, а мягкое туловище подобралось.

«Знаешь, ты как в воду глядел. У меня был разговор в «курчатнике». — Он нахмурился и опустил подбородок. — Видишь ли, мне ясно дали понять, что это нежелательно — я и Виржини. Абсурд, но… Они вынуждены перестраховываться…»

«Ну и пошли ты этот «курчатник»! Вали от них. Тоже мне…»

«Нет-нет, это абсолютно исключено. Юра замотал головой. — Мне сейчас нельзя терять работу, на мне Дима…»

«Да тебя в любом НИИ с руками оторвут!»

«Нет-нет-нет, ты не можешь судить, это все гораздо, гораздо сложнее, чем тебе представляется… В общем, как бы то ни было… я уже обещал…»

Гелий смотрел на брата.

«Я уже обещал… свернуть контакты. Вот так».

Гелий не знал, что сказать. Они с Юрой никогда не ссорились, не ругались. Любому другому он сказал бы «свинья» или «сволочь», но что сказать Юре, Гелий просто не знал, поэтому смотрел на него и молчал, а Юра молчал и не смотрел на него. Потом Юра как бы спохватился и сказал:

«Я, собственно, хотел тебя попросить — ты не мог бы… писать ей вроде как от нас обоих?»

«Могу». — Гелий пожал плечами и тут же поймал себя на том, что ответил, не успев подумать.

«И ты… сможешь объяснить ей ситуацию?»

«Попробую».

Гелий попробовал и кое-как сумел. Виржини написала, что все понимает, но вот какого рода «все» она понимала, о том Гелий велел себе не задумываться. Ему всегда легко давалось не задумываться, даже когда он читал серьезные, интеллектуальные книги — чем умнее была книга, тем больше Гелий доверял автору и тем менее нуждался в том, чтобы собственными размышлениями его перепроверять. Вначале он боялся, что у них с Виржини не найдется общих тем для переписки. Но, к его удивлению, темы являлись как-то сами собой, стоило только начать письмо. Тогда он открыл, что общие темы — условие вовсе не обязательное, и ему стало немного яснее, что могла найти Виржини в Юре. Впрочем, Юру она, с тех пор как все поняла, ни разу не упоминала. И Гелий тоже перестал его упоминать.

Он стал интересоваться современным европейским кинематографом, и ему даже понравились фильмы Оливье Ассайаса, с которым Виржини мечтала поработать. Однажды Виржини прислала фото немецкого актера, с которым в это время снималась, приписав, что Гелий на него похож. Гелий на-

шел, что на актера скорее похож Юра, а самому ему для сходства не хватает щек, но, конечно, в ответ послал только смайлик.

Он предложил Виржини чередовать английский с французским и немецким, чтобы он мог практиковаться, и действительно недурно продвинулся. Они переписывались и общались вначале по Скайпу, затем по Зуму, она неизменно приглашала его на премьеры своих фильмов, и трижды он на них бывал: в Гамбурге, в Токио, а последний раз — в Париже, куда специально приехал из Бреста. Но летом 2022 года Виржини сообщила Гелию, что вынуждена просить его пока свернуть общение, хотя это очень, очень тяжело, — все-таки она публичная фигура, и слишком много людей зависит от ее репутации. «The pressure is enormous», — написала она.

В тот вечер Гелий ничего брату не сказал. Они договорились на неделе встретиться и посидеть в кафе-пекарне рядом с Юриным домом.

«Валя просил рассказать потом, как все прошло», — напомнил Гелий.

Юра кивнул, как будто решаясь на некий мужественный шаг. Гелий достал из рюкзака планшет и открыл Зум. Они выходили на связь с Валей, их общим другом и лучшим другом Гелия.

Они дружили втроем с детского сада. Валя, сын архитектора (отец) и иллюстратора (мать), поступил осмотрительно, не посягнув тягаться с родителями и выбрав стезю знатока, а не художника. Он окончил факультет истории искусств, диплом защитил по Баухаузу и стал одним из пионеров изучения Баухауза в России, но позже расширил свой интерес на период национал-социализма и запустил подкаст о дизайне в Третьем рейхе. Подкаст был успешный, но правоохранительные органы увидели в нем пропаганду нацизма. На Валю завели дело, и дело это дошло до суда, в ходе которого Валя был оправдан, но тяжелая история не прошла для него даром. Подкаст он закрыл, и тем не менее из РГГУ, где Валя преподавал почти двадцать лет, его настойчиво попросили. Оставалась еще Британская школа дизайна, с которой он к тому времени параллельно сотрудничал, а после ее ухода из России надолго не задержался и Валя. Теперь он преподавал в Венском университете прикладного искусства. С Гелием тет-а-тет, а порой включая и Юру, они примерно раз в неделю общались через Зум. Странным образом, живя в Европе, Валя стал еще острее переживать уже четырехлетней давности судебный процесс, выдвинутое обвинение казалось ему все несправедливее и нелепее. «У моей бабушки с материнской стороны вся родня погибла при ликвидации Минского гетто — ее соседи спрятали. Она была младшая, самая маленькая из сестер, спрятать было легко», — Гелий слышал это уже несколько раз с тех пор, как Валя стал появляться перед ним на экране планшета. Но, пожалуй, еще более странно выглядело другое: Валя, который был, считай, своим человеком в берлинском и веймарском музеях-архивах Баухауза, был на дружеской ноге с немецкими коллегами, столько раз делал доклады в европейских университетах, а однажды даже в американском, — он последнее время мог говорить почти исключительно о сущностном отвержении, отторжении Европой России. Говорил не свысока, а с позиции разбитого сердца. Если Валя не вспоминал злосчастный подкаст и подробности суда (Гелий сидел тогда в зале, Юра приходить остерегся), то развивал тему западной русофобии. Никакого иного участия в разговоре, кроме воспринимающего, он Гелию и Юре фактически не оставил.

Еще в детском саду Валя был больше другом Гелия, чем Юры. Они редко оказывались втроем, как сейчас, и Юру, казалось, ничуть не обижало, что Валя, о чем бы ни говорил, а он любил говорить, всегда бессознательно обращает и речь, и взгляд к Гелию. Сейчас он вынужденно смотрел на Юру, потому что Гелий пошел к прилавку заказывать.

«То, чем мы им близки, для них абсолютно неинтересно, а то, чем мы от них отличаемся, им категорически не нравится. И что характерно: одни и те же черты и привычки они легко прощают латиносам или китайцам и не прощают нам».

«Тебе какой пирожок — сладкий, несладкий?» — спросил Гелий брата.

«Давай сладкий. Зря у меня, что ли, диабет».

«Ты сам рассказывал, — продолжал Валя, — как немцы и голландцы дивились, что ты не узкоглазый и волосы у тебя светлые, забыл?»

«Ну, было такое — по-моему, всего раз. А что, на тебя тоже дивятся, что ты не узкоглазый?»

«На меня нет, потому что евреи узкоглазыми не бывают. Я — левантийский тип, со мной все окей. А что касается этнических русских, то, поверь мне, со времен доктора Геббельса ничего не изменилось — потому что началось еще раньше. Томас Манн в «Волшебной горе» то и дело поминает «киргизские глаза» русской красавицы графини. Ну откуда, к е…ням, у русской девчонки киргизские глаза?!»

«Он киргизов-то видел?» — Гелий взглянул на уборщицу, которая как раз принялась возить шваброй под соседним столиком.

«Зачем представлять нас как монголоидов из степи, хотя очевидно, что мы не монголоиды, и вся наша материальная культура — это дерево, и во всех наших сказках — лес не меньше, чем у братьев Гримм?!»

«Степь да степь кругом…» — произнес Юра, будто взвешивая «за» и «против».

«Я тебе скажу зачем. Чтобы увеличить дистанцию. Чтобы подчеркнуть: вы — не то, что мы, вы другие и всегда останетесь другими, хоть вы сто раз облобызайте все демократические ценности. Они нас не хотят. Это как в сексе — если тебя человек не хочет с самого начала, то не захочет уже никогда».

«Я с европейцами общался, может, не так регулярно, как ты по своему роду деятельности, но зато гораздо содержательнее и плотнее. Я общался с дизайнерами, кураторами, историками искусства — не филистеры какие-то, да? Любой разговор рано или поздно, тут к гадалке не ходи, выруливает на что? На КГБ. Всё. Точка. Ничто другое им в связи с Россией не интересно, они не хотят узнавать о нас ничего помимо того, что уже знают или думают, что знают».

Валя тяжело замолк и стал смотреть куда-то, словно продолжая говорить внутренне.

«Как там Женя?» — спросил Гелий.

«Лечит свое люмбаго. Или свой?.. Люмбаго у нас какого рода?»

«Смотря у кого у нас». — Гелий подмигнул Юре, чтобы расшевелить, вовлечь в беседу, а Валя перехватил его взгляд и, видно, решил заняться тем же, потому что его взгляд с экрана впервые сдвинулся к Юре.

«Как Света?»

Так, значит, ее зовут, Юрину новую. Юра пожал плечами.

«Плачет. Даша у себя в Телеграме на весь свет ославила ее токсичной».

«Это как?» — спросил Гелий.

«Эй, моряк, ты слишком долго плавал, — оживился Валя. — Токсичные родители — это которые детство отравили. Ну-ну», — снова настроился он на Юру.

«Оказывается, из-за того, что пятнадцать лет назад, когда Даша спросила мать, откуда берутся дети, Света сказала, что их покупают в магазине, она, Даша, все детство ощущала себя вещью. Товаром ширпотреба. И теперь у нее травма».

«Фу ты, бред какой», — вырвалось у Гелия.

«И я попал под раздачу. Партнер ее мамы, мол, типичный old white man. Старый белый мужчина. Представитель патриархата и колониализма».

Гелию и Вале равно нечего было сказать на это, и все трое некоторое время сидели молча, словно придавленные бременем старых белых мужчин, чуть меньше Валя, чуть больше Гелий и Юра. А потом Гелий и Юра одновременно вспомнили про свой кофе и пирожки. Гелий еще в детстве заметил — и до сих пор ей изумлялся — одновременность, с которой они вдруг совершали одно и то же простое действие. И лишь в эти мгновения становились настоящими близнецами.

Жевание непринужденно подвело к концу сеанс видеосвязи, и, стоило Вале исчезнуть с экрана, Гелий произнес:

«Скажу честно, не думал, что для тебя это настолько важно».

«Олд уайт мэн? Да какой там!..»

«Нет-нет. Виржини».

«Виржини? — Юра, жуя, помотал головой. — Знаешь, я просто не могу себе позволить выпадать в осадок еще и по этому поводу. Меня Дима с ума сводит».

«Дима? Помилуй бог!»

«Он влюблен в Дашу».

«И что? Вы с ее матерью даже официально не женаты».

«Не в том суть! Диме шестнадцать, а Даше двадцать, она держит его на расстоянии, но влияет на него колоссально. Дима на днях сказал, что он феминист. Он такой доверчивый, так легко открывается всем и каждому… Я боюсь за него, понимаешь? Он такой же неустойчивый, как ты был в его возрасте».

«Да ну, брось! Во-первых, Дима совсем другой, а во-вторых, если он в меня, то за него можно не опасаться».

И тут Юра посмотрел на него взглядом, от которого Гелию показалось, что остатки его легких сжали, как губку. Взглядом снизу вверх, хотя их головы были на одном уровне, и уже в следующий миг он поправил себя: не снизу вверх, а скорее с надеждой.

«Между прочим, я тоже феминист, — сказал Гелий. — По мне, так надо больше женщин-капитанов. А я серьезно!» — добавил он, когда Юра махнул на него рукой.

Он хотел разрядить обстановку, но только спугнул надежду.

«И что я с тобой говорю, — пробормотал Юра, — ты не родитель».

Гелий взглянул на брата, повинуясь какому-то смутному побуждению, и тут же разгадал это побуждение, потому что над Юрой будто бы зажглось табло «родитель», как зажигалось «московская прописка» над покойной Таней. В этих табло было что-то неловкое до глупости, то же, что и в безупречно сидящей и даже идущей ему (так все говорили) капитанской фуражке.

«Родители у нас токсичные», — сказал он, опять-таки смутно не понимая, к чему.

«Нет». — Юра замотал головой.

Но Гелий знал, что попал в точку, обрел — спасибо Даше — ключ. Он вставил этот ключ, повернул и увидел их, тех, кто не столько ему, сколько самим себе отравил его детство. Отец при каждой их за прошедшие тридцать лет встрече впадал в робкое недоумение, и казалось, он со страхом ждет, когда наконец Гелий скажет «гальюн» или «рундук», поэтому, наверное, сам старался говорить поменьше. Мать была смелее, но казалось, будто, разговаривая с Гелием, она подыгрывает и притворяется, что ее сын взаправду единолично отвечает за тридцать подчиненных ему человек экипажа, за тонны груза, за сам балкер дедвейтом до ста тонн или контейнеровоз вместимостью до пятнадцати TEU, что он в самых случаях повышенного риска обязан сам управлять судном, что на нем кубометры документации, что он бегло говорит по-английски, может объясниться по-немецки и по-французски. И главное, что ему все это нравится.

Гелий не смог бы сказать, любит ли он море (а если колеблешься, «да» или «нет», то ответ будет «нет», но Гелий скрывал это даже от себя). Зато на сто процентов знал, что любит за что-то отвечать.

В море он перестал быть нервным. Если и вправду отец ждал слов, которые так ни разу и не произнеслись, то кое-каких ждал и Гелий, только ждал совсем иначе. «По-моему, ты стал спокойнее». Тогда он сказал бы: «Я и сам это замечаю».

Однажды, когда на каком-то отцовском дне рождения Гелий рано, еще до чая, засобирался, Юра — может, потому что был уже немного нетрезв (мно-

го и тот и другой брат бывали разве только по молодости), — вышел за ним в прихожую и сказал, что он просто не ценит родителей. Гелий уже не помнил, что ответил на это или ответил ли вообще. Сейчас, когда они были постарше, Юра, наверное, сам же добавил бы: «И что я с тобой говорю, ты — не родитель». Как будто это закрытая каста. Возможно, чего-то и в самом деле не понять, если ты снаружи.

Гелий уже забыл, когда ему окончательно стало ясно, что брак не для него. Большинство семей моряков распадались, зато, если будущие супруги оба принадлежали к морской профессии, шанс продержаться до выхода на пенсию резко подскакивал. У Гелия на курсе не было ни одной девушки, но чем дальше, тем больше становилось женщин в командном составе, а там появились женщины-матросы. В последние годы Гелию стало казаться, что торговый флот наполовину укомплектован женщинами, но и порядка прибавилось — женщины справлялись с обязанностями вахтенных помощников, штурманов, радиоспециалистов, судовых врачей как минимум не хуже. На его глазах романы вспыхивали, долго тлели и либо — чаще — в конце концов затухали, либо получали законное оформление. Но с рождением первого ребенка флотская служба для жены заканчивалась. Именно так Гелий лишился лучшего старпома, с каким когда-либо ходил в рейсы, — она вышла за старшего механика, не прошло и года, как забеременела и уволилась.

Несколько лет длились его отношения с судовым врачом по имени Юлия. Это была уже вторая Юлия, с первой он на выпускном танцевал блюз-наместе под «Broken Wings» Mr. Mister — в юности, естественно, танцевалось под то, подо что танцевать, кажется, физически невозможно. (Та школьная Юлия потом сделала карьеру в финансовом консультировании и там же нашла мужа.) Тогда бескостное перетекание имен Юлия — Гелий ему нравилось, но во второй раз уже смешило и смущало. Наверное, потому что единственная женщина, в которую Гелий за всю жизнь был влюблен, не служила врачом на судне и не звалась Юлией. И случилось это задолго до судового врача. Считается романтичным, если мужчина, да еще такой романтической якобы профессии, за всю жизнь влюблялся лишь один раз, но Гелий видел здесь романтичного не больше, чем романтического в своей работе.

А вообще-то все наоборот. Он влюблялся не один раз, не два и не три, он влюблялся постоянно, ведь кто сказал, что влюбиться можно только в человека. Влюбиться можно в город, в дом, в дерево — особенно если не видишь их месяцами. Наконец, можно просто влюбиться. Не в кого-то и не во что-то. Можно быть влюбленным, как быть Гелием. Но об этом он никому не говорил, потому что пришлось бы объяснять, а невозможно объяснить то, что самому тебе ясно.

Он и не пробовал никому объяснять, почему брак не для него. Однажды ему это стало ясно, и уже не было никаких колебаний между «да» и «нет», как с морем. Да и с морем не было, понял Гелий внезапно, сейчас, сидя за слишком низким круглым столиком напротив брата. Море он так не успел полюбить, а потом оно ему надоело. Именно море, а не работа. Хотя, кажется, и работа. Отделить одно от другого еще труднее, чем признать, как признал в конце концов, что с морем, похоже, все-таки ошибся. Он слишком любил город, в рейсе его угнетали замкнутость пространства и особая морская тишина, монотонная тишина, у которой на суше нет подобия. Не надо было ему связываться с флотом, но что делать, если, когда он (как сейчас Дима, который пойдет по стопам отца и деда) заканчивал школу, его так обреченно тянуло «в плавание».

«Не нет, а да», — сказал Гелий.

Юра вздохнул.

Смог бы Гелий объяснять Юре, почему не женится? Не потому, что он такой романтик или, напротив, циник, а потому, что отвечать за что-то — это работа и море, а в отпуске, на суше, он хочет ни за что не отвечать. Потому что любит, отпирая квартиру, входить в ее многогранную, живую тишину.

И все шумы города для него — живая тишина. И он должен быть с ней наедине.

За неделю до отпуска Гелий уже предвкушал, как будет днем гулять по Москве или, если погода так себе, читать, лежа на диване, а не на койке. Он и в рейсах много читал долгими дневными часами, когда судно идет своим курсом и кажется, что это сама жизнь идет своим курсом, читал без системы, но с разбором, и так прочел всего Томаса Манна, включая «Иосифа и его братьев», и всего, благо тот и написал не много, Витгенштейна, у которого больше всего зацепило: «Мы должны покончить со всеми объяснениями, и их место должно занять только описание». Две-три ночи на неделе Гелий проводил, танцуя в одном из нескольких любимых клубов, и тут тоже не было системы, но присутствовал разбор: техно, хаус или электро-поп — без разницы, лишь бы классный диджей. За годы он научился определять класс сначала по первым движениям рук, когда еще музыка не зазвучала, а потом и вовсе по лицу. Гелий всякий раз испытывал легкую зависть и говорил себе, что, если бы в его жизни не было капитанской рубки, в ней был бы диджейский пульт. С клубной культурой он впервые соприкоснулся в Гамбурге, ему был двадцать один, его второй рейс, он третий помощник. Став капитаном, Гелий уже не посещал клубы в рейсах, ждал до отпуска — может, поэтому за четверть века танцпол ему не надоел, а море надоело. Стоило музыке упасть, как дождю, стоило спертому воздуху завибрировать, и время исчезало, но это был не транс, скорее эйфория или даже счастье, причем и наркотиков не требовалось; Гелий ложился в дрейф и отдавался сначала ритму, а потом, сразу же, своему телу, ритм и тело все уже решили за него, потому что здесь он, на работе бесконечно принимающий решения, становился каким-то другим собой, тем Гелием, из которого никогда бы не получился капитан. Исчезало время, но не пространство, не он сам и не люди, про которых даже не скажешь, что они вокруг, нет, они — рядом. Эйфория наполняла его не только от ритма, но и от толпы, и от того, что это его тело так свободно, это в его теле столько жизни, которую и чувствуешь, и ясно, даже трезво сознаешь. Иногда Гелий знакомился в клубе с женщиной, но, как правило, уходил домой один часов около четырех утра, и ложился спать, и засыпал сном на славу потрудившегося человека.

Он и книге отдавался так же, как ритму и телу, вместо ритма тут были слова, а вместо его тела — его воображение. Гелий не мог определить, что для него важнее и нужнее: читать, или танцевать, или гулять по городу, глядя на деревья, дома, собак и детей, и какое состояние для него естественнее: лежать, или танцевать, или ходить. Когда он читал лежа (так легче всего усваивалась книга), ему казалось, что надо бы лучше, да некуда, а потом Гелий выходил из дома и уже через пять шагов изумлялся, как ему вообще удалось битых два часа пролежать.

После болезни осталось только чтение лежа, в котором Гелий очень скоро разоблачил лежание, читая. Хотелось лежать, а книга была предлогом.

Пневмония подкараулила его, как подкарауливает смерть, как Вику, Юрину жену, подкараулила эта аневризма, хотя, конечно, все было совсем по-другому. И все-таки когда Гелий оглядывался на свою болезнь, нет, не оглядывался, просто вспоминал ее, стараясь не думать, где она теперь, позади или рядом, — так вот, когда он о ней думал, то приходил к выводу, что должен был умереть. Должен был и не умер. Потому, наверное, что, если бы умер, не смог бы уволиться с флота.

Европейские порты закрывались для России один за другим, работы становилось все меньше, но Гелий знал, что едва ли потеряет ее совсем, — его знали и ценили во многих компаниях, занимающихся морскими грузоперевозками. Поменялась логистика, Гелию приходилось осваивать новые суда, прокладывать новые курсы, выучивать новые таможенные правила. Именно тогда, еще до болезни, он заметил, что стал быстрее уставать. Во время пандемии Гелий боялся за Юру с его лишним весом и диабетом, но тогда они

оба отделались сравнительно легко. За себя Гелий не боялся никогда, а уж после того, как ковид даже в постель его не уложил, и подавно.

Вскоре, как вышли из Ляньюньгана, Гелий начал кашлять, потом ему показалось, что его лихорадит, а уже через полчаса градусник показал у него тридцать девять и пять. Когда подходили к Владивостоку, он дышал с усилием и болью, но упросил судового врача вколоть ему что-нибудь, чтобы резко сбить температуру, потому что не хотел застрять во Владивостоке, городе, который почему-то недолюбливал. В самолете Гелия снова начал бить озноб, вдохнуть становилось все труднее, а на подлете к Москве он отключился.

В больнице, куда его привезли из аэропорта, Гелий пробыл ровно месяц, но совсем этого не почувствовал. Исчезло не время, как на танцполе, а пространство, в которое время просто запихали, точно в мешок для мусора, и свернули все вместе. От того месяца сохранилась половина, и от легких Гелия сохранилась половина, по половине от каждого.

Он подсчитал, что если жить совсем скромно, а цены не будут быстро расти, то накоплений ему хватит на год.

Первые месяцы после выписки он в основном лежал с книгой — так это теперь называлось: «полежу с книгой», говорил себе Гелий, а не «почитаю». Ему было уютно сознавать свои любимые занятия — лежание и сон, это были два иногда пересекающихся, но по большому счету разных занятия. Проснувшись и лежа, Гелий обычно каждые пять минут говорил себе: «Ну все, встаем», и, когда наконец вставал, ему всегда казалось, что прошло не больше получаса, а когда смотрел на часы, всегда получалось, что час.

Однажды он представил себе, словно восстанавливая по памяти, как выходит вечером из дома, идет к метро (машины у него никогда не было, Гелий и водить не умел) в какой-нибудь клуб, протискивается на уже забитый танцпол, сразу ловит ритм и начинает вторить ему своим телом. И остановился. Не тот Гелий в клубе, а он, представляющий себе того Гелия. Нет, все-таки они оба. Им внезапно и навсегда расхотелось танцевать, по крайней мере ночью и в толпе.

К сорока семи, к болезни, на нем не наросло и грамма жира, но со времен мореходки едва ли кто назвал бы его худым. Гелий был плотно сбитый, как футболист, и его часто спрашивали, каким спортом он занимается, хотя Гелий даже не бегал по утрам и после учебы порог спортзала не переступил, разве что, когда не читал, много времени проводил на ногах. Теперь он снова был худой и весил столько же, сколько на первом курсе. И ему казалось, что он знает море не лучше, чем тогда. Не успел он его полюбить, как оно ему надоело, а стоило уволиться, и он его словно забыл. Забыл не о море, а что оно такое, какое оно.

А потом он словно заново открыл для себя свои ноги и глаза. Оказалось, глаза можно открыть и в таком значении. Можно заново убедиться, что ноги и глаза делают счастливым. Гелий знал это до пневмонии и радовался этому, но теперь казалось — радовался слишком бурно и что-то упускал. Понемногу он опять начал ходить по городу, правда, теперь ходил медленнее. Улицы, дома и деревья завораживали его, как и прежде, но значили для него не то, что прежде. Теперь они составляли куда большую его часть. Гелий раньше и предположить не мог, что все это — он сам. Ему хотелось быть только с собой, только с улицами города, который, в отличие от моря, не надоест ему никогда. Он сам себе никогда не надоест, он был портом, в котором для него закончились навигации. Этого не знают о нем родители, Юра, а теперь не узнает и Виржини.

Виржини как-то написала ему: In Bewegung bleib ich treu. Он еще заподозрил, что это цитата из Гёте, оказалось — нет. Виржини имела в виду свое актерство, но теперь Гелий понял, что это относится ко всем и к нему: я остаюсь верным себе только в движении, то есть в изменении.

Он не считал себя красавцем, и его всегда удивляло, что так привлекает в нем женщин, даже после того, как он понял, что — деньги, высокий рост

и хорошая фигура, пусть на лицо он вроде возмужавшего домовенка Кузи (мама раньше коллекционировала маленьких гэдээровских куколок, напоминавших ей сыновей: круглые лица, круглые голубые глаза); даже поняв, Гелий все равно продолжал удивляться и, наверное, поэтому пользовался, но не злоупотреблял. Темперамент у него был средний, может, чуть пониженный, он никогда не заводил несколько параллельных связей, без секса мог обходиться относительно долго. Вскоре после выписки он заметил, что либидо пропало, заметил сначала с некоторой тревогой, месяца через полтора уже со спокойной озадаченностью, что оно так и не вернулось, а в один, без шуток, прекрасный день ему стало ясно, что он наконец освободился от психа, к которому долгие годы был прикован.

Год отдыха подходил к концу, и Гелий разместил свое резюме на нескольких сайтах, которые сводят нанимателей и ищущих работу. В примечании он указал, что вакансии, связанные с флотом, не рассматриваются, но о здоровье не упомянул. И все равно большая часть предложений исходила от судоходных компаний, как будто его приписка ничего не стоила. Административные должности в порту Гелий тоже отметал. Торговые и транспортные фирмы искали менеджеров по логистике и экспедиторов, а одна из просеянных была почему-то вакансия кризисного менеджера для филиала в ОАЭ, и Гелий — он не только ходил, но и соображал теперь чуточку медленнее — не сразу вспомнил, как расшифровываются эти три буквы. Над одним из предложений Гелий задумался, правда, задумался он о том, каким его видит бот, отбирающий для него варианты. Менеджер аквапарка. Просто менеджер, без уточнений, один за все.

Гелий понятия не имел, что ищет. В шестнадцать, объявляя родным о своем желании податься на флот, он знал, чего хочет, а теперь, в сорок восемь, не знал. Зато знал, что умеет и чего не умеет. Умеет — принимать решения и отвечать за них, говорить другим, что делать, не умеет — работать по указке и делать, что говорят. Он не прижился на преподавательской должности в Академии водного транспорта — единственном месте, куда его не просто взяли, а взяли с каким-то торопливым радушием. Сам по себе учрежденческий бюрократизм его не раздражал, как не раздражали студенты, но ему ужасно мешало то, что не мешает большинству наемных работников, не мешало другим преподавателям, то, о чем те даже не задумывались как о само собой разумеющемся. Кто-то все время стоял над ним, и называлось это — начальство, и под начальством Гелий был не вольнее остальных, таких же, как он, равных ему. Гелий ничего не решал, и из-за этого ему казалось, что он делает не то, что нужно, даже когда готовится к лекции и даже когда читает ее в аудитории. Настоящая вроде бы работа казалась ненастоящей, потому что все в ней было кем-то уже спланировано. Гелий хотел потерпеть полгода, но уволился через четыре месяца. Тогда он понял, что к нему относится и другое, не обратное тому, что написала Виржини, а диалектически противоположное: сколько ни меняйся, все равно остаешься собой.

Юра сидел, опустив голову, а потом вдруг провел пальцем под носом, как в детстве, но, когда заговорил, голос у него был все такой же спокойный и твердый.

«Я должен тебе признаться. Не было у меня тогда никаких бесед в «курчатнике» по поводу Виржини. Никто меня не вынуждал с ней порвать — вернее, прекратить контакты».

Почему-то из-за пальца под носом Гелий был уверен, что Юра думает о родителях и скажет что-нибудь тоже о них, и даже растерялся.

«Я соврал, — продолжал Юра. — Я сам… — Он приставил пальцы к переносице, как будто насильно сдвигая брови. — Понимаешь, я испугался… То есть не то чтобы испугался, а заставил себя трезво, без иллюзий взглянуть на ситуацию. Ну какое тут могло быть будущее? Где она и где я...»

«А по-моему, нормальное будущее. Знаешь, когда вы сидели за столом у тебя на кухне, я вдруг запросто представил себе ваше будущее… в Париже…»

«Но ведь это ты подал мне мысль». — Юрин голос стал мягче и злее.

«Какую? О Париже?»

«Да каком, на хер, Париже? Это ты заронил сомнение. Когда спросил, можно ли мне общаться с иностранцами».

«Так я же еще виноват?!»

«Потише, люди смотрят», — произнес Юра зло, но так же спокойно, как до этого «на хер».

Так спокойно, что Гелий послушался.

Восемь лет назад в голове у него крутились слова «свинья» и «сволочь», с которыми он не знал, что делать, потому что не мог, даже мысленно, применить их к Юре. А теперь слов не было. Не только ругательных, вообще никаких.

Гелий обвел взглядом кафе, дошел до девушки за прилавком, и вдруг его осенило, что общего у тех трех женщин: с чудо-пилкой, в обувном и той, которая сказала про бороду Курчатова. Той, что взяла его за руку, той, что трогала его ступню, и той, что с ним заговорила. В каждом из трех случаев между ним и женщиной происходило то, чего никогда не происходило раньше, до болезни. Но что же такого происходило? Для этого тоже не было слова.

Так они сидели без слов, пока Юра не встал и не сказал, что ему пора — обещал Свете сопровождать ее по одному делу. Это звучало загадочно, и Гелий подумал, что брат всегда был немного загадочным, а родители считали главной загадкой Гелия. И поймал себя на том, что если думает, значит, слова появились, откуда уж там они появляются.

«Ты человек-загадка», — сказал он Юре примирительно.

Юра улыбнулся тоже вроде бы примирительно и не стал спрашивать, что Гелий имел в виду. Когда они вышли на улицу и Юра слегка сжал его плечо перед тем как произнести «Ну, до скорого!», Гелий задумался, когда же брат перестал его любить. До него только теперь дошло, что Юра так и не поинтересовался его поисками работы, но тут же он вспомнил, что ведь сам не сказал Юре о своем уходе из Академии водного транспорта, потому что деньги у него на исходе, и Юре об этом известно. Вскоре как Гелий вышел из больницы, Юра предложил ему, если с работой и через год не склеится, жить у него, а собственную квартиру сдавать. Теперь Гелию казалось, что Юра сделал это великодушное предложение, потому что всегда зарабатывал значительно меньше. И тут же Гелий вспомнил и как брат накануне в вестибюле почти бегом припустил ему навстречу. Но почему Юра был так ему рад? Может, при виде него он подумал о Виржини? Может, он весь день думал о себе, каким был двадцать лет назад, когда пришел работать в «курчатник», и Гелий для него на секунду тоже предстал таким, каким был двадцать лет назад. А двадцать лет назад они, конечно, любили друг друга.

Гелий не скажет Юре, что ушел из академии. Точно не в ближайшее время, а там что-нибудь наметится, мало ли, вдруг вакансия менеджера аквапарка еще — или опять — свободна. Юра ведь тоже делился новостями, только когда те уже достаточно закрепились. Только тем, что прочно состоялось или кажется, что прочно состоялось, — как с Виржини. Почему, интересно? Чтобы выглядеть человеком, у которого не может не состояться?

И все-таки когда же Юра перестал его любить?

Тут до Гелия дошло, что странные ощущения, будто кто-то со всей силы тычет его в грудь изнутри, и странные звуки, похожие сразу и на свист, и на хлюпанье, — это его сердце и половинки легких. Он давным-давно не ходил так быстро. Последний раз он шел по улице с такой скоростью во время отпуска, перед тем рейсом из Владивостока.

Хорошо, что скамеек в Москве год от года все больше — Гелию не пришлось искать, куда сесть. Он сел, положил руки на колени и стал их рассматривать. Когда-то откуда-то он узнал, что, если хочешь привести себя в норму, надо рассматривать свои руки — наверное, потому что с руками никогда

ничего плохого не случается. И вид его рук оказался обнадеживающим, потому что вскоре сердцебиение утихомирилось и одышка улеглась, и Гелий пришел в норму. Ему почему-то стали вспоминаться Валины рассуждения. Они возвращались репликой за репликой с такой точностью, как вспоминаются свои или чужие слова обычно только на следующий день. Гелий даже удивился, как точно они запомнились, при том что он слушал без особого любопытства. И почему-то он подумал, что ему можно не думать о себе. Нет никакой необходимости думать о себе, потому что у него все нормально.

Гелий смотрел на свои руки, а в голову наплывали Валины фразы, и он улыбался тому, с какой горечью и бодростью Валя говорил, не потому что это смешило, а потому что у Вали тоже все нормально.

Гелий встал со скамейки и пошел, сначала очень медленно, а потом немного быстрее. Он может идти. Он может идти и дышать. Дышать медленно и идти медленно или немного быстрее, а если вдруг пойдет слишком быстро, просто сядет и будет смотреть на свои руки. Гелий только сегодня начал, и ему понравилось. Он открыл для себя свои руки.

Гелий приподнял их, чтобы еще раз взглянуть, и понял, что проскочил мимо входа в метро.

«Если бы Юра знал, о чем я думаю», — сказал он вслух, но тихо, развернулся и пошел назад.

Власть

За все эти годы отец считанные разы спрашивал Гелия о его работе, потому что не любил показывать, что чего-то не знает. Разве только с иронией.

«Забыл, — он щелкнул пальцами, — как на корабле называется шкаф?..»

«Шкаф», — ответил Гелий.

Он хотел было добавить, что за корабли, то есть за военный флот, не ручается, а вот на судах — в гражданском флоте — шкаф называют шкафом, туалет туалетом и только кухню все-таки камбузом. Не добавил, поскольку не был уверен, интересно ли это всем и так ли уж надо упоминать туалет за столом.

На свое семидесятипятилетие отец собрал порядочно коллег-физиков. Но они говорили между собой о самых разных вещах. Но даже тогда Гелий не всегда мог их понять.

«Ну и каково это?» — спросил через стол один отцовский приятель, довольно претенциозный тип.

«Что?» — привычно не понял Гелий.

«Ну… — тот приподнял вилку и как бы накрутил на нее невидимые спагетти, — обладать неограниченной властью. Капитан ведь отдает не распоряжения, а приказы, как в армии, — пояснил он всему столу. — Власть капитана на судне, даже на пассажирском лайнере, не говоря уж о торговом флоте, — он снова обратил взгляд к Гелию, словно показывая, что они двое тут единственные знающие люди, — абсолютна. Никому из присутствующих, — он усмехнулся, — никогда не было и не будет дано такой власти, но ведь любопытно же, вот я и спросил… Гелия, каково это — ощущать?..»

«А я никакой власти не ощущаю, — ответил Гелий, — я ощущаю или, вернее, чувствую только ответственность. — Все молчали, разочарованно или уважительно, и он продолжил: — Когда чувствуешь ответственность, про власть как-то забываешь».

«Ох, если бы те, кто стоит у руля там, наверху, рассуждали так же!» — произнесла, закатив глаза, чья-то супруга, и все засмеялись.

«А я думаю, они так и рассуждают. — Гелий сам сделал паузу, понимая, что опять обманул ожидания, и теперь даже получая от этого удовольствие. — Я вот никогда не рассуждал».

Это уже чуть не выходило за грань, но Гелий встретился глазами с отцом, и взгляд у того был не то более заинтересованный, не то более внимательный, не то просто более продолжительный, чем когда-либо, сколько Гелию помнилось.

А потом, когда они вышли из ресторана, отец вдруг напомнил Гелию, что тот еще ни разу не был в их с матерью новых апартаментах, которые сам же им и купил, — не заглянет ли он хоть на полчасика, раз уж это за углом? В представлении отца, оплатив квартиру, Гелий как бы оформил над ней опеку.

В прихожей мама, совсем сникшая под вечер, пожелала Гелию спокойной ночи и ушла готовиться ко сну, и они с отцом расположились на кухне. Гелий еще возле ресторана понял, к чему все затеяно, и приготовился потерпеть. Примерно раз в полгода они общались, и обычно это не длилось долго, поскольку от затягивания никто не выигрывал.

«Ты ведь помнишь, я не одобрял твоего желания поступать на флот».

«Еще бы не помнить».

«Но не знаешь почему».

А вот сейчас отец наконец, тридцать лет спустя, объяснит почему, — ради такого стоило заглянуть на полчасика.

«Я был уверен… зная тебя… что ты быстро сломаешься. Быстро поймешь, что это не твое, ну, не по себе срубил дерево, как говорится, и это будет настолько травмирующее открытие… Что ты… Что мы не сможем… Оказать тебе должной степени поддержки — я имею в виду моральную поддержку, разумеется, материальную мы бы, естественно, оказали…»

Так странно было это слушать, учитывая, что последние лет двадцать материальную поддержку родителям оказывал Гелий.

«Ну и в общем, когда ты получил должность капитана, я не то что не обрадовался — я в ужас пришел; будь ты простым матросом, это было бы еще туда-сюда, был бы какой-то шанс, что ты наплаваешься… А капитан — о господи, подумал я. Не пройдет и года…»

«Но прошло тридцать лет», — сказал Гелий спокойно.

«Да. — Отец посмотрел на него широко открытыми глазами, точно не на участника, а на свидетеля чуда. — То, что ты сумел продержаться так долго с твоим характером, — это для меня стало полной неожиданностью, ну, приятной, что уж там!»

«С моим характером — это с каким же?»

Гелий знал, что сейчас правильнее было бы сказать «спасибо», но не совладал с собой.

Отец, сразу из удивленного став задумчиво-невозмутимым, поднял глаза вверх, выбирая формулировку, потом в упор посмотрел на Гелия и ответил:

«Не капитанским».

У Гелия даже смешок вырвался.

«Ну и какой же капитанский?»

«Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! — Теперь отец стал раздраженно-нетерпеливым. — Волевой. Сильный. Вот Миша сегодня упомянул неограниченную власть. Да! — Гелий подумал, что, скорее всего, сам отец об этом раньше не знал. — Капитан должен себя поставить так, чтобы внушать авторитет. Чтобы его приказы выполнялись беспрекословно. Вот ты, — он наставил на Гелия палец, — можешь с чистой совестью назвать себя волевым человеком? Даже я не могу так себя назвать. Потому для меня и загадка…»

Тут он внезапно выдохся и стал смотреть куда-то вниз.

«Знаешь, — сказал Гелий, — я, наверное, тут ты прав — да нет, не наверное, а точно — человек нигде не волевой и, честно сказать, никогда не задумывался о какой-то своей, упаси бог, неограниченной власти, но… видишь ли, приказы кэпа выполняются беспрекословно не потому, что он так себя поставил и внушает авторитет, а потому, что офицеры и команда обязаны их выполнять. И потому, что они знают, что я обязан их отдавать, приказы,

хотя мне самому это слово не очень нравится, лучше, по-моему, «распоряжения», и об этом они тоже знают. И что я знаю, что им не всегда нравится эти приказы выполнять. И что мне на их месте тоже не всегда бы нравилось выполнять приказы, и что я это тоже отлично знаю. Извини, я, наверное, тебя запутал».

Он взглянул на отца и понял, что точно запутал. Отец явно устал после долгого шумного застольного общения.

Эта «неограниченная власть», будь она неладна, засела у него в голове. Сначала она только смешила, потом стала озадачивать и наконец беспокоить. Гелий не сразу понял, что его беспокоит не словосочетание, а воспоминание.

Это случилось одиннадцать лет назад в Свиноуйсьце. Между разгрузкой и погрузкой у него было время, чтобы уйти подальше от гавани, и он решил наведаться в «Старбакс» на набережной. Как только заказал кофе и уселся ждать, к нему подошли двое — поляк, в котором он узнал таможенного брокера, с которым когда-то имел дела, и незнакомый русский — и предложили изрядную сумму, если он возьмет на борт нелегальный груз. Схема отработанная — нужен только второй, подложный комплект из накладной и инвойса, где указано на семь ящиков больше, он у них уже готов, На таможне в Калининграде сидит свой человек. Гелий почему-то рассмеялся, покачал головой, сказал: «Нет», встал и вышел, забыв об оплаченном кофе.

В этом рейсе старпомом у него был некто Радугин, Гелий с ним прежде не ходил. Они только-только покинули акваторию Свиноуйсьце, когда Гелий заметил, что Радугин уже второй раз спускается в твиндек, хотя загрузить должны были только трюм. Он еще не знал, что догадывается, потому что не хотел догадаться, — и все-таки пошел за Радугиным, когда тот снова направился в твиндек. По пути, пока догадка дозревала в разгадку, Гелий обзывал себя бестолочью, цитируя отца, когда тот проверял, затем правил и наконец переписывал набело его домашние задания. Это же как дважды два четыре — не добившись толку с ним, они выйдут на того, кто руководит погрузкой; ему надо было сразу же из «Старбакса» бежать к Радугину, предупредить его и тем самым загнать в угол. Радугин стоял у двери твиндека и проверял замок. Гелий приблизился и велел отпереть. Радугин обернулся и взглянул на него, и тогда сомнений уже не осталось. Там было семь лишних ящиков. Гелий не спросил Радугина, что в них, только потребовал у него фальшивые накладную с инвойсом и деньги. Они прошли в каюту старпома, и тот отдал Гелию пачку наличных, обернутую целлофаном, и два документа, на которых Гелий обнаружил свои подписи, а вернее, их факсимиле, снятые с какого-нибудь сохранившегося у брокера образца, что, если присмотреться, становилось очевидным, но кто же будет присматриваться? Радугин стоял посреди каюты, а лицо у него было тусклое и отсутствующее, почти сонное. От растерянности Гелий вышел и лишь на мостике спохватился, что имеет право и обязан посадить старпома под арест. Когда он вернулся, Радугин уже сидел на своей койке и смотрел в иллюминатор. Понять по нему, что он чувствует и что им владеет — собственная ли защитная реакция окаменения, или слоновья доза транквилизатора, или сверхчеловеческий волевой императив, — было невозможно. Он не обернулся ни когда Гелий открыл дверь, ни когда секунду спустя закрыл, чтобы запереть.

Гелий всю ночь провел, прикидывая, отбрасывая, доводя до гладкости один неотвязный сюжет. Подождать, пока они уйдут подальше от береговых радиолокаторов, и ночью просто выкинуть ящики за борт вместе с деньгами и фальшивыми бумагами. Гелий представлял себе, как приматывает к пачке резинкой тяжелый скоросшиватель и кидает в воду. Но их в любом случае засек бы вахтенный матрос, не говоря о том, что вдвоем с Радугиным они все равно не справились бы, пришлось бы подключать того же матроса, Гелий сказал бы: «А теперь — не было никаких ящиков, поняли?»; они оказались бы, все трое, повязаны ложью, и если этот матрос, которого Гелий прежде не видел и не знал, прокололся бы, то потянул бы за собой и его, и

Радугина. Он успел узнать, что у Радугина с женой две дочки-дошкольницы и еще двое несовершеннолетних детей от первого брака, значит — алименты, а может, он в отпусках запивает или играет, но так или иначе Радугин не стал бы рисковать, нуждайся он по-настоящему в деньгах.

Наутро Гелий связался с береговой охраной. Уже через полчаса подошел патрульный катер, и Гелий выдал им левые ящики, пачку денег, подложные документы и Радугина. Он не стал юлить, рассказал все, как было, подтвердил, что в одиночку заключил сделку, предоставил образцы подписи, чтобы их сканировали и наложили. Один из ящиков вскрыли — он оказался доверху забит блоками сигарет. С трудом выломав одну пачку, офицер распечатал ее, и, только когда он вытащил и выпотрошил себе на ладонь сигарету, Гелий понял, зачем это понадобилось; но нет, из сигареты посыпался не белый порошок, а табак.

Когда на Радугина надевали наручники, лицо у него было такое же серое и непроницаемое. Поглазеть вылезла вся палубная команда, даже кок, потому что главный бич любого рейса, по крайней мере на грузовом судне, — это скука, единственное средство против которой не интернет, медленный и зависающий, а книги, если к ним с детства, как Гелий, приучен.

Тогда он этого не осмыслил и только теперь понял, что, наверное, единственный раз по-настоящему, в полной мере, «классически» можно сказать, употребил свою власть. «Употребил власть» — это прозвучало тоже как-то классически, знакомо; ну да, «Кот и повар». Он-то речей не тратил попустому. Или вправду надо было утопить эти клятые ящики под покровом ночи и, если им не повезет, пройти с Радугиным до конца.

***

«Почему бы и нет?» — повторил Гелий, глядя в высокие окна первого этажа, за которыми пестрели рядами книги, книги и книги.

Он никому не мешал, не преграждал дорогу, и почему-то прохожие все-таки оборачивались на него, застывшего напротив окна, над которым тянулись по фасаду буквы длинного слова.

«Попытка не пытка», — сказал он вслух, шагнул на крылечко и вошел в районную библиотеку.

Гелий миновал предбанник с кулером, доской объявлений и пунктом охраны, вошел туда, откуда минуту назад пестрели для него книги, подошел к сотруднице за стойкой выдачи, поздоровался и спросил, как пройти в отдел кадров. Сотрудница, ей было лет тридцать, вытянула шею куда-то в сторону, издала полугортанный-полукашляющий звук, и из-за стеллажей вышла другая сотрудница, лет двадцати пяти, но, видимо, более опытная. Она посмотрела на Гелия и сказала:

«Мы как раз недавно взяли нового охранника».

«А я не охранником. Я, честно говоря, вдруг у вас есть вакансия в штате…»

«Я вас проведу к заведующей», — сказала вторая сотрудница.

Заведующая была примерно ровесница Гелию, и он подумал, что ее зовут либо Ольга, либо Елена. Гелий знал за собой способность угадывать имя человека. Раз ему не сказали сразу, что вакансий нет, а провели к заведующей, сообразил Гелий, то вакансия, скорее всего, имеется, просто тут некий сложный случай, или он сам и есть сложный случай. Заведующая смотрела на него недоверчиво, но в то же время сочувственно — как смотрят, подозревая психическое расстройство.

«А вы раньше работали в библиотеке?»

«Нет. Я служил в торговом флоте. Тридцать лет. Из них двадцать пять в должности капитана. После тяжелой болезни полтора года назад вынужден был уволиться. Несколько месяцев преподавал в Академии водного транспорта, но… понял, что система образования мне не очень подходит».

«А почему вы считаете, что наша система вам подойдет?»

«А я не знаю, подойдет или нет. Как узнаешь, не попробовав? Может быть, я вам не подойду. Но я люблю книги. Очень. С детства, а плавания эту любовь только укрепили».

«Удивительно», — сказала заведующая, глядя на Гелия уже без сочувствия, но и без недоверия, а с выражением, которое ему трудно было определить.

Сам он постарался сохранить нейтрально-серьезно-ожидающее выражение.

Затем она словно пришла в себя.

«Ну, книги все любят, по крайней мере, все так говорят».

Гелий кивнул.

«Вообще-то у нас как раз неделю назад сотрудница ушла в декрет, так что вам повезло. Пишите заявление, приносите трудовую… Попробуем, что ли».

Оказалось, ее действительно зовут Ольга.

На старшую годами сотрудницу Гелий прикинул имена Александра и Мария и попал: ее звали Саша. На младшую, которая отвела его к заведующей, — Анастасия и Дарья, но тут провал был предопределен, потому что ее звали Василисой. Вася научила Гелия пользоваться программами для выдачи и приема книг, регистрировать новые поступления и оформлять билеты читателям, а Саша, как выразилась заведующая, познакомила с фондом, то есть провела экскурсию. Все это заняло час, и к концу следующего дня Гелий, по собственному ощущению, перешел из статуса ученика в статус мастера.

Саша и Вася держались с ним ровно и почтительно, заговаривали только по необходимости, а в обеденный перерыв мигом исчезали, и Гелия это устраивало. Порой они поглядывали на него так, словно могли бы о чем-то спросить, но в то же время спросить не могут, потому что о чем спрашивать, не знают; отсюда Гелий делал вывод, что насчет его флотской карьеры заведующая их просветила. Для всех троих он был здесь не на своем месте, и Гелий их понимал и не жалел, что они не понимают, насколько это место на самом деле его.

Контингент приходящих в библиотеку подразделялся на читателей и пользователей. Эти группы не смешивались, не накладывались, не пересекались и даже друг друга сторонились. Читатели были женщины младшего и старшего пенсионного возраста. От шестидесяти до семидесяти интересовались новинками «качественной» художественной литературы, от семидесяти до восьмидесяти — детективами. Пользователи приходили ради компьютеров, и только, это были мужчины младшего и старшего пенсионного возраста и студенты обоего, хотя в большинстве тоже мужского пола. По выходным добавлялись женщины с детьми в возрасте от шести до пятнадцати; женщины более-менее тщетно навязывали детям те книжки, которые сами когда-то читали, а дети всегда сначала отбивались, но результат все же зависел от упорства матери. Иногда школьники приходили и сами по себе.

Гелий заметил, что Саша и Вася не лезут к читателям понапрасну, и тоже не докучал. Правда, некоторым старым и заслуженным, которых новое, мужское вдобавок лицо заинтриговало и даже встревожило («Я вас тут раньше не видела!»), пришлось объяснить, что он новый сотрудник, а некоторым из некоторых — даже дважды.

Гелий сам не понимал, чем ему так нравится сканировать читательские билеты, снимать с полки книжку, которую читатель почему-то сам не нашел (или не искал, чтобы не попасть впросак), а иногда находить по базе и приносить из хранения нечто, подпадающее под особую категорию; открывать в компьютере программу, которую Саша и Вася называют «админка», отмечать, что код такой-то выдан, а код такой-то сдан; дружелюбно подавать реплику или столько, сколько требуется, выслушивать, когда читательнице некуда спешить и хочется обменяться литературными впечатлениями. Чем ему так нравится приходить в буфетную, наливать себе кофе и распечаты-

вать свой покупной обед; ловить пролетающие мимо него обрывки Саше-Васиных разговоров, не стараясь додумать или вдуматься; смотреть из-за стойки на людей, которые ходят меж стеллажами, одновременно сосредоточенные и рассеянные.

Он действительно не понимал, просто радовался, пока это есть.

Однажды — он как раз закончил обслуживать читательницу, которая все не уходила и нахваливала какую-то Машу Трауб, — перед ним возникла заведующая, которая за все две недели ни разу при Гелии в рабочее время не выходила из кабинета.

«Гелий Николаевич, это правда, что вы сегодня выдали несовершеннолетнему читателю книгу с маркировкой «18+»?».

«Маркеса? Ну да»

«Это нарушение инструкции. Вы понимаете, что если сюда…»

«Но это же Маркес! Мы с вами его читали в четырнадцать лет. Если не прочесть в четырнадцать…»

«Когда мы с вами его читали, не было возрастных маркировок. Вы понимаете, что, если сюда придут скандалить родители, у нас будут крупные неприятности? В общем, чтобы это было в первый и последний раз, окей?»

Она развернулась и пошла вдоль стеллажей обратно к себе.

Читательница у стойки повертела головой, словно ожидая еще чьего-нибудь явления с противоположного конца зала. Сидящая на соседнем рабочем месте Вася, наоборот, позировала для наглядного пособия по гигиене труда, раздел «правильная осанка при работе за монитором». Саша продолжала нагибаться и разгибаться, переставляя книги. Гелий успел все это заметить, но уже не успел осознать. Он был весь поглощен тем, что с ним происходило, а происходило что-то чрезвычайно важное и непостижимое. Он чувствовал то ли жар внутри, то ли жжение по всему телу вместе с пульсацией, которая опять же была не то ударами сердца, не то какими-то фокусами с его кожей, к которой будто подносили открытый ток.

Последний раз он слышал в свой адрес про последний раз, когда был моложе того паренька, которому выдал запретного Маркеса. Но дело было и в этом, и не в этом, и в нем, и не в нем.

Гелий встал и направился к кабинету заведующей, горя и пульсируя, но зная, что выглядит сейчас спокойным.

«Как вы смели выговаривать подчиненному в присутствии третьих лиц?»

К тому же из этих лиц одно годится ему в дочери, да и второе с натяжкой. Эту фразу он оставил внутри.

Заведующая посмотрела на него, и секунду Гелий был уверен, что у нее такие огромные глаза от изумления, но тут же понял, что она не сняла очки.

«Как я… смела?»

«Я своих подчиненных всегда отчитывал исключительно с глазу на глаз. Это… это азбука!»

«Может, это ваша морская азбука — азбука Морзе, — она усмехнулась, но без ехидства — не на его счет, а своему так метко выстрелившему каламбуру, — а у нас — своя, библиотечная!»

«Есть общая для всех азбука — правила этики».

Она немного сдала назад.

«Ну, хорошо, я это сделала специально, для острастки девочек, как пример. На будущее».

«Как пример?! Для острастки?! Да я вам что, школьник?!»

«Не кричите тут! Я вам тоже не матрос! Учить меня еще будете — правилам этики! Все, идите», — заведующая легонько махнула то ли на него, то ли на дверь за ним.

Она не вышла из себя, а только мимолетно опешила и вот уже снова смотрела в монитор.

Гелий не сдвинулся с места, но только потому, что его подошвы присосало к полу.

«Идите! — повторила заведующая с нажимом и добавила не столько возмущенно, сколько обескураженно: — Вы так себя ведете, ей-богу, будто это вы мое начальство!»

Когда он снова сел на свой пружинистый офисный стул за стойкой, до него дошло, что одна из девушек «стукнула».

На следующий день заведующая, проходя утром через зал к себе, не поздоровалась с ним отдельно, как прежде, и тогда он на следующий день не повернул голову, когда она миновала стойку.

Он подходил к буфетной, и из распахнутой двери до него гулко донесся Васин голос: «…он ее бывший муж или бывший любовник, или не бывший». Вася стояла к двери спиной, так что сначала он встретился глазами с Сашей, и та сразу сжала Васино предплечье, та непонимающе дернулась, а потом обернулась. Она была белесая, с носом-кнопкой и, густо порозовев, стала похожа на поросенка.

Гелий замер на пороге, Саша повернулась к нему в профиль, а Вася — снова затылком. Он должен был ретироваться либо шагнуть вперед и, как и собирался, подойти к столу и налить себе кофе. Он шагнул вперед, подошел к столу и присел на него с краю, так что Саша и Вася оказались у другого края. Гелий глядел на них, Саша глядела в стену, а Вася в пол.

«Это же было при вас обеих. — Он говорил почти тихо. — Если бы мы с Ольгой Сергеевной были знакомы, я бы что, пришел сюда вот так с улицы? Отвечайте, Вася»

Вася стояла, опустив сосисочно-розовое лицо. Ею можно было доказывать, что между стыдом и чувством вины не просто разница, а пропасть, что в некоторых случаях от стыда человек чувствует себя не виноватым, а правым.

«Ну что же вы не отвечаете…»

«Гелий Николаевич, — Саша приобняла Васю с той стороны, с какой пару минут назад сжала, — не надо здесь сейчас выяснять отношения».

«Вы это называете выяснением отношений?»

Саша смотрела на него большими темными, полными противостояния и одновременно пустыми глазами, Вася смотрела себе под ноги, обе молчали.

Ему так не хотелось снова увольняться, снова искать работу, снова излагать свою историю, которая в пересказе начала казаться немного несуразной. Его служба на флоте, отдаляясь, начинала казаться несуразной. По пути в библиотеку он сочинял предположительный разговор с заведующей и, когда она, как обычно, торопливо прошла мимо стойки, машинально ответил на ее брошенное всему наличному коллективу «Доброе утро!». На соседнем рабочем месте за стойкой в этот день сидела Саша. Минут через пять она быстро вышла в другой зал, и Вася тут же встала рядом с ее стулом лицом к Гелию.

«Гелий Николаевич, простите меня, пожалуйста».

Розовость как будто со вчерашнего дня въелась в ее щеки и нос. Ей можно было дать лет пятнадцать. Она смотрела, не мигая, как смотрят подростки, когда чего-то ждут.

Гелий не успел ничего ответить, но, видимо, его взгляд она приняла за ответ, потому что сказала еще серьезнее:

«Вы едите шоколад?»

«Ем», — ответил Гелий машинально, но правдиво.

«Вот, возьмите, пожалуйста. — Вася протянула ему плитку шоколада, как передают конверт с важным письмом. — Простите меня, я… не знаю, что на меня нашло…»

«Спасибо, — произнес Гелий, замечая, что берет плитку медленно и соображает тоже медленно, и добавил, чтобы подстегнуть себя: — Я очень люблю шоколад».

«Я на самом деле не знаю, что на меня нашло. — Вася по-тинэйджерски передернула плечами. — Это было подло. Простите».

Гелий отложил шоколад, с которого из-за этой внезапной замедленности начал на автомате было снимать обертку.

«Знаете, на флоте тоже сплетничают, еще как. О том, что юнга спит с коком».

Это была цитата из фильма «Два капитана-2», но Вася фильм явно не видела, пискнула смехом и сложилась пополам.

«Но только имейте в виду, — Гелий поднял палец, — что на большинстве торговых судов коки — женщины»

Вот так, значит, подумал он, вот так легко все и преодолевается — хохмой площе, чем эта плитка шоколада.

«Гелий Николаевич. — Вася распрямилась, но теперь напряжения как небывало. — Это я рассказала о вас Ольге Сергеевне, когда вы… эту книжку…»

Даже заминка прозвучала у нее почти бодро.

«Я знаю», — чуть было не сорвалось у Гелия, но он вовремя перехватил все, что нужно, и заставил себя улыбнуться.

«Ну, в следующий раз, если я нарушу инструкцию, вы лучше сами меня отругайте».

«А я вначале так и хотела! — выпалила Вася. — Но постеснялась. Подумала, что это будет невежливо».

Доносят, чтобы не показаться невежливыми, и просят прощения с шоколадкой — другая азбука? другая этика? другая библиотека? Другое поколение; но все это он переберет позже.

«Впредь не стесняйтесь. Вы же старший вахтенный помощник, а я — третий».

Вася улыбнулась, может быть, и не польщенно, а просто довольно, оттого что все позади. И внезапно из пятнадцатилетней она превратилась во взрослую, и Гелий даже не смог бы сказать, как именно.

«Понимаю. Необязательно все докладывать…»

«…капитану», — закончил Гелий.

«Извините, что прерываю вашу беседу… Я вот всего Перри Мэйсона у вас прочла, скажите, а Стивен Кинг хороший писатель?»

Они разом уставились на маленькое морщинистое лицо, над которым нависал рыжий мех шапки, и лицо испуганно и беспомощно отдалилось.

«Идемте, я вам что-нибудь подберу».

Гелий резко поднялся, вышел из-за стойки и пошел уверенно, не оглядываясь и не зная, что будет через минуту, когда он дойдет до стеллажа с детективной литературой, в которой ни капли не разбирается.

Тишина и путь обратно

«Что слушаешь?» — спросил Гелий.

Он проснулся незадолго до рассвета, как с ним последнее время бывало, и увидел голубоватое сияние на Диминой кровати, еще более яркое из-за белого одеяла, под которым скрывался экран смартфона. Дима полусидел в кровати, приподняв подушку и заведя руки за голову. В темноте отчетливо белел беспроводной наушник.

Гелий все-таки сдал квартиру и переехал к брату, делил комнату с племянником Димой, потому что эта комната была самая большая. Днем она служила как бы гостиной. Дима спал на диване, а Гелий сдвигал к окну журнальный столик, доставал из-под дивана раскладушку и размещал ее посреди комнаты.

Делить с кем-то жилое помещение ему последний раз приходилось двадцать пять лет назад, когда он, парень из Москвы, сначала оказался в общежитии архангельского мореходного училища, а потом еще несколько лет отдельной каюты ему не полагалось по рангу. О тех временах Гелий,

мало сказать, не тосковал, именно тогда он, выросший с братом-близнецом, издали и трепетно полюбил личное пространство как блаженный дар, который еще надо заслужить. Но после болезни, теперь, в новом начале, которое было одновременно и счастливым, достаточно долгим, как он наделся, концом, ему хотелось по возможности поступать наперекор своим привычкам, а идея подселиться к племяннику сюда ложилась в аккурат. Гелий даже предвкушал, как они с Димой будут болтать перед сном, но шестнадцатилетний Дима после дневного марафона уроков, секций и репетиторов добирался до постели едва в сознании и засыпал, едва голова касалась подушки.

«Бернд Алоис Циммерман».

«Постой… Боб Дилан, что ли?»

«Да нет, тот Роберт Алан, а это немецкий композитор. Академическая музыка».

«Барокко?»

«Нет, современный — ну как, двадцатый век, вторая половина. Умер в 1970-м. Покончил с собой — он был биполярник».

«Можно?»

«Конечно. Я сейчас верну в начало».

Их руки встретились на весу между раскладушкой и диваном, диван был немного выше, и это напомнило Гелию знаменитый фрагмент «Сотворения Адама».

Гелий пристроил наушник и лег на спину.

«Интересно», — сказал он, когда темнота снова стала беззвучной, а он лежал, вынув наушник, но продолжая сжимать его в руке и глядя по-прежнему вверх, где окно освещало потолок.

Он хотел добавить еще хоть что-нибудь, что выразило бы его удивление от этой музыки, но, как тот пьяный из анекдота, тыкался раз за разом в один и тот же угол, в одно и то же кретинское «интересно». Впрочем, длились его муки всего несколько секунд — к облегчению и к досаде Гелия, Дима, привыкший, видно, не ждать ничего вразумительного в таких ситуациях, не стал ждать, что он вымучает.

«По-немецки название звучит как «Stille und Umkehr». Можно перевести и как «Тишина и путь обратно», и как «Тишина и возвращение», но кто знает немецкий, говорят, что Umkehr по-русски — это скорее что-то типа «обращение» или даже «покаяние»…»

Гелий знал немецкий неплохо, но с этим именно словом прежде не сталкивался.

«Ты всегда такую музыку слушаешь?»

«Какую такую? Академическую? Или депрессивную, как папа говорит?»

«Такую серьезную, — нашелся Гелий, как показалось ему, очень удачно, в возмещение недавних потуг. — Такую, которую вряд ли кто, — он чуть не брякнул «в твоем возрасте», но удержался на краю, — вообще слушает»

«Последний год. До этого я вообще ничего не слушал, ничего внешнего, ну, я потом, может, расскажу подробней… Началось с того, что я в девятом классе здорово увлекся Кеплером, прямо все-все читал, что находил о Кеплере, и так узнал, что у Пауля Хиндемита есть опера и симфония под одним названием — «Гармония мира», посвященные Кеплеру. Послушал их, и мне симфония ну прямо очень зашла. И я сразу как-то отошел о Кеплера и стал искать уже немецких и австрийских композиторов второй половины двадцатого века… Начал с того же Хиндемита, добрался уже до Фуррера и Хааса. Что-то мне нравится, как тот же Циммерман, а что-то просто, как ты говоришь, интересно. Но когда интересно — это даже ценнее, чем когда нравится».

«Правда?» — сказал Гелий и сам смутился, как это у него получилось: словно он был племянник, а Дима — дядя.

«Я считаю, интерес выше всего, выше чувства, по крайней мере, потому что интерес — это проявление разума, а чувство — проявление души, кото-

рая занимает низшую ступень в иерархии сущностей. Это если по неоплатоникам, я у них кое-что почитал, когда забурился в Кеплера. Я всегда так: если меня что-то зацепит, я рою, рою вглубь, пока не вычерпаю все до дна или пока меня боковой туннель не уведет в сторону. — Он засмеялся. — Вся моя внутренняя жизнь — это система штолен».

Гелий смотрел на племянника и жалел сразу о многом: и о том, что душа стоит ниже разума, и о том, что сам никогда никуда не забуривался, и о том, что Димина внутренняя жизнь проходит в каких-то подземных рудниках, и что некому, похоже, рыть вместе с ним, и что Юра, Димин отец, считает музыку Циммермана депрессивной, и даже что нет единого мнения о том, как правильно переводится Umkehr. А еще Дима как будто прямо сейчас, на его глазах погружался, опускался туда, где в глубине его поджидают, точно григовские или гриммовские гномы, немецкие композиторы второй половины двадцатого века, надо было хоть сказать что-то.

«А я в твоем возрасте слушал A-ha и The Cure, — заговорил Гелий, стараясь, чтобы слышалась и его отеческая насмешка над собой, и глуповатая ностальгия. — А потом открыл для себя рэп. Покупал и выменивал все, что можно было достать на Горбушке. Beastie Boys. Так мне совершенно случайно попал первый альбом Massive Attack — «Blue lines». Я обалдел. Я был не готов к восприятию экспериментальной сэмпловой музыки, это стало для меня откровением, но больше я не мог слушать никакой поп-рок и даже электро-поп. И этот женский вокал… Потом Трики выделился из их состава — знаешь Трики?»

Дима — он уже спустил подушку ниже и лежал на боку — помотал головой.

«Я уже служил на флоте, когда у него вышел первый сольной альбом. Помню, купил его в Киле…»

Дима сложил ладони под щекой, зевнул и сказал:

«Я найду и послушаю».

«А, о, извини. — Гелий перешел на шепот. — На».

Он положил наушник на край дивана.

Его соученики по мореходке слушали «Гражданскую оборону». Однажды один из них попросил Гелия дать ему послушать, что слушает он, и, вытерпев минут десять, заключил: «Тоска». Гелий был не задет, не обижен, а поражен. Он скорее назвал бы тоскливыми те воюще-ноющие потоки, которым вверяли себя его приятели, но позже разобрался, где корень путаницы и несходства. Корень был в надрыве. Гелия надрыв отталкивал, а его ровесников, напротив, притягивал, и те дрейфовали в надрывной тоске как в своей стихии, но захлебывались и тонули в водах, для Гелия вполне дружелюбных, — водах отстраненности. Надрыв казался Гелию чем-то неприличным. Он-то и мешал ему проникнуться отечественной музыкой и, главное, отечественной мужественностью. Столкнувшись с разницей в музыкальных вкусах, Гелий заподозрил, что его воспитывали немножко по-другому, чем большинство ребят, с которыми его свела будущая профессия. Целенаправленно ему ничего такого в детстве не внушали, но все же ненавязчиво подводили к тому, что сдержанность — безусловная добродетель, а для мужчины так вдвойне. Настоящий мужчина сдержан и уравновешен; так считалось и в их семье, и в кругу родительских знакомых и коллег, научных сотрудников. Пример был неотлучно перед глазами — брат-близнец Юра, сдержанный и уравновешенный по натуре, в отличие от Гелия, нервного и возбудимого, но рано осознавшего, к чему следует стремиться, ну, или направлять усилие. Усилие надо направлять к сохранению внутреннего и внешнего спокойствия. Достоинство человека на пятьдесят процентов определяется его способностью держать при себе все, что, будучи выплеснутым, не приведет ни к чему хорошему, и, держа при себе, усмирять, насколько возможно, а лучше, насколько возможно, перемалывать в нечто противоположное. На флоте Гелий попал в другую среду, где все обстояло наоборот: сдержанность считалась

скорее женской чертой, и настоящему мужчине — мужику — она была не к лицу, а к лицу ему были надрывность и безудержность. Усилие, которое Гелий к тому времени для себя усвоил, усилие усмирять внутренний шторм, не выдавая ничем, что ты совершаешь усилие, каким-то образом все равно окружающими замечалось и очень их раздражало. Раздражало коллег-мужчин, коллег-женщин и женщин, которые не были коллегами, последних — в особенности. Спокойствие, как вскоре понял Гелий, воспринималось тут не как что-то самостоятельное, а как признак либо холодности, либо мягкости — при том что ни того, ни другого Гелий у себя не находил. Он мог бы не совершать никакого усилия, мог бы остаться в первозданной нервности и был бы окружающим только милее. Но было уже поздно. Гелий полюбил это усилие. Работа над собой стала для него потребностью, пусть даже для людей, которые его теперь окружали, работать над собой значило себя портить. Но Гелию нравилось меняться и менять себя.

«In Bewegung bleib ich treu», — однажды написала единственная, как понял Гелий совсем недавно, женщина, которая по-настоящему ему подходила, вернее, подошла бы — если бы он понял это немного раньше. Если бы он понял это хотя бы два года назад. Почему до него все доходит как до жирафа? Потому что он бестолочь. Не был бы бестолочью, стал бы физиком. Как все настоящие мужчины и настоящие женщины в их семье.

***

Виржини Альм происходила из семьи тоже не абы какой. Родилась в Стокгольме. Ее отец-швед был журналистом и политическим обозревателем, мать — французско-индийского происхождения — после переезда из Парижа, где они с мужем познакомились, сначала учительствовала в школе при посольстве Франции, позже устроилась в организацию, которая помогала мигрантам и беженцам. Виржини открыла в себе актрису благодаря школьному театральному кружку, но чуть не поступилась дарованием из чувства справедливости, которое толкало изучать социологию и экономику, чтобы бороться за права угнетенных. Не успев окончить Академию драматического искусства, Виржини познакомилась с начинающим кинорежиссером-немцем, переехала к нему в Берлин, там доучилась и начала сниматься — вдобавок к шведскому, французскому и английскому пришлось выучить немецкий. С режиссером они через несколько лет разошлись, и Виржини перебралась в Париж, где все еще жили ее бабушка и дедушка. В Париже она осела, как писала Гелию, на всю оставшуюся жизнь, потому что это единственный город, где она чувствует себя дома. Там пришлось начинать почти сначала, и во Франции ее еще долго воспринимали как немецкую актрису (а в Германии перед тем — как шведскую). С тех пор она, как сказал бы Гелий, снялась во множестве картин, а как выражалась сама Виржини — поучаствовала во множестве проектов, почти всегда артхаусных, французских, немецких, французско-немецких и даже вот отчасти российских.

Все эти картины-проекты Гелий посмотрел, поначалу смотрел из приличия, потому что Виржини давала ссылки на сетевые видео, а со временем из того же радостного интереса, который испытывал всякий раз, как видел, что от нее пришло сообщение. Переписывались и обменивались видеозвонками они через Вотсап, Виржини рассказывала ему о проектах, в которых участвует или готовится участвовать, и всегда ждала отзыва на свою свежую работу, правда, требовала беспристрастности. Гелия это требование, с одной стороны, совсем не затрудняло, а с другой — затрудняло очень даже: для него каждая роль Виржини заново подтверждала и но-новому преломляла ее большой талант, и Гелию хотелось высказываться об этом просто и прямо, но он понимал, что Виржини не поверит в его чистосердечие. Он пытался анализировать ее игру как критик, чтобы хвалить доказательно и разнообразить словарь похвал, и все равно получалось каждый раз примерно одно и

то же. Виржини отвечала на его лепет с той простотой и прямотой, которую запрещал себе он, — смайликом. И Гелий говорил себе, что она, очевидно, все понимает.

Историю кино Виржини знала вдоль и поперек — словами Димы, как самолично прорытую штольню, советовала, что посмотреть как из киноклассики, так и из незаслуженно забытых или малоизвестных картин «не для всех», закидывала Гелия ссылками. Смотреть все это Гелий в открытом море не мог из-за слабого сигнала, даже переписка то и дело зависала, приходилось откладывать до суши или до отпуска. Но вот что он мог беспрепятственно, так это читать книги — закачивал две-три в телефон перед рейсом и зачем-то всегда брал еще одну бумажную, — и читал много, как привык с детства. Виржини тоже постоянно читала, правда, в основном науч-поп. Мнениями о прочитанном они тоже обменивались, и здесь Гелий советовал на равных. Порой они спорили на темы вроде «новой этики», постколониализма и радикального феминизма, которые сотрясали западный гуманитарно-артистический мир и принимались Виржини близко к сердцу. Что-то более личное не обсуждалось; Гелий, правда, знал, что официально замужем Виржини никогда не была и детей у нее нет. Так продолжалось шесть лет, до середины 2022 года. Однажды Виржини написала, что в интервью какой-то немецкой газете упомянула о том, что переписывается с другом из России. Сразу же по выходе интервью началась ее травля в соцсетях, и даже во французской и немецкой прессе появилось по нелицеприятной заметке. Им придется на неопределенный срок прекратить переписку, хотя она очень многое потеряет, но, если ее «отменят» и перестанут снимать, это будет удар не только по ней, но и по людям, связанным с ней профессиональными обязательствами. Она никак не объясняла, почему нельзя публично покаяться, заявить, что переписка прекращена, и продолжать тайком. Гелий сделал вывод, что умение говорить одно, а делать другое начисто атрофировалось у жителей Европы.

За шесть лет ему чудесным образом повезло трижды оказаться там, где в это самое время проходили премьеры фильмов Виржини. Но лишь один — первый — раз там же оказалась и она сама. Когда Виржини написала, что такого-то числа в Париже будет премьерный показ ее фильма. Это была ее первая главная роль, события разворачивались во время Второй мировой войны, а она играла цыганку, которая сбегает из лагеря смерти. Виржини гордилась фильмом и привилегией внести свой вклад. Про Холокост снято множество фильмов, между тем как про геноцид нацистами рома почти не говорят! Потому что цыгане никогда не пытались интегрироваться в европейское общество. Готовясь к роли, Виржини рыла, то есть читала все, что могла найти по истории цыганского народа, ужасаясь и негодуя от того, как к нему испокон относились в Европе. Она и не знала, а оказывается, на ее родине, в Швеции, еще пятьдесят лет назад государство отбирало у рома детей! Один ее русский знакомый из Берлина сказал ей, что в России к цыганам всегда были намного терпимее, чем в Европе, в России цыган любят, особенно их музыку, — это правда?

«Правда», — ответил Гелий, испытывая гордость за Россию.

Цыгане. Музыка. Надрыв.

Наконец материал был отснят и поступил в постпродакшн. Виржини оповещала Гелия о каждом этапе, и он поздравлял ее. Картину взяли в конкурс парижского фестиваля независимого кино, ее премьерным показом фестиваль должен был завершаться.

«Ты не сможешь прилететь на премьеру? Я бы оплатила тебе билет и гостиницу». — «Какое это число?» — «15-е». С сожалением Гелий прикинул, что отпуск у него до 10-го, и тут же вспомнил: как раз с 14-го по 16-е их судно будет в Бресте. «Ура!» от Виржини, смайлик — от него. Они договорились, что если Гелий урвет день, то приедет в Париж утренним поездом, а ночным уедет обратно в Брест. «Это было бы супер», — написала Виржини, а Гелий откликнулся прыгающей в ликовании мультяшной собачкой.

Виржини попросила написать ей сразу, как только он купит билет; человек из администрации фестиваля встретил его на вокзале Монпарнас. Ступив на платформу, Гелий сразу уперся глазами в собственные имя и фамилию. Табличку держал молодой мужчина с внешностью уроженца Западной Африки.

«Malik. — Он протянул руку. — Did you have a good trip?»

«Гелий. Хорошо, спасибо. Мы можем говорить по-французски».

«О! Вы живете во Франции?»

«Нет, бываю периодически по работе. Но в Париже я первый раз».

«Тогда вам обязательно надо задержаться хотя бы на день, я сам покажу вам город!..»

«Большое спасибо, но, к сожалению, завтра с утра мне надо быть в Бресте — мое судно отходит».

«Извините, это не мое дело, но если хотите знать мое мнение, то я лучше потерял бы в деньгах, отменив бронь каюты и поменяв билет на лайнер, зато посмотрел Париж».

«Я бы сам так сделал — если бы это был лайнер. Но это контейнеровоз. И я капитан».

«Так вы не работаете в киноиндустрии?!»

Гелий привык, что, называя собеседнику свою профессию, впечатляет, хоть и не понимал почему. Здесь же впечатлила не профессия, а, наоборот, не-профессия, но почему, Гелию в данном случае как раз было понятно. Он уже собрался рассказать, как они с Виржини познакомились, но обнаружил, что его французского не хватает, да к тому же вовремя уловил настрой Малика: непосредственное «сейчас» и предстоящее «сегодня» заботили того явно больше.

«Вам повезло, — сообщил он Гелию с улыбкой, усаживаясь рядом на водительское место, — мы проедем весь город с юго-запада на северо-восток. Ваша задача — слушать и успевать смотреть по сторонам».

Ради Малика Гелий решил, что постарается справиться с задачей.

«Едем по бульвару Сен-Мишель. Сейчас по левую руку будет Люксембургский сад. Жаль, что у нас так мало времени, — мы бы свернули к Сорбонне…»

Гелий вертел головой налево и направо. Он был равнодушен к достопримечательностям; достойным было, с его точки зрения, не примечать, а смотреть, и достойным того, чтобы смотреть, все было все. И Гелий смотрел на все, что мог видеть, глядя перед собой в лобовое стекло, — и сразу видел город как целое, не равное сумме составляющих его частей. И это целое, через которое они то ползли, то мчались с юго-запада на северо-восток, насколько он его мог видеть, ему в общем нравилось.

Затормозив, Малик молча протянул Гелию бейдж на ленточке. Это была чистая проформа, Виржини внесла его в число приглашенных. Гелий глянул на бейдж, оторопело ожидая прочесть на нем что-нибудь вроде flotte civile de la Fédération de Russie. Но там было только фото, которое он выслал Виржини загодя, а также имя и фамилия.

Ни красной дорожки, ни лимузинов — кинотеатр занимал цокольный этаж жилого дома, все участники и гости мероприятия парковались, как и Малик, в переулках и шли полквартала до входа. Приближаясь, Гелий вертел головой уже ради себя, не Малика — высматривал Виржини. Показ был закрытый, для критиков и журналистов. Виржини предупредила Гелия, что перед показом будет фуршет, после показа — часовая пресс-конференция, а потом вечеринка в клубе — уже совсем для узкого круга; Гелий планировал потусоваться не дольше часа, чтобы успеть на поезд до Бреста. В фойе полным ходом шел фуршет, но ни за одним столиком Виржини не оказалось.

***

«Я хотел бы сочинять музыку…»

«А?..»

«Ой, прости, я думал, ты не спишь…»

«Я и не спал, просто… вспоминалось кое-что. Думал, ты спишь. Все нормально. Да?..»

«Я говорю… — Дима скорее осекся, чем замялся. — Я хотел бы сочинять музыку. То есть записывать ту, которая звучит у меня в голове. Я узнавал: чтобы тебя приняли на факультет композиции, что в Гнесинку, что в консерваторию, без диплома музыкалки шансы почти ноль, то есть формально-то его не требуют, а по сути… — Он покачал головой, то есть Гелию было ясно, что Дима качает головой, хотя выглядело это так, будто он трется ухом о подушку. — Рекомендация педагога, ну, в общем, понятно… Жаль, что папа тогда не разрешил».

«Чего не разрешил?»

«Записаться в музыкальную школу. Якобы ни у кого у нас в роду нет слуха, и потом, мол, знаем, ты туда рвешься, потому что Карина в музыкалке учится, а завтра ты влюбишься в девочку, которая занимается конным спортом, и подавай тебе лошадь. Карина — это моя одноклассница, я однажды приглашал ее на день рождения, и папа почему-то решил, что она мне нравится».

«Небось самому ему нравилась», — сказал Гелий; злость в нем уже закипала.

«Вряд ли — нам тогда было по десять. Если Карина мне и нравилась, то… умеренно, а учиться музыке я хотел не из-за нее, просто так совпало, что именно в тот год у меня это началось… Сижу, допустим, на уроке или читаю дома книжку, и вдруг… сначала словно издалека, но внутри головы, как бы из глубины ее… И так полчаса, час. А я даже записать и разложить на голоса не умею…»

«А какая она, эта музыка? — спросил Гелий. — На что похожа?»

В темноте Дима втянул носом воздух, набирая его для долгих размышлений.

«Ну, на Циммермана похожа?» — уточнил Гелий.

«Скорее на Хааса, — сказал Дима вдруг сразу. — Отчасти на Шелси. Он итальянец, я уже к ним перешел. Ну да теперь без разницы. В смысле, для меня без разницы. Спокойной ночи!»

Дима отвернулся к стене, показывая, что ничего не остается, кроме как крепко спать.

Минуту спустя Гелий встал и пошел в смежную комнату. По Юре было видно, что он спит уже давно, и сон его еще не миновал пик прочности, чтобы идти на спад. Гелий стал слегка пихать его в бок кулаком, а потом потолкал обеими руками, как если бы катил большой снежный ком для снеговика.

«Почему ты своего сына в музыкалку не пустил?»

«А, что?..»

«Почему ты не пустил сына в музыкалку? Отвечай!»

«Ох, Геля…»

«Я не гель, я деготь, а ты — домашний тиран!»

«Мне вставать завтра в семь… Это ты безработный…»

«Я не безработный, я сухопутный, а ты не отец, а ехидна!»

Юра перевернулся на спину и посмотрел на Гелия сквозь щелки, отчего взгляд очень кстати получился пытливым.

«Чего ты хочешь?»

«Не знаю, — сказал Гелий; он чувствовал, что злость рассосалась, но место, где она была, еще не пустует. — Может, я просто хочу, чтобы ты не спал. Чтобы ты завтра в своем «курчатнике» клевал носом и упал с насеста, и у тебя закружились бы вокруг башки такие, знаешь, звездочки…»

«Ты… выпил, что ли?»

«Я не выпил, не покурил и не понюхал. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас подумал о том, что человек, у которого в голове звучит музыка, никогда не сможет эту музыку записать».

«А, вот ты о чем... Да Дима ни одну мелодию напеть не в состоянии. Там была вроде девочка, в которую он…»

«Знаешь, тут мне недавно позавидовали, дескать, я, как капитан, обладаю неограниченной властью. Но экипаж сходит на берег — и привет. А власть родителей над детьми, она круглосуточная. Вот это сто пудов неограниченная власть».

«Ты разбудил меня, чтобы об этом поговорить?»

«Нет, это так, для затравки, вообще-то я хотел спросить тебя как физика: вот почему у меня на голове волосы русые, а борода седая прет?»

«Как физик я тебе говорю: иди…»

Он усмехнулся с сонной незлобивостью и повернулся на бок. Гелий какое-то время сидел на полу возле Юриной тахты, чтобы не чувствовать себя так, будто он идет, куда его послали. Когда он вернулся в их с Димой комнату — да, она была уже их с Димой, — раскладушка показалась ему вдруг таким убожеством, что он сел на офисный стул за Диминым письменным столом, даже не рассчитывая заснуть, а потом встретил Димин явно утренний удивленный взгляд и сам удивился.

К приходу Юры с работы и Димы с занятий Гелий отварил картошку и цветную капусту на троих и поджарил покупные котлеты в панировке на двоих — сам он уже давно не ел мясное. Юра приходил обычно на часполтора раньше Димы.

«Возвращаясь к нашему ночному разговору. — Юра сердито-четкими ударами ножа посек котлету на части, прежде чем воткнуть в нее вилку, хотя Гелий за ним такого не помнил. — Который смело можно было и отложить до нынешней минуты, ну да ладно — не в упрек. Так вот, если бы у Димы это было всерьез, насчет сочинения музыки, он проявил бы настойчивость, он бы плешь проел, но своего добился бы. Он боролся бы! Помнишь, когда меня решили перевести в математическую школу после восьмого класса, я заявил, что вообще школу брошу, если тебя тоже туда не переведут? А возьми хоть себя! Когда ты надумал поступать в мореходное…»

«Но я и не боролся, в этом не было необходимости — у всех просто челюсти отвисли. И потом, Диме было всего десять».

«Ну, хорошо, а позже что ему мешало? Почему он не записался в какой-нибудь музыкальный кружок, если чувствовал, что это его призвание? Я не контролировал его так уж жестко, он много чего мог делать у меня за спиной. Нет, я считаю, если ты так быстро сдался, то потом не имеешь права никого обвинять».

«Дима тебя и не обвиняет».

Он встал из-за стола, машинально потянулся за тарелкой брата, но увидел на ней все ту же раскромсанную котлету с не убывшим гарниром. А подняв глаза на Юру, подумал, что тот, возможно, и не заметил бы, если б нетронутый обед забрали у него так же, как и подали.

«Послушай, Геля... В физтех Дима поступит с первого года — сто процентов. Он сам все это понимает».

Гелий пожал плечами, встал к мойке и принялся мыть свою тарелку и кастрюлю, где варились овощи. Брат был вне пределов видимости, вода шумела, и Гелий не знал, ест Юра или нет. Ему было бы жаль, если бы оказалось, что Юра не стал есть, но прежде всего он сожалел о чем-то, начало чего терялось где-то далеко, а продолжение словно утекало с водой в раковину. Что это было, он так и не уловил.

С Димой они до отхода ко сну перекинулись парой-тройкой слов, подругому никогда не получалось. Гелий пожелал племяннику спокойной ночи и, когда тот не отозвался, уже решил, что на сей раз усталость подрубила Диму вовсе под самый корень.

«Папа — хороший отец», — произнес Дима почти нежно и как-то просительно.

Гелий пожал плечами, словно повторяя себя, и подумал, что в темноте этого не видно, но оно и не важно.

«Пока ты к нам не переехал, он каждый вечер готовил мне обед на следующий день — сам он обедает в их столовой, — накрывал фольгой и ставит в холодильник, чтобы я, когда приду из школы, разогрел. — Дима рассказывал так же нежно и монотонно, будто о далеком прошлом. — Когда я был поменьше, я торопился, плохо снимал фольгу, маленькие кусочки оставались, и тогда в микроволновке искрило и щелкало. Я называл это: картошка смеется».

«Он говорил с тобой?» — спросил Гелий, и ему показалось, что Дима должен обидеться, как обиделся бы он сам.

«Нет, но ты-то с ним говорил. Я слышал, как ты прошлой ночью встаешь с кровати, и догадался, что не в туалет».

«Извини», — сказал Гелий и, только сказав, почувствовал то, что стояло за этим словом.

«Да не, я даже был тронут».

Они лежали, слушая — по крайней мере, Гелий слушал — спокойное, неподвижное и глубокое, как сон, бодрствование друг друга.

«А из меня, как по-твоему, хороший бы отец получился?»

«Сомневаюсь».

«Вот и я сомневаюсь».

«Дядя из тебя нормальный».

«Рад слышать. — Гелий совсем освоился в этой уютной откровенности под покровом тьмы и добавил: — Мне это нравилось… в основном. Быть дядей. Единственное…»

«Что?» — Настороженность в Димином голосе была не совсем взаправду, он подыгрывал.

«Дело не в тебе, не бойся. Ну, по правде говоря, когда я встречал тебя после уроков при полном параде, мне хотелось сквозь землю провалиться».

«И мне! Я просто не знал, куда глаза девать!»

«Серьезно?» — Гелий был потрясен, но потрясен как бы двояко: его словно и обставили, и вместе с тем освободили.

«Ну да. Ты был такой кринжовый в этом кителе и фуражке! Мне казалось, на нас все пялятся, — это было невыносимо».

Ту давнишнюю невыносимость, словно бы пролежавшую в заморозке, как Валин нацист, а сейчас растаявшую от Диминого дыхания и представшую живее, чем была, Гелий вновь пережил так остро, что даже слово «кринжовый», которое он слышал впервые, казалось понятным без перевода.

«На нас и правда все пялились, но я думал, тебе как раз это и нужно! Я ради тебя терпел! Господи, знать бы раньше! Это все Юра и его мать. Он мне внушал, что ты гордишься дядей-капитаном, что ты хочешь, чтобы нас все видели. Тьфу!..»

«Помнишь, ты сказал вчера, что Карина папе самому нравилась? — Дима приподнялся на локте, чуть более взволнованный, чем минуту назад. — Ну, вот насчет Карины это, конечно, не так, но я думаю, папе самому хотелось, чтобы его видели рядом с тобой, когда ты в форме капитана. Чтобы вас все видели».

«Чужеспинник он», — вздохнул Гелий.

«И все-таки папа — хороший отец», — почти прошептал Дима.

***

Ближе к концу фильма Гелий заснул — сказался утомительный день в дороге. Его разбудили то ли аплодисменты, то ли зажегшийся свет. А потом люди поднимались мимо него по проходу, оглушая его французским, как будто нет ничего естественнее одного все еще сидящего и озирающегося

зрителя. Виржини пропустила всех вперед, а потом, в почти пустом зале, подошла к его креслу и села рядом на корточки.

«Сейчас будет пресс-конференция. Поддержишь меня?»

«Я бы лучше прогулялся по окрестностям».

«А-а, не советую. Эта улица — как раз граница десятого и девятнадцатого округов».

«И что?»

«Не лучшее место, чтобы гулять в потемках. Меньше, чем в квартале Сталинград. — Она встретила его вопросительный взгляд и усмехнулась: — Станция метро «Сталинград». Она на площади Сталинградской битвы».

«Тогда я просто должен туда пойти!»

«Не советую, — повторила Виржини. — Торчки... Шпана… Особенно для туриста…»

«Слушай, я не турист, а русский моряк. Вот, даже тут указано».

Он щелкнул по бейджу, и она засмеялась.

«И что, Popeye Russe меня таки не поддержит?»

Хотя сон в кинозале и восстановил его силы, остроумие еще поступало с перебоями, так что Гелий только улыбнулся, встал, подал Виржини руку, и она сделала вид, что это он ее поднимает.

На пресс-конференции вопросы задавали в основном режиссеру, а Виржини, когда к ней обратились, сказала почти то же самое и теми словами, что писала Гелию о рома. Что касается его, то сон неожиданно попытался закрепить победу, но Гелий уже был ученый, так что перехватил его и отбросил. Опять зааплодировали, но на сей раз Гелий проявил энергию, первый встал с места и — не без вызова всем присутствующим — кивнул Виржини, сидящей в президиуме между режиссером и исполнителем главной мужской роли.

Клуб находился тоже меньше чем в квартале ходьбы, только со стороны, противоположной Сталинграду. Туда они с Виржини шли рука об руку, но сразу на входе какая-то киношница увлекла ее в общую компанию. Вместо ожидаемых Гелием цыганских ритмов играло диско 70-х: ABBA, Карл Карлтон и иже с ними. Гелий немного покрутился на танцполе, а потом встал у барной стойки и попросил себе для простоты такой же коктейль, как у девушки рядом, которая, широко улыбнувшись, сказала ему почему-то «Hi!» и тут же отвернулась. Он рассчитывал, что Виржини минут через десять—пятнадцать выберется из той компании, но та компания плавно передала ее другой. К Гелию никто больше не обращался и не подходил. Он выпил то, что ему намешали, засек по часам время и ровно через десять минут расплатился, вышел на улицу и пошел, не думая о направлении.

Машины еще ездили, но людей на тротуарах почти не было. Метров через десять, а может, больше Гелий увидел что-то вроде павильона над спуском в метро. Фонари поблизости то ли отсутствовали, то ли не горели, но табличка «Stalingrad» светлела в синей темноте. Рядом стояла компания парней такого же цвета, как Малик. Гелий прошел мимо и спустился по ступенькам. Под рекламным щитом к стене приткнулось скомканное грязное одеяло, а рядом стоял пластиковый стаканчик с мелочью — должно быть, хозяин отлучился ненадолго. Гелий высыпал в стаканчик центы, оставив себе на проездной талон. В легендарных хитросплетениях парижской подземки он разобрался быстро, купил талончик и встал на платформе. Ему было спокойно, как бывает спокойно только там, где никто друг друга не знает. Как и везде, вагон в сторону центра за полночь был почти пуст. Опять Гелий ехал через весь город, только теперь вообще его не видел. Но так, в мягко громыхающей тишине, невидимый Париж понравился ему больше и запомнился лучше, чем из машины Малика.

***

Однажды Виржини написала: «Когда я играю, я сильнее всего чувствую, что живу. А ты когда сильнее всего чувствуешь, что живешь?» — «Когда танцую», — написал Гелий сразу, хотя сам никогда раньше не задумывался над этим. Потом он многим людям задавал этот вопрос Виржини и собрал неплохую коллекцию ответов: когда смотрю игру «Торпедо», когда выкуриваю первую за день сигарету, когда разговариваю с моим двухлетним сыном. Последний ответ дал один боцман; из всех боцманов, с которыми Гелий ходил в рейс, он единственный почти постоянно был под мухой, и никто так виртуозно не управлял краном — грузы у него опускались и поднимались точно по струнке.

Судовой врач Юля, с которой у Гелия тогда был роман, ответила, как и он, сразу, не задумываясь: «Когда мне больно»; в глазах у нее при этом впервые, сколько он ее знал, появилось что-то вроде страха.

А теперь, с тех пор как он больше не ходит на дискотеки не только потому, что у него нет денег и сил, но и еще по какой-то причине, которой ему не так уж любопытно доискиваться, — что бы он ответил теперь? «Все зависит от длины волос» — вот что он ответил бы. Виржини, вероятно, послала бы ему на это гребенку вопросительных знаков.

Уволившись с флота, Гелий осуществил давнюю мечту — отпустил волосы до плеч. Ничего, что, пока мечта ждала воплощения, у него выросла лысина, анфас ее не было видно.

«Ты похож на какого-нибудь пуританина, сошедшего с брига «Мэйфлауэр», — сказал ему тогда Юра. — Или постой-ка, знаешь, на кого? На Гулливера. Точно! Каким его всегда изображали на иллюстрациях, помнишь?»

«В стране лилипутов или великанов?» — отозвался Гелий, но Юру было не сбить.

«Вообще-то если серьезно, быть в наши с тобой годы волосатым, оно, конечно, твое святое право, но надо тогда и бороду отпустить. А то без бороды…»

«Чтобы меня принимали за отставного байкера? Уж лучше за Гулливера».

«Тебя будут принимать… — Юра понизил и как-то затемнил тон. — Извини, не хотел говорить, но если уж ты сам не видишь...»

«Чего не вижу?»

«Без бороды такую длину, да с лысиной, носят только педы!» — выпалил Юра и покраснел, смутив сам себя и оттого еще больше раздражившись на брата, во всяком случае, так прочитал его Гелий.

«Давай все-таки вернемся к Гулливеру, — улыбнулся он ласково и почти злорадно. — Хотя не возражаю и против пуританина».

Вопрос: когда ты сильнее всего чувствуешь, что живешь?

Ответ: с одинаковой силой с тех пор, как стал Гулливером.

***

Предпоследнее письмо от Виржини пришло по электронной почте, оно было первым таким, Гелию это почему-то было приятно. Оно и по существу отличалось, как бы размеренно-безличное, но при этом более интимное; Виржини рассказывала о своих индийских корнях. Вложением прилагалось оцифрованное старое фото ее прадедушки и прабабушки с материнской стороны. Виржини писала, что знает о них, увы, немного, они были выходцами с Малабарского — юго-западного — побережья Индостана. Бабушка родилась уже в Лондоне и говорила только по-английски. Судя по тому, что прадед и прабабка были темнокожими и худощавыми — как и бабушка, какой Виржини ее помнит, — они принадлежали к низшим кастам. Тогда их переезд в Англию еще объяснимее: бабушкины родители, очевидно, хотели, чтобы их дети получили образование, что на родине, внутри кастовой системы, было немыслимо. В Англии прадед устроился на обувную фабрику, где и проработал всю жизнь, а вот его дочь уже окончила колледж. Бабушка из-

учала историю. Ей понадобилось много лет — она была уже давно замужем за отцом мамы Виржини, французом, чтобы преодолеть барьер, который мешал ей обратиться к истории страны, откуда приехали ее родители. Но в итоге ее самые известные работы посвящены именно индийской истории, прежде всего истории и антропологии каст. Виржини и сама, примерно в том же возрасте, в каком к этому обратилась бабушка, стала интересоваться устройством индийского общества. Дальше она писала о варнах, и это Гелию самому было известно: варн четыре — брамины, кшатрии, вайшьи, шудры — и, вне их, неприкасаемые; может, поэтому дальше он читал письмо менее внимательно. К тому же откуда ему — и Виржини — было знать, что это письмо предпоследнее от нее, то есть последнее между ними. Формально последнее пришло почти вдогонку и вытеснило предыдущее. Оно было послано через Ватсап и сгинуло вместе с ватсаповским профилем Гелия. А предпоследнее единственное из всех сохранилось. И теперь Гелий поднял его из-под наслоений электронной макулатуры, чтобы перечитать. И читал словно впервые.

Перейти из одной варны в другую нельзя, писала Виржини (да, да, известное ему и раньше), но внутри них существуют джати (вот чего он все же не знал) — собственно касты, что-то вроде профессиональных сословий. Раньше и они были неподвержены флуктуациям, но в сегодняшней Индии джати по большому счету проницаемы и каста уже не равна судьбе. Но варны — другое дело. Варны непоколебимы. Дети браминов — всегда брамины, дети шудр — всегда шудры, и дети неприкасаемых, окончи они хоть Оксфорд (что возможно только гипотетически, потому что накопить денег на Оксфорд неприкасаемый не сможет в принципе) всегда дети неприкасаемых. Брамины могут заниматься исключительно умственным трудом. Конечно, это красиво, когда социальную пирамиду или, более по-индийски будет выразиться, социальную гору сияющим снежным пиком венчают интеллектуалы. До сих пор в Индии, писала Виржини, человек, который решил заниматься тем, чем не занимался никто из его родни, становится изгоем — да, своего рода outcast, тем же неприкасаемым для семьи.

«Outcast for the family», — перечитал зачем-то Гелий, а потом еще пару раз, не замечая, что вспышка уже озарила его. Два года тому назад он так и не успел написать ответ, а теперь уже не мог, но, если бы мог, написал бы Виржини, что он, русский моряк, а вовсе не индийский мусорщик, — типичная жертва кастовой системы. Его отец, доктор физико-математических наук, членкор, — типичный советский брамин. С детства Гелий знал, что он урод в семье, но не понимал механизм, а теперь понял: он урод в семье браминов. И пусть на море он почти не работал руками (разве что периодически брался за штурвал), а скорее все-таки головой, но его голова ничего не создавала. Не производила интеллектуальных ценностей. Между умственной работой брамина и умственной работой вайшьи — пропасть. Да, он вайшья, к какой же еще варне принадлежать тому, кто транспортирует грузы.

Его отец и мать никогда не скрывали, что интеллигенты они оба лишь во втором поколении, что деды и бабки у обоих были рабочими или крестьянами. Дедам и бабкам уже Гелия удалось то, о чем в Индии они бы и мечтать не посмели, — поменять варну. Браминами были отец его отца и отец его матери, браминами были его отец и теперь его брат. И его племянник — уже брамин, да, кто-кто, а Дима брамин прирожденный в лучшем смысле слова.

Юра с девятого класса нацелился — или родители его нацелили, разницы для Юры почти не существовало — на физмат МГУ, а что касается Гелия, то его явно решено было пропихнуть в вуз пониже рангом, но той же направленности. Когда Гелий в десятом классе объявил, что намерен поступать в мореходное училище, это вызвало шок. А когда он был принят, набрав проходные баллы по математике и физике, это вызвало не гордость, а еще больший шок. Гелий продолжал надеяться на гордость, когда вышел в свой первый рейс как капитан. Нет, он ждал ее и так не простил родителям, что

не дождался. Но лишь сейчас понял, как глупо было ждать. С точки зрения родителей, лучше быть нулем как брамин, чем единицей как кто-либо другой. Он не обязан был посвятить себя физике. Он мог пойти в гуманитарную науку, как двоюродная сестра-филолог. Ну хорошо, не в науку — он мог стать, например, дипломатом. Врачом — почему бы нет? На худой, очень худой конец инженером. А он взял и похерил варну. Он оставался их сыном, сыном, которого любили, но он перестал быть своим.

Но на флоте, среди людей, большинство которых вышло из морских династий, из касты мореплавателей, Гелий не стал своим. Он слишком много читал, говорил слишком ровным голосом и слишком правильно и даже двигался слишком легко. А что бы они сказали, увидав его с волосами до плеч.

***

Из всех фильмов Виржини только тот, про отважную цыганку, выходил в российский прокат, остальные Гелий смотрел онлайн. Ее последний на сегодняшний день фильм он отыскал в интернете вскоре после того, как они с Виржини свернули общение, но тогда не обида, нет, что-то другое подсказало ему отложить просмотр до условно лучших времен. Теперь же Гелию казалось, что, раз он сумел вернуться к предпоследнему — последнему настоящему — письму, то и тянуть с последним фильмом нет резона.

Уже то, что Виржини впервые снялась в родной Швеции, у шведского режиссера, точнее, режиссерши, тревожно выделяло этот фильм. Название — «Обвинения» — отдавало икеевским минимализмом и навело Гелия на мысль, что количество ежегодно снимаемых в Швеции кинокартин отмерено с таким расчетом, чтобы каждый житель страны посмотрел их все и потом не запутался.

Первые кадры: женщина стреляет в лесу из пистолета по мишеням, нарисованным на деревьях. Женщина идет мимо детского летнего лагеря. Она видит, как мужчина уводит за руку девочку. Она окликает его, он говорит, что он отец девочки. Нет, я видела ее родителей, когда они за ней приезжали, вы не ее отец. Мужчина говорит, что он друг родителей. Женщина: «Я звоню в полицию!» Она достает мобильный, но он уже, кажется, заметил пистолет у нее за поясом, отпускает руку девочки и убегает.

Дальше мы видим, что героиня живет на маленьком хуторе, там у них с мужем хозяйство — свиньи, куры и огород, ее муж — в инвалидной коляске. Он встречает ее руганью: где она шляется, бросила его на весь день одного. Она рассказывает ему, на что потратила день: покормила кур и свиней, вычистила за ними, сходила в магазин — до ближайшего городка и обратно, прополола и полила грядки, прогулялась немного. «С кем? С кем ты прогулялась?» — «Ни с кем. Одна». — «Врешь! Я тебя, шлюху, насквозь вижу». — «Опять пил?» — «Не твое собачье дело…» Она идет на кухню. «Ты ничего не ел?» — «Что я мог есть, если ты ничего не сготовила?!» — «Но ты же сказал вчера, что сам себе сготовишь». — «Ты думаешь, раз ты меня не кормишь, я свою кормежку сам на себя возьму, буду делать за тебя твою работу?» Она убирает пистолет в ящик кухонного буфета, оборачивается к мужу, с которым разговаривает устало и без выражения. «Но я же делаю за тебя твою работу все эти пять лет…» — «Я, значит, виноват, что меня сбил тот мудак?!» — «Я не говорю, что ты не виноват, но ты не разрешаешь нанять работника». — «Знаю я, зачем тебе здесь мужик!» Тут она не выдерживает: «Мне — мужик! Да если бы у меня были силы хотя бы на то, чтобы причесаться! Я везу в одиночку все хозяйство, а ты только пьешь и смотришь порнуху, и за все пять лет я от тебя доброго слова не слышала». — «Ах, я еще должен тебя утешать? Ты на своих ногах, а я вот в этом, и я должен говорить тебе добрые слова?!» Она опять становится уставшей, словно из нее выпустили воздух: «Я так больше не могу. Ферма все равно в убыток. Давай продадим здесь все и купим квартиру в горо-

де, мы же раньше жили в городе. Я устроюсь куда-нибудь работать, мы наймем тебе сиделку с проживанием…» — «Зачем?» — «Я хочу пожить какое-то время у мамы». — «Ты решила от меня уйти?» — «Но ты меня еле выносишь, разве я не вижу, и я тоже устала». — «Устала от меня?» — «Это только на время. Нам это будет полезно». — «Ты бросишь меня на чужого человека?» — «Чужой человек будет заботиться о тебе так, как ты заслуживаешь, а я буду работать, содержать нас, навещать тебя каждый день. У меня просто больше нет сил». Он как будто сдался: «Ладно, я подумаю». Она тронута, через силу слегка улыбается ему. «Схожу к курам за яйцами, а потом приготовлю ужин».

Она собирает яйца, когда вдруг откуда-то снаружи раздается звук, похожий на выстрел. Она быстро идет в дом и видит мужа мертвого, свисающего с кресла. В его руке — пистолет. Он выстрелил себе в висок. Она кричит, бросается к нему, рыдает. Потом мы видим, что прошло несколько минут или полчаса. Она вынимает из руки мужа пистолет, обтирает его руку тряпкой. Закапывает пистолет в огороде. Звонит в полицию и говорит, что к ним залезли воры, ее муж убит. Приезжает полиция. Героиня говорит им, что воры вошли через незапертую дверь, муж, наверное, кричал — он был пьяный, и они со страху застрели его. Искали наркотики — ящик с лекарствами был вывернут наизнанку, несколько упаковок пропало. Полицейский: «Так вы что, привели все в порядок? Вы же стерли отпечатки!» — «Ой, я не подумала…» Она рыдает.

Один из полицейских приходит к ней через несколько дней и с не совсем уж невинным видом, а явно что-то себе думая начинает расспрашивать. Она рассказывает, что они с мужем переехали сюда из города семь лет назад. Вообще-то муж врач, а она медсестра, они познакомились на работе, но из-за проблем с алкоголем мужу пришлось уволиться из клиники. Тогда они купили ферму и перебрались за город. Потом мужа, когда он был пьяный, сбила машина.

Становится ясно, что инспектор подозревает ее в убийстве мужа. Он выясняет, что она нелегально купила пистолет. В конце концов он предъявляет ей обвинение. Женщина выслушивает его покорно, а потом в комнате для допросов говорит, что действительно убила мужа, но только не так, как они считают. Она рассказывает все, как было: что сказала ему о том, как ей тяжело, и о решении временно пожить отдельно, как услышала выстрел и нашла мужа; она не могла вынести мысль, что виновата в его смерти, она захотела представить все так, как будто они были счастливы и только трагическая случайность оборвала его жизнь. Воры в поисках наркотиков действительно залезали к ним год назад и угрожали оружием. Муж не разрешил ей сообщить в полицию, не хотел, чтобы сюда приходили мужчины. А после того как на нее напали в лесу и ей еле удалось убежать, она купила в городе пистолет. Муж знал о нем и где он лежит.

Но инспектор усмехается как-то нехорошо. Что ж, придумано блестяще, только вот не прокатит: у них есть показания свидетеля. Вчера задержали типа, который околачивался возле детского лагеря, и он показал, что был рядом с вашим домом и через окно видел, как вы стреляете мужу в голову. Героиня смотрит на инспектора — то есть на зрителя — с усталым немым вопросом, будто лишь он — то есть они знают и могут сказать ей, стреляла она или не стреляла. В последнем кадры детишки из лагеря, возглавляемые вожатой, идут парами, распевая, через лес, где героиня в первом кадре стреляла по мишени. Идут довольно долго. Конец фильма.

Гелий закрыл окно пиратского сайта, только с третьего раза попав курсором в крестик. Зачем-то положил планшет на колени экраном вниз. Гелий слегка дрожал, и это его слегка пугало, хотя больше удивляло и даже чуть смешило. Он сказал себе вслух, только чтобы перебить дрожь, что посмотрел великое кино. Ему самому тут же стало странно, потому что все великое, что таковым считается, было ничуть не похоже на вот это. Гелий даже почувствовал себя дураком, но это его не оскорбило.

Он снова оживил экран планшета, снова ввел название фильма в поисковике и стал искать, сам не зная, что ищет. Он нашел фрагмент пресс-конференции, в котором Виржини говорит, что для нее этот фильм — о том, каково быть женщиной в мужском мире. «И каково же?» — спрашивает журналист. «Быть женщиной — значит всегда чувствовать вину».

Под фрагментом пресс-конференции свисала борода комментариев на разных языках. Последний был годичной давности, и все-таки Гелий оставил свой, несколько раз начиная то на одном, то на другом языке и в итоге выбрав русский.

«При всем моем уважении к исполнительнице главной роли, по-моему, дело не в том, какой у тебя (написав «пол», он стер и поправил себя) гендер. Для меня это фильм о том, как чувство вины заставляет тебя, будь ты мужчина или женщина, отталкивать вину, и как вина в конце концов мстит, поражая тебя, когда ты невиновен».

Он не мог заснуть, взял телефон, зашел на страничку видео и проверил — его комментарий по-прежнему венчал ленту, гордый своей ненужностью. Гелий все глядел на экран, чувствуя, как понемногу нагревается телефон в руке. Наконец он написал по-английски:

«Виржини, мы все равно общаемся, хочешь ты или нет, и теперь я снова буду тебе писать, отсылать письма не буду, но писать буду. Я напишу тебе обо всем: о том, как заболел, как из-за последствий болезни уволился с флота, как первые полгода был очень слаб, а потом стал слабым ровно настолько, насколько нужно, и обо всем, что еще будет».

Он пребывал сразу и в новом начале, и в конце жизни, он носил волосы до плеч и был одновременно юношей типа Димы и полоумным стариком и чувствовал, что ему уже позволительны маленькие безвредные, безоглядные и безнадежные выходки вроде обращения к знаменитости или писания на стене.

***

«Дима… И ты, Юра. Вот вам двоим такой вопрос. Когда вы сильнее всего чувствуете, что живете?»

«Уф, это я так, с ходу не могу, — сказал Юра. — Надо подумать».

«Мне тоже», — сказала Дима поспешно и при этом нерешительно.

«Вопрос экзистенциальный», — заметил Юра, как бы желая польстить вопросу, раз уж не может на него ответить.

Гелий брился перед сном, когда в ванную постучали. Дима присел на край ванны, и лицо у него было сразу и воодушевленное, и удрученное.

«Я сразу понял, как ответить на твой вопрос, но не хотел при папе. Сильнее всего я чувствую, что живу, когда я один. Я так редко бываю один… когда вообще никого вокруг. И мне всегда в эти моменты хочется, чтобы так было всегда. Я не стал говорить при папе, потому что его бы это напугало. Меня и самого пугает».

«Да ну, ерунда, — сказал Гелий. — Нормальное желание, вполне понятное. У меня самого так бывало в рейсах. Это потому, что ты сейчас живешь не так, как тебе хочется. А потом, когда у тебя будет больше свободы, ты сам сможешь решать, когда быть одному, а когда с другими».

Он уже засыпал, когда его разбудила мысль, ослепительная, точно мультяшная лампочка над головой, что ведь, подселившись к Диме, он отнял у него, быть может, единственные те самые «моменты».

***

«Простите, можно полюбопытствовать, что вы читаете?»

Дама, по виду ровесница его матери, уже несколько минут сидящая рядом на скамейке, теперь повернулась к нему вполоборота и улыбалась не-

определенно, как человек, который в курсе, что современная действительность содержит сцены насилия.

Гелий показал ей обложку «Доктора Фаустуса».

«Читал давно, а тут, так случилось, заинтересовался композиторами и дай, думаю, освежу в памяти. Никто ведь больше о них не писал».

«Да что вы! А Ромен Роллан? «Жан-Кристоф»! Не читали? Прочтите! Это намного лучше — никакой мистики».

«Вот хорошо бы. Мистика меня, помню, и в первый раз раздражала, я сейчас ее вообще не перевариваю» .

«Аналогично! Нет-нет, прочтите «Жан-Кристофа» непременно. Это о Бетховене. Бессмертная возлюбленная — неизвестная женщина, которой он написал письмо, которое нашли только после его смерти. С тех пор все гадают, кто она была. Множество версий. В том американском фильме бессмертная возлюбленная — это якобы жена его брата, но это чушь: Бетховен ее ненавидел и презирал, считал, как бы сейчас сказали, хабалкой. Нет, большинство исследователей склоняется к тому, что это была одна графиня, которую Бетховен любил всю жизнь, — Жозефина… Жозефина фон… забыла, ну не важно. Они познакомились еще в молодости, потом она вышла замуж, овдовела, и тогда у них с Бетховеном, как бы сейчас сказали, закрутилось, он просил ее выйти за него замуж, и несколько лет она его… как бы это выразиться…»

«Динамила?» — решился Гелий.

«Ну, да, сейчас, наверное, так бы сказали. И в итоге с ним порвала. Под нажимом родственников. Для них он был плебей, а не Бетховен. Простолюдин, а не гений. Официально, по тогдашним законам, она, аристократка, не могла сочетаться браком с представителем третьего сословия, а если бы они стали жить во грехе, как тогда бы сказали, — родня отобрала бы у нее детей от первого брака. Ужас! Все-таки это счастье, что сословное общество давно кануло в Лету»

«И не говорите. А в Индии-то до сих пор касты!»

«Мы в свое время очень увлекались Рабиндранатом Тагором», — как будто начала дама, но, видимо, не вспомнила ничего конкретного о Тагоре, и Гелий уже вернулся было к чтению.

«А еще эта печальная история с племянником, которого он обожал. Бетховен. Своих детей у него не было, и племянник, сын брата, в каком-то смысле заменил ему сына. Бетховен мечтал, чтобы мальчик сочинял музыку, но не сложилось…»

Она вновь замолчала. Гелий не смотрел ни на нее, ни в книгу, таким образом, смотреть ему оставалось только прямо перед собой. Мимо скамейки прошел английский бульдог, а с ним кто-то двуногий, но на уровне бульдога видны были только голые икры, не ясно даже, мужские или женские.

«Ромен Роллан, «Жан-Кристоф», — внезапно как выстрелила дама. — «Роллан» с двумя «л», «Жан-Кристоф» через дефис. Да сейчас я вам запишу! — Она расстегнула сумку и принялась в ней шарить. — Я преподаватель, так что на чем и чем писать — это-то у меня всегда!..»

***

«Ну, что скажешь?» — Гелий поставил перед братом тарелку.

«Я же еще не попробовал!»

«Да я не о том! Насчет экзистенциального вопроса».

Юрина пара доставшихся им от матери круглых голубых глаз еще округлилась.

«Ну, я же вчера спрашивал, и ты сказал, что тебе надо подумать… Когда ты сильнее всего чувствуешь…»

«Ах, это! — Юра, казалось, обрадовался. — Знаешь, честно говоря, забыл. Но я подумаю, подумаю… Вопрос…»

«И не говори, — опередил его Гелий. — В дымину экзистенциальный».

Брат глянул на него укоризненно и приступил к еде.

«Я долгое время считал… — начал Гелий. — Ты ешь, ешь… Я долгое время считал, что поступил в мореходку, чтобы сбежать от отца с мамой».

Юра уже с новой укоризной вздохнул.

«Потом стал считать, что поступил в мореходку, чтобы сбежать от тебя…»

«От меня?» — Юра положил нож и вилку.

«Ну да. Ты ведь, как Мэри Поппинс, — само совершенство. — Гелий искусственно засмеялся, надеясь, что брат расслабится и не даст своему обеду остыть. — А сейчас я думаю, что поступил в мореходку, чтобы сбежать от себя самого».

«Ну, это, знаешь, банально, — сказал Юра, и тут же его взгляд нырнул куда-то ниже тарелки, под стол. — Извини, Света звонит».

Он вскочил из-за стола и почти выскочил из кухни, прижимая телефон к уху.

Тьфу ты, снова разогревать, подумал Гелий. Банально. Еще бы не банально — потому и не сбежал. Хотя нет, что-то его мысли относит совсем не в ту степь.

Я напишу тебе о Диме, который роет, роет под музыку в своей голове. Про Валю, влюбленного в принцессу — покойную дочку Геринга. Про Бетховена, про отца-брамина, про мои волосы, про Радугина, про липу и смешку, про вину и банальности, хоть бы их было еще много-много.

Ничто не канет в Лету. Обязательно напишу, бессмертная ты возлюбленная.

Гармония мира

Последнее время все женщины маминого возраста, которые попадают в поле моего зрения, кажутся мне похожими на маму. Может, они просто стали чаще попадать в поле моего зрения из-за моего места работы — районной библиотеки, а женщины лет около семидесяти, как выражается заведующая, составляют ядро наших читателей. Так оно или не так, но я решил позвонить маме и вспомнил, что у меня нет номера ее мобильного. Изредка я звоню отцу, а он, и то не всегда, передает ей трубку, но как правило — мы переговариваемся через него. Пришлось спросить номер у брата.

«А что?» — насторожился Юра.

«Да ничего, поговорить с ней хочу».

«Это понятно, а зачем?»

Я уже немножко рассердился.

«То есть как «зачем»? Ты с мамой каждую неделю разговариваешь и небось понимаешь, зачем!»

«Ну, я — это я, а ты — это ты. — Юра усмехнулся якобы смущенно — есть такой вид смущенной усмешки, когда человек менее всего смущен. — Ты-то и папе звонишь раз в полгода и никогда не просишь маму к телефону — мне это известно от нее».

«И что… она обижается?»

«Нет-нет, она давно не обижается, просто, если человеку вдруг понадобилось что-то, без чего он много лет обходился, это обращает на себя внимание, согласись. И возникает правомерный вопрос зачем».

Я был согласен с самого начала, и Юрин правомерный вопрос меня рассердил, но не удивил, просто я подспудно надеялся, что он его не задаст.

«Голос матери родной услышать в кои-то веки — вот тебе ответ на твой правомерный вопрос».

«Ну, другое дело», — сказал Юра, довольный, что добился чего хотел.

Я сразу набрал маму.

«Алло?» — насторожилась мама так же, как Юра.

«Алло, привет, мам, это я, Гелий, просто захотел с тобой поговорить».

Она не спросила: «А зачем?», вместо этого она вздохнула и сказала:

«Спасибо».

Вот чего я не ожидал — и совсем растерялся. Мне стало страшно, когда я заметил, что молчу уже, наверное, несколько секунд и разговор, соответственно, делается с каждой секундой все страннее.

«А я теперь в библиотеке работаю, — осенило меня. — С апреля».

«Ух ты», — сказала мама.

Значит, они с Юрой меня между собой совсем не поминают.

«Да. И… мне нравится».

«Как я рада», — сказала мама, и я понял, что она говорит искренне, потому что интонация у нее была нисходящая, а не восходящая, как в театре, когда говорят: «Как я рада!»

И добавила, словно заискивая, но я понял, что это просто от осторожности:

«Тебе это намного больше подходит, чем — ну…»

Еще полгода назад я бы взбеленился, а скажи мне это отец — может, взбеленился бы и сейчас, но я, видно, отвык от маминого голоса, и по телефону он был моложе, как все голоса по телефону, и к тому же словно голосом кого-то, кого я никогда не видел и не знаю. И я сам для себя вдруг стал кем-то, кого я еще не знаю и не знаю, что ему больше подходит, а что меньше. Тем более что это не имеет значения, а значение имеет мамин голос, новый и какой-то неведомый.

«Чем морское дело? Да, наверное, ты права».

Какая разница? Если ей так хочется, пусть она будет права.

«Хотя, конечно, немного недостает возможности в одиночку принимать решения», — сказал я, чувствуя, что надо все-таки утяжелить разговор, как будто мы с мамой и впрямь обсуждаем мою жизнь, а не слушаем голоса друг друга.

«Ну, это же так тяжело — в одиночку принимать решения, — сказала мама, будто представив себе такое и испугавшись. — Мне было бы ужасно тяжело!»

И вдруг я понял, что она права, права не понарошку. Что это ужасно тяжело, и изумился, как я на своей прежней работе кэпом справлялся с такой тяжестью и не считал ее за тяжесть. Просто мне никто этого не говорил, никто не говорил мне того и так, как сказала сейчас мама. Слава богу, что никто не говорил, и очень жаль.

«Тяжело, это верно», — сказал я, и мы замолчали, но страшно уже не было.

«А в библиотеке тихо», — произнесла мама так, как говорят, что в лесу тихо.

«Да, тихо. На судне тоже по-своему тихо, просто везде свои звуки тишины», — сказал я и аж оторопел.

«Да», — вздохнула мама, словно тут и понимать было нечего.

Мы снова взяли паузу и после нее будто начали сначала, но уже так, как, наверное, разговаривают между собой все сыновья и матери. Я спросил маму про здоровье и про здоровье отца, и дальше ее понесло, и меня тоже понесло, как под горку. Это было уже немного скучно, совсем не таинственно, но легко, словно наши голоса, познакомившись, говорили за нас, и было даже весело слушать, как складно у них выходит.

«Ну, я еще позвоню», — сказал я вдруг, словно ехал в такси и такси резко затормозило.

«Когда?» — спросила мама опять тем первым, неведомым голосом.

И я опять растерялся.

«Завтра», — сказал я быстро, чтобы только успеть не замолчать.

«Хорошо», — сказала мама то ли с одобрением, то ли с облегчением.

«Ну, пока, мам».

«Пока. До завтра».

Я отключился и сразу увидел, что, пока я разговаривал с мамой, прошел вызов по видеосвязи от Вали из Вены. Я позвонил ему, немного удивляясь,

поскольку время было неурочное, а Валя сам же любил придерживаться распорядка в общении. Возникло Валино лицо, какое-то нетерпеливо просветленное.

«Привет! Не отвлекаю?»

«Уже нет».

«Помнишь, — он поджимал губы, как бы чуть злясь на себя за то, что сам себя задерживает преамбулой, — я около месяца назад попросил у тебя имэйл Виржини Альм?»

«Помню, было дело».

Дело было, как я тогда думал, но, естественно, не выложил Вале, бесперспективное. Валя знал о проваленных Юрой отношениях с Виржини, и о нашей затем шестилетней переписке, и как переписка закончилась. Когда он написал сценарий фильма об эсэсовце, которого заморозили в Третьем рейхе и разморозили в современной России, то мои как бы тоже замороженные контакты с европейской актрисой оказались более чем кстати. Валя не утаил от меня, что хочет послать Виржини сценарий. Мне было жалко Валю, и я дал ему имэйл, чтобы растянуть его грезы.

«Ну, так вот! Она мне вчера ответила! Сценарий ее сразу зацепил, и она не отвечала так долго, потому что сама ждала ответа от немецкого продюсера, которому сразу же переслала сценарий. Они, понимаешь, люди четкие, не будут разводить ля-ля, если дело не на мази. Ну и продюсер загорелся! Немцы хотят снимать, представляешь?!»

И тут Валя захохотал. Я впервые видел и слышал, как хохочут от радости. Когда читаешь в романе: «Он захохотал от радости», воображаешь какое-то исступление, а на практике — ничего особенного, просто и мило.

«Правда, сценарий придется переработать. Действие будет перенесено в Германию».

«А как же все эти ученые? Таня?..»

«Их сделают немцами. Среди героев вообще не будет русских».

«Но тогда пропадет главная линия!»

«Ну а кто сказал, что она главная? Главное, что этот нацист просыпается в современном мире, в своей же стране, которая совсем не такая, какой он ее знает, — так даже интереснее»

Тут до меня дошло, что я с самого начала разговора, с первой же Валиной вводной фразы, из которой только совсем тупой не понял бы, к чему эта фраза, — обижен. Еще не ясно было, на кого и почему. И я сказал с долей обиды:

«Что ж, ты автор, тебе виднее».

Валя затараторил дальше по поводу организации съемочного процесса, про договор и права. Я не мог на этом сосредоточиться — меня отвлекала обида, которую я разгадывал понемногу, как кроссворд. Вдруг я будто очнулся:

«И дикобраз будет?»

«А то! Он их очаровал: Виржини писала — тот продюсер еще с актерскими агентствами не связывался, а уже написал в департамент защиты животных и в зоопарк».

Когда мы с Валей разговариваем по видеосвязи, я как-то забываю, что и он мое лицо видит. Только что Валя весь лучился и вдруг словно погасил себя и сказал:

«Здесь я всем интересен постольку, поскольку я иммигрант. Когда я приезжал на конференции и для работы в архивах, я был коллега, понимаешь?»

Мы с Валей дружим почти столько лет, сколько себя помним, мы ссорились, обижались надолго — на день-два, но я никогда не чувствовал по отношению к Вале того, что почувствовал теперь. Почему он, а не я? Почему Виржини переписывалась с Валей, а не со мной? То есть как раз ясно почему: потому что он сидит в Вене, а я в Москве, и от этого вопрос «почему» еще больнее впивается. Вопрос «зачем» часто бывает правомерным, а вот

вопрос «почему» обычно неправомерен. И переносится намного хуже.

«Я спросил ее, не хочет ли она что-нибудь тебе передать», — внезапно сказал Валя.

«И?»

«Она ответила, что в ближайшее время напишет тебе на мой адрес».

Я сразу перестал ревновать. И тут же понял, что ревновал. И мне стало стыдно, что я все это время плохо радовался за Валю.

«Ну, мои поздравления!» — сказал я.

«И мои — тебе», — усмехнулся Валя.

Дорогая Виржини, к нам в библиотеку каждый день приходила женщина, уже лет пятнадцать, — коллеги мне сказали, а им сказали те коллеги, кто начал работать раньше них, а те узнали от коллег, которые уже давно вышли на пенсию, — так вот, она приходила и при мне каждый день, садилась на стульчик в углу за стеллажами, доставала из рюкзака большой блокнот и ручку и начинала писать, писать, писать — без передышки. И пока писала — час-полтора, улыбалась. Потом уходила. Она никогда не здоровалась, не прощалась и вообще ни слова не говорила. Меня подмывало спросить, что она пишет, а Саша (моя коллега, я тебе о ней писал) сказала, что она эту стадию тоже проходила, и все до нее проходили, но никто так и не решился спросить. А тут вдруг пропала — день ее нет, другой ее нет. Прошло недели две, и наконец одна наша читательница поймала, наверное, мой взгляд, когда я глянул на пустующий стульчик, и сказала: «Да, не хватает ее, — и добавила: — Но она теперь долго не придет. Я с ней живу в одном подъезде…» — «Она что, заболела?» — «Наоборот, вылечилась. Сестра с мужем приехали и чуть ли не силком, а может, и силком отвели ее к психиатру, тот прописал ей таблетки, и вот уже две недели сестра с нею живет — следит, чтобы она свои таблетки принимала. А то вся однушка, говорит, чуть не до потолка была забита блокнотами с откровениями. Они с мужем пять коробок блокнотов вынесли!» Мне так хотелось спросить, куда вынесли те пять коробок; я представил себе, что вот можно же пойти на помойку и прочесть откровения. Я, конечно, не спросил, только сказал, что, по-моему, человека надо лечить, только если он страдает. Или если сильно страдают окружающие. А та женщина с откровениями улыбалась, когда их записывала, значит, она была счастлива и не мешала ведь никому. Ее соседка по подъезду вздохнула, как бы соглашаясь, но тут же сказала: «Ну, хорошо, а блокноты-то? Куда их было бы дальше девать?» — «Тоже верно». На том наша беседа и закончилась. Но я потом еще некоторое время думал о том, кому надо прописывать таблетки, ну или, по крайней мере, дать какой-нибудь предмет, например, носовой платок. Я думал про Ивана, моего нового коллегу, он пришел на место Васи — Василисы, я тебе о ней писал. Ему лет двадцать пять, с бородкой, естественно. Когда Саша его не просит ей помочь, он сидит за кафедрой (оказывается, так называется эта стойка, за которой мы сидим), слегка покручивается на стуле туда-сюда, глядя в свой телефон, и периодически громко возит соплями. Не знаю, как у вас в Европе, а у нас, я заметил, люди за последние лет двадцать как будто разучились сморкаться. Раньше у каждого человека всегда был при себе носовой платок, и все умели ими пользоваться. Я часто в транспорте, когда рядом стоит молодой парень, а то и мужик лет тридцати, слышу такой характерный смачный гнусавый всхрап. Словно они боятся выпустить наружу то, что в носу. Я терпел, терпел, потом специально купил пачку бумажных носовых платков и деликатно предложил Ивану. Тот очень удивился и сказал, что ему не нужно. И опять в телефон — и опять… Не знаю, может, меня просто раздражает молодежь. Старики меня тоже стали чаще раздражать. А вот та же молодежь к тем же старикам относится гораздо терпимее. Наверное, я, во-первых, старею, а во-вторых, боюсь старости.

Я написал это письмо Виржини по-русски, как и все предыдущие, кото-

рые пишу с недавних пор и не отсылаю. Перечитав, я сообразил, что, пожалуй, не смог бы перевести его на английский, разве что с помощью нейросети. То, что с письмами, которые я написал и не отправил, было совершенно не важно, теперь стало важным, и я даже испугался, о чем писать Виржини, зная, что она это прочтет.

Я сидел в своем сквере-по-понедельникам, который раньше для меня был сквером-недалеко-от-дома и я им пренебрегал именно потому, что он недалеко от дома. Я оценил его, с тех пор как работаю в библиотеке. Понедельник — мой единственный выходной, а работа библиотекаря вовсе не такая сидячая, как считают профаны. В понедельник меня не тянет на прогулки, чтобы далеко и долго. Они мне теперь только иногда снятся, и этого достаточно.

Я сидел на своей скамейке и слушал симфонию Хиндемита «Гармония мира». Я слушал ее одновременно и для себя, и для Димы, который ее любит, — так бывает в начале дружбы, так было у нас с Виржини. Скамейка эта старая, советско-ампирная — длинная, низкая и вогнутая, антиэргономичная, и мне с моим ростом на ней довольно неудобно. Но в этом сквере все скамейки такие, а моя стояла немного на отшибе. С противоположного края на нее села молодая женщина с детской коляской. Очень молодая — будь она без коляски, то девушка.

Симфония закончилась, я вынул наушники.

«Простите…»

Она смотрела на меня.

«Простите… Я отойду только за сигаретами, напротив, — вы не присмотрите?»

«Конечно!»

Мне понравилось, что она не свихнулась на этом повальном недоверии, что она здравомыслящий человек и понимает: еще имеет смысл того опасаться, кто подсел к тебе, но не того, к тому подсел ты сам.

«Спасибо, я мигом!»

Как будто это я ей доверил что-то драгоценное, а не она мне. Я подкатил коляску к себе и стал мерно подталкивать ручку туда-сюда, как все делают. Коляска была гранитно-серая, словно сшитая из чиновничьих пиджаков.

Не прошло и пяти минут, как она вернулась.

«Спасибо огромное!»

«Не за что. Почему такая мрачная коляска?»

«Мужская. — Она поправилась: — Мальчиковая. Сейчас все такие».

Она замешкалась, я понял, что ей хочется покурить, и кивнул, как мог бы махнуть рукой. Она отошла на пару метров и закурила. Дым она выпускала так, чтобы его сносило в противоположную от коляски сторону, а глаза скашивала на коляску, следя, правильно ли я качаю. Очевидно, качал я все-таки неправильно, потому что ребенок сначала тихо, а потом чуть громче заквохтал. Она мигом потушила сигарету, отщелкнула ее мимо урны, быстро подошла к коляске и вынула свое дитя — я, ей-богу, обрадовался — из этого серого грота.

Я присмотрелся к ним: ей было года двадцать три, а ребенку и полугода не было, наверное. Держа на весу под мышки, она смерила его деловым взглядом, удостоверилась, что не мокрый, и, решив, видно, что он просто залежался, стала поднимать и опускать.

«Покажите ему сквер», — сказал я.

Она без улыбки, будто я не посоветовал, а отдал приказ, повернула ребенка лицом от себя. Только что он висел над ее коленями вроде тех кукол, которые набиты чем-то сыпучим, но теперь руки и ноги слегка зашевелились, ребенок запрокинул голову, казалось даже — он смотрит на верхушки деревьев. А может, как знать, его сумеречное сознание и впрямь постигало сейчас, например, вертикаль или еще какую-нибудь абстракцию.

Я спросил, как имя ребенка, а себе сказал: Мирон. Мои ровесники через одного Антоны, а среди этих, новеньких, насколько я могу слышать, каждый второй Мирон.

«Серафим».

«О», — сказал я.

«Мы с мужем еще до того, как поженились, решили, что, если родится девочка, будет Серафима, а мальчик — Серафим».

Я не знал, что сказать, и молчал. Брякни я хоть что-то, издай хоть какой звук, то же самое «О!», она никогда не сказала бы того, что сказала дальше:

«Муж погиб. В августе будет полтора года. Мы в медовый месяц поехали с друзьями, тоже парой, на остров Аскольд, это Дальний Восток, Японское море».

Она явно привыкла объяснять, где это, и я вовремя удержался, чтобы не брякнуть «знаю».

«Ну и вот. Мальчики хотели понырять, там очень классные места для фридайвинга, Леша и Влад до этого год занимались с инструкторами и всю технику безопасности прошли, ничего не должно было пойти не так… В общем, Влад всплыл, а Леша не всплывает и не всплывает. Позвали еще ребят, которые ныряли поблизости, ну и в конце концов подняли… Скорую вызвали, она приехала через час, но врач сказал: даже если бы они тут дежурили… Внезапная остановка сердца. Вот. А через месяц я поняла, что…»

Бред это или не бред, но от того, что ее муж погиб не на войне, а неудачно нырнув со скалы в море, я почувствовал себя так, словно сам вынырнул из воды и выдохнул.

«Свекровь хотела, чтобы я назвала в его честь Алексеем, она до сих пор мне не может простить. Даже мои родители не поняли. Просто мы с ним никому не успели сказать, а чем я теперь докажу?!»

«Да не надо ничего никому доказывать, — сказал я. — Правильно вы сделали».

Она, казалось, вспомнила, что держит на весу своего Серафима, а он покладисто и беззвучно висел, то запрокидывая, то потупляя головенку-шапочку. Она потянулась за коляской, я подтолкнул коляску к ней, и она убрала в нее Серафима. Она не собиралась пока уходить, и я тоже. Может, я внушил это себе, но мне казалось, мы молчим уже так, как молчат во время разговора, а не просто сидя на одной скамейке.

«Я сюда каждый понедельник прихожу, — сказал я, — а вас никогда не видел».

«Да, мы раньше гуляли во дворе дома, но там сейчас меняют покрытие. Я живу вон в том доме, — она показала куда-то, — со свекром и свекровью. Мои родители в Березниках».

Почему она рассказывает мне о себе, подумал я. Наши читатели тоже, бывает, рассказывают о себе, но они в основном пожилые. Как будто это что-то объясняет, высмеял я себя; как будто если ты старый, то ты никому не интересен, и как будто свободно говорить можно только то, что никому не интересно, а если ты молодой, то ты, получается, всем интересен, и именно поэтому никто не должен ничего о тебе знать. Бред полнейший.

«Вы сказали, что приходите сюда по понедельникам… А почему только по понедельникам?»

Я не ожидал, что она запомнит про понедельники, и даже сам на мгновение встал в тупик, почему только по понедельникам.

«Потому что я работаю в библиотеке, а по понедельникам у библиотек выходной».

И я рассказал ей о себе. Я уже завершал рассказ, то есть подошел вплотную к моей нынешней работе, как что-то мелодично затренькало. И я, прежде чем сообразил, откуда тренькает, подумал, к стыду своему перед Димой и Паулем Хиндемитом, что скорее уж так должна бы звучать гармония мира.

Она достала из кармана телефон.

«Да. Нет еще. Нигде. Никуда не провалилась. В сквере. Ну в сквере, в том. Нет-нет, сразу домой. Да, позвоню, — отключилась и сказала: — Свекровь».

Она вынула из кармана маленькую плоскую коробочку, потрясла ее над ладонью, взяла что-то с ладони двумя пальцами, положила в рот и разгрызла.

«Это кофейное зерно — отбить табак».

Она встала, и было видно, что ей неловко из-за свекрови или из-за зерна.

«Нам пора», — сказала она.

«Тогда до понедельника?» — сказал я и тоже встал.

Я не собирался этого говорить, я понятия не имел, откуда оно в последний момент взялось, но отметил, что ухо оно мне не резануло.

«До понедельника! — сказала она так, словно и ей ухо не резануло. — Меня зовут Елизавета, Лиза».

«Ага. — Она была совсем не похожа на Елизавету, и бог весть, зачем я сказал «ага», но гармонии это вроде бы не нарушило. — Меня зовут Гелий».

«О», — сказала она, то есть Елизавета-Лиза.

Я заметил, что люди часто ненароком повторяют друг за другом, словно друг в друга вплетаются.

Я рассказал ей, почему меня так назвали, рассказал заодно и про Юру, и Елизавета-Лиза все время улыбалась, пока слушала, а потом глянула, прищурившись, на экран телефона.

«Ну, до понедельника!» — снова сказал я.

«До понедельника!» — сказала она, помахала мне, улыбаясь, и развернула коляску.

«Да. Нет еще, не собираемся. Еще час, нет, сорок минут. В сквере. Да, да, в том. Почему раздраженная — нет… Не просыпался. Нет-нет, не буду заходить. Да, позвоню».

Лиза отключилась, но на ходу ей было трудно засунуть телефон в задний карман джинсов, и она так и сжимала его правой рукой, левой толкая коляску.

«Свекровь?»

Лиза кивнула.

«Она работает удаленно, считай, весь день дома, так что Фима фактически на ней… К Фиме она меня фактически и не подпускает. Нет, само собой, это здорово — что такая помощь круглые сутки… Мама мне говорит, что я должна на тетю Веру молиться. Тем более… — Она не смотрела на меня, а в сторону, то себе под ноги. — Вначале, ну, тогда, мы друг друга поддерживали, как могли. Когда родился Фима, она к нему вставала по ночам. Я почему-то не слышала и не просыпалась, а она — слышала. Она бы с Фимой и гуляла, если бы свекор ее не уговорил».

«А других внуков у нее нет?»

«Нет. — Тут она повернулась ко мне и сказала, улыбаясь и щурясь, словно мы изображали двух дебилов: — Я люблю Москву!»

«Москва — лучший город земли, — сказал я, усовестился и добавил: — Я серьезно».

«Не хотелось бы отсюда уезжать», — сказала Лиза опять в сторону.

«И не уезжайте. Я бы ни за какие коврижки отсюда не уехал».

Мы молчали до конца сквера, который тянется на всю улицу, за что некоторые называют его бульваром, но только не я — ненавижу отчего-то слово «бульвар», может, потому что я еще застал выражение «бульварная пресса». Дойдя до конца, мы повернули назад. Я успел все продумать — мне понадобилось не больше минуты. Я уже и не помню, когда думал с такой спринтерской скоростью.

«Видите дом восьмиэтажный? — Я показал, и Лиза кивнула. — Там я живу. Вернее, ночую. В девять ухожу и к девяти возвращаюсь. А с девяти до девяти квартира в полном вашем распоряжении. Можете приходить туда в течение дня, когда захотите, отдохнуть, почитать, с сыном побыть там. Дру-

зей туда пригласить. Чай, кофе, все там есть. Первый подъезд, квартира три. Это ключи от квартиры и от подъезда. У меня дубликат — я в свое время сделал для племянника, чтобы он мог приходить заниматься, если надо, а ему оказалось не надо, а с сентября он уже студент, и брат решил, что нечего парню иметь ключи от пустующей квартиры, ну, понимаете, и отдал их мне. Так что…»

Она должна была подхватить. Сказать «спасибо», например, — не потому, что я хотел благодарности, пусть не «спасибо», а, допустим, «здорово», просто чтобы лента не стопорилась, чтобы все текло себе гладко и легко. Я ждал, но Лиза смотрела на меня взглядом таким же надуто-бессмысленным, как у Серафима. Даже не взглядом — просто глазами. Я видел два синевато-серых кружочка. И это были напуганные кружочки. И я сам испугался. Гораздо сильнее, чем тогда с мамой, когда мы замолкли в начале разговора.

«Не хотите — не надо», — сказал я и спрятал ключи.

Все форточки в библиотеке с утра стояли нараспашку, и все равно было душно. Я вспомнил, что в лекционной комнате форточку открыть забыли, и пошел туда. Перед доской стояли мальчик лет двенадцати и молодая китаянка в очках. Я знал эту пару, они приходили дважды в неделю. Мальчик был учитель, а китаянка — ученица, он учил ее русскому языку.

«Я готовлю яичницу с сосисками», — звонко и четко произнес мальчик, елозя по доске фломастером.

Китаянка всегда молчала и сейчас только чуть-чуть кивнула, внимательно следя, как рождаются косолапые буквы.

Дорогая Виржини, я готовлю чечевицу с сосисками для себя и Димы: чечевица нам на двоих, а сосиски — ему. Дима решил было тоже стать веганом, но у него, как нарочно, когда они писали ЕГЭ, закружилась голова, учительница отвела его во врачебный кабинет и зачем-то позвонила Юре. Юра потом словесно меня отметелил — якобы это мое влияние. Так что пусть пока Дима лопает сосиски.

Я написал по-русски, но на всякий случай запросил гугл-переводчик, как по-английски «отметелить» и «лопать». Письма Виржини для меня от Вали до сих пор не было.

«Но они хоть что-то заплатят за постой? — спросил Юра. — Как-никак две недели».

Я временно снова жил у брата с племянником. В мою квартиру на две недели заселились Лизины родители, приехавшие ее навестить. В третий понедельник — после того, в который я предлагал Лизе ключи и расстались мы потом, как выражаются интеллигентные люди, натянуто, хотя, по-моему, это больше похоже на провисание, — так вот, в третий понедельник она все-таки подкатила ко мне коляску, когда я только-только начал слушать «Квартет на конец времени» Мессиана. Мы с Димой немного поцапались по поводу Хиндемита: я сказал, что это «совок», а Дима: просто это неоклассика, тогда и Шостакович «совок», а я: да, и Шостакович тоже «совок», хотя вообще-то не припомню, слушал ли я когда-нибудь Шостаковича, кроме как в фильмах.

Лиза села рядом на скамейку и поздоровалась, улыбаясь. Я понял: надо сделать вид, что ничего не было, и подумал: какая же молодец Лиза. Она очень радовалась, потому что родители с сестрой приезжали в четверг из Березников ее навестить — на целых две недели. Родители работают на одном предприятии, и начальство очень не хотело давать им отпуска в одно и то же время, но таки сжалилось. Сестре четырнадцать, и она еще не была в Москве. Я спросил, где они остановятся, и Лиза сказала, что в гостинице.

Говорят, что, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Или, во всяком случае, стараешься не наступить на те же самые грабли. Но меня словно засасывала воронка, в которой не было никакого молока и никаких грабель, в ней

вообще ничего не было, никакого прошлого, какой-то вакуум или космический ветер — не знаю, я же не физик, как Юра.

Я снова достал эти клятые ключи и сказал:

«Пусть отменят гостиницу, пока не поздно, — они же деньги еще не внесли?»

«Не внесли», — ответила Лиза как под гипнозом.

«Ну вот, пусть остановятся в моей квартире, а я поживу две недели у брата. Ничего, месяц жил, еще полмесяца поживу — ему только веселее».

«Спасибо, — сказала Лиза. — Спасибо вам огромное-преогромное».

И взяла ключи.

Чтобы не стеснять Диму, я предложил им с Юрой поменяться комнатами, и Дима перебрался в маленькую, а Юра — ко мне в большую. Теперь мы сидели втроем на кухне, и Юра задал свой вопрос о деньгах.

«Не думаю», — ответил я уклончиво, сознавая всю жалкость этого уклона, для Юры прямого, как автобан.

«Ну-ну», — сказал Юра с деланым великодушием.

Я уже давно не говорю с Юрой откровенно. Диме только стукнуло семнадцать. Маме за семьдесят. Валя в Вене, а Виржини в Париже.

Я попробовал говорить ни с кем и никуда. Для этого мне пришлось на несколько секунд зажмуриться, а потом открыть глаза и смотреть перед собой, как на таблицу в кабинете окулиста, только наоборот — чтобы все не становилось отчетливее, а размывалось.

Я сказал, Лиза должна была привести кого-нибудь в мою квартиру. Парня, которого она встретит, надеюсь, уже скоро. Чем раньше она его встретит, чем раньше выйдет за него и родит нового ребенка, тем лучше. Тогда Серафим останется у свекрови, та без него все равно не сможет и никогда его не отдаст. Он уже свекровин, и Лизе это ясно. Я понял, что ей это ясно, когда вспомнил, как она повернула ребенка лицом к деревьям. Она смотрела не на сына, а поверх него — вперед.

«А все-таки она должна была ради свекрови назвать сына в честь мужа», — сказал Юра.

Меня словно током дернуло, Юра даже отпрянул.

«Нет, нет и нет! — Я сам не ожидал, что так вспылю. — Она все правильно сделала, она сделала так, потому что любит мужа, а не память о нем! То есть любила его, пока он был жив, а чтить память — это глупо! Она хотела, чтобы все оставалось так, как было, когда они были вместе и вместе мечтали».

«Слушай, а ты ею не увлекся, этой Лизой?» — Юра нахмурился, вроде как с тревожной заботливостью, но не совсем всерьез.

«Точно, дядя Геля, ты влюблен!» — обрадовался Дима, который теперь, с тех пор как сдал вступительные в физтех, чаще радовался по делу и без дела и пытался даже подшучивать над отцом и надо мной, но пока еще получалось не смешно.

«Может быть», — сказал я автоматически.

Потом, лежа ночью на раскладушке и уже обвыкнувшись с тем, что Юрина тахта скрипит и будет скрипеть, потому что Юра во сне крутится, как девяностопятикилограммовое веретено, я взвесил это «может быть». Да, может быть, и влюбился, ну и что, ну и пускай. «Пускай»… Хорошо говорить, пока нас отделяют друг от друга девять станций метро, а когда я вернусь к себе, отделять будут только шесть дней недели. Чепуха какая-то, бред, мне почти полтинник — и лысина; правда, видно ее только в зеркале, но какая разница, где ее видно, если я о ней знаю.

За скрипом я не расслышал, как приотворилась дверь.

«Не спишь?» — прошептал Дима тем пронзительным шепотом, какой бывает только в юности.

«Спит», — отозвался я не шепотом, а просто тихо.

«Я не к папе, я к тебе…»

Я махнул ему рукой входить. Дима прокрался мимо крутящегося отца и

сел на корточки у раскладушки.

«На, послушай это».

Я взял у него наушник и вставил в ухо.

Дорогая Виржини, ты слушала когда-нибудь Большую фугу Бетховена в переложении для симфонического оркестра? Запись, где дирижирует Фуртвенглер? Когда эту фугу играют на фортепиано, оно еще куда ни шло, но в оркестровом исполнении это словно из тебя сердце выдирают какими-то крючками. А эти крючки слабые, и тот, кто выдирает, сам умирает. Вы с ним оба умираете. И это длится почти полчаса, и тебе кажется, что ты не переживешь, вернее, так и не умрешь никогда. Но это все ты сам, ты сам эти крючки. И сама, конечно, — чтобы ты не думала, будто я исключаю женщин. Вот идиот: на английском же нет мужчин и женщин, когда говоришь о себе. Все эти письма, дорогая Виржини, я сначала написал по-русски, потому что не думал отсылать. Я и не отослал их до сих пор, потому что от Вали до сих пор не пришло твое письмо.

В воскресенье Лизины родители и сестра съехали. Ключи они, по договоренности, оставили соседям, и я забрал ключи у соседей и положил в карман, где уже лежали такие же, ощущая это как некоторую глупость.

В понедельник я не пошел в сквер. Я поехал до станции метро «Ботанический сад», где живут родители, и вышел прямо в парк под названием «Сад будущего». Ничего от будущего в нем нет — обычный, с запасом, как сейчас принято, благоустроенный небольшой парк. Я сел на современную удобную скамейку и вынул телефон.

«Алло, мам, привет!»

«Привет!» — сказала мама, словно повторила за мной эхом, и это не звучало, но было совершенно искренне.

«Что делаешь?» — спросил я и подумал, что мы с мамой как будто мальчик и девочка из одного класса или одного дома.

«Ничего», — ответила мама живо, как девочка.

«Тогда, может, спустишься? Погода отличная — погуляем в парке, — и спохватился: — Я уже здесь, в Саду будущего»

«Ой-ой, я сейчас! Только соберусь!»

«Не спеши, — сказал я. — Будущее никуда не денется».

«Мне семьдесят два», — сказала мама и засмеялась.

«Ну, тогда настоящее никуда не денется».

Я не знал, сколько маме нужно времени на сборы в июле, поэтому вставил наушники и запустил с начала «Квартет на конец времени» Мессиана, заранее смирившись, что и теперь его не дослушаю. Я подумал о том, что Мессиан наверняка был умный человек, а те, кто назвал парк Садом будущего, вряд ли были люди умные, но что-то их уравнивает. Наверное, то, что будущее уже прошло, и конец времени давно кончился.

Мне удалось на сей раз дослушать до середины, а потом мама все-таки появилась. Но я решил, что в следующий раз не буду отматывать назад и продолжу там, где остановился.

Ольга Фадеева

Милостью озноба

***

Не знает шиповник, и птица не знает,
в какие пределы подчас увлекает
движение к цели под куполом ночи
того, кто — не чаял, и тех, кто — охочи…

пока не забрезжит сквозь жребий исхода
восток небосвода.
Восторг небосвода!

***

В жаркий полдень, забыв обо всём,
в облаках беспризорно-обманных
обнаружишь случайный проём
безымянный…
и пока происходит в тебе
незнакомая эта работа:
перезвоны и зов — на трубе —
со щемящей неузнанной ноты,
втихомолку в ладони дыша —
пьян от запаха липы цветущей, —
ветер чью-то мятежную душу
оставляет почти без гроша.

***

Под вечер — дерево ко мне…
ещё вчера мы — наравне…
ветвей живое устремленье
нечаянно открылось мне —

Ольга Фадеева — родилась в Грозном, окончила географический факультет Казанского государственного университета. Печаталась в журналах «Урал» и «Дети Ра». Автор книг «Камень, трава, песок», «Встречный свет» и «Не знает шиповник…». Живёт в Екатеринбурге.

тянуться к свету — вот его,
выходит, верная забота —
всего одна. Одна всего.
И грустно стало отчего-то.

***

Это ветер.
А кто, если всё же не ветер,
воркованием света
сквозь лапы сосны нас приветит?
И на лицах,
на лицах тотчас отразится
то, что в нас — потаённое —
к свету всечасно стремится.

***

Задремлет под щекой ладонь —
сухие русла рек, долины,
холмы — и, с ними воедино, —
воспоминанья только тронь —
в который раз почует глина
к ней обращённый зов глубинный
и вдохновения огонь.

***

Меж струями дождей
пройти благоволеньем.
Воистину грешно
им в шутку пренебречь.
Неведомых путей
провидческое зренье
взрастить в себе — равно
к истоку вспять притечь.

***

Стылый камень, стылый камень,
вдоль тропинки под уклон,
чьими тёплыми руками
ты сегодня обделён?
Ни перильца — ухватиться, —
ни зазора — устоять…
взором к небу прилепиться,
чтоб по склону вверх шагать.

***

Милостью озноба
чувствовать звезду,
спящего сугроба
правоту —
в темечко мгновенью —
вечности посыл, —
где окна свеченье —
призрачный твой тыл.

***

Ловишь створки окна, усмиряя азарт занавески,
меж ударами молний, отсечь помышляя грозу.
Но расклад в этом споре тебе до конца неизвестен —
ветер пряди волос и воды разметал по лицу.
Не о стойкости — ты. Не о стойкости, не о возмездье —
о спасенье. Спасенье от вечных невзгод…
где алмазной застёжкой под утро скрепили созвездья
разорвавшийся напрочь по старому шву небосвод.

***

Как жаль, что не об этом учебники твердят, —
с Землёй роднится небо, и дрожь летит до пят.
И снова даль, где небо братается с землёй…
уверенностью в этом от бед меня укрой.

***

— Вот чада мои, — Господи, ты скажешь.
— Стремились в высь и, даже не взлетев,
расслышали в самозабвенной блажи
души своей нетронутый напев.
Так кончиками пальцев по улитке,
к тоскующему уху обратясь,
читают душ берестяные свитки,
таинственную прозревая вязь.

***

Больно улица широка —
по такой веселее — скопом.
Я замалчиваю Тебя,
чтобы не было одиноко.
Ведь на бровке истёртых троп,
где — бывает — не ждёшь пощады,
я следы от незримых стоп
замечала с собою рядом.

Александра Поденок

Три рассказа

Бархатцы, или Как я подросла на пять с половиной сантиметров

Справа и слева от подъезда раскинулись клумбы с узором ярких бархатцев. Ими занималась соседка со второго этажа — баба Маша. Боевая сухая старушка смысл жизни нашла в созидании. И никто не смел встать у нее на пути. Все знали — несдобровать.

Помимо собственной дачи, до которой от дома добираться без малого сорок минут на электричке, и двух клумб у подъезда баба Маша ухаживала еще и за всеми дворовыми котами. Собак она не любила, бывало, что и палкой погонит.

В общем, на этом энергичном моторе созидания она и держалась: то в каждой руке по сумке овощей прет с дачи, то клумбы перекапывает.

На нас же — беззаботных дворовых детей — она кричала из раскрытого окна второго этажа чуть ли не матом: «А ну пошли вон, гаденыши! Все цветы мне потопчете!»

Боялись мы ее страшно. Но что поделать, если мячик залетал именно в середину подохранной клумбы. Осторожно, пытаясь не наступить на высаженные по периметру бархатцы, мы крались за мячом. Быстро бросали взгляд на ее окно, и, словно по звуку сигнализации, она заставала нас за нарушением неприкосновенности границ. И тут уж ее сухой, скрипучий голос разносился на весь двор. Таков был закон двора: мы играли в мяч, а баба Маша — в охранника.

Лето напекало макушки. Я и соседка Танька Трощина сидели на деревянной перекладине — ограждении клумбы. Болтали ногами, болтали о школе, и как здорово, что возвращаться туда еще не скоро. Впереди целая летняя вечность. В конце учебного года на соревнованиях пятых классов Танька заняла первое место по бегу. Неудивительно. Она была на полторы головы выше меня, и ноги у нее были длиннее. Я завидовала ей и длине ее ног. Оторвав взгляд от длинных и ужасно бледных ног соседки, я подняла голову и посмотрела на липу.

— Мы вчера с мамой с этой липы цветы рвали. Я залезла на самую верхнюю ступеньку стремянки и достала аж вон до тех веток, — показываю на верхушку дерева.

Александра Поденок — родилась в Брянске. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «маркетинг и PR». В 2023 году окончила Высшие литературные курсы в Литературном институте им. А.М. Горького (мастерская Е.А. Попова) и курс «Детская литература» в школе Band. Публиковалась в журнале «Алтай», сборнике «Весна Анфисы». Финалист конкурса «Современный российский рассказ» от портала «Печорин.нет» и «Роман-газеты». Автор и ведущая литературного подкаста о поэтах Серебряного века «Племя Обормотов». Живет в Москве.

— А зачем? — удивляется Таня.

— Ничего ты не знаешь! В чай. Зимой в гости придешь и поймешь!

— А я люблю есть липовые листики, — вставила Танька. И внезапно переменила тему: — Знаешь, а ко мне вчера вечером опять этот Ванька-дурак приставал. Говорит: «Пойдем в кусты, я кое-что тебе покажу». А я-то знаю, что он там показывать будет. Убежала от него, он не догнал.

— Конечно, ты ж самая быстрая — это все знают. Гляди-ка, легок на помине, вон идет.

От соседнего подъезда, припадая на левую ногу, шел Ванька-дурак. Шел к нам — больше идти было не к кому. В такую жару никто нос не показывал во двор, все носы были уставлены в телевизор.

Ванька-дурак заикался и косил глазами с самого детства. Взрослые шептались, что у него слабоумие или какая-то другая форма отсталости. Дети двора прозвали его «даун», это, конечно, очень обидно прозвище. В период нашего с Ванькой перемирия мы убедили всех называть его просто «дурак». А перемирие случилось так.

Возвращаясь из школы, я по привычке проверила почтовый ящик и обнаружила там «письмо» — сложенный двойной лист из самой середины тетрадки. Размашистый почерк гласил: «Предлагаю перемирие! Ваня. P.S. Я слышал, у тебя есть монеты из Англии. Дай посмотреть». Письмо было кратким и неточным. Монетки из Лондона привезла Тане ее тетя, живущая в Москве. Она много путешествовала и была местной знаменитостью — давно никто не уезжал в столицу из нашего городка. Когда тетя приезжала навестить семью, весь двор приходил посмотреть, в какую фифу та превратилась. Мы с Танькой фифой ее вовсе не считали — она дарила классные подарки. И в последний приезд привезла монеты из Англии, которыми и заинтересовался «дурак».

На совете с Таней было решено, что заключить перемирие — всем на руку, пусть и будет стоить нескольких монет.

Всю весну мы жили мирно. Ванька оказался интересным собеседником, когда привыкаешь к его заиканию. В голове у него гудела словно целая энциклопедия, а уж о монетах он мог рассказывать часами. Ванька даже показал нам свою небольшую, но для него очень ценную коллекцию.

— Спасибо, девочки, что пришли! Я позвала всех детей со двора, но пришли только вы. А он ведь так хочет дружить, — заламывает с порога руки мать Ваньки. У Ваньки сегодня день рождения — четырнадцать. Из гостей — только мы с Таней.

— П-пошли в мою комнату, я тебе п-покажу монету из Германии. Мне ее военный п-п-подарил. — Ванька, не здороваясь, хватает меня за руку и тащит в глубь квартиры. Оглядываюсь на Таньку — та развязывает длинные шнурки, обмотанные вокруг щиколоток на манер римских сандалий. Очередной подарок тети — писк московской моды.

В Ванькиной комнате очень чисто. Все разложено по полкам, всюду книги и журналы сложены аккуратными стопочками. Ванька двумя руками устанавливает меня в центре комнаты (будто я какая-то елка на Новый год) и велит ждать. Припадая на ногу, спешит к окну, роется, роняет коробку. Не успеваю опомниться, как он гордо идет ко мне с вытянутой рукой. На ней — монетка. Та самая, немецкая, от военного. Ванька бережно перекладывает драгоценность в мою ладонь.

— Это тебе. П-п-подарок.

— Зачем? — не успеваю спросить, как он резко наклоняется и рывком целует меня куда-то в верхнюю губу. Его зубы больно ударяются о мои. Я отшатываюсь, бегу в коридор, где Танька наконец-то расшнуровала свою модную обувь. Хватаю ее за руку, на лету вскакиваю в шлепки, и мы выбегаем из квартиры. За Танькой по ступенькам волочатся длинные шнурки.

— И что? Вот прям поцеловал? — Мы сидим на лестничной клетке четвертого этажа дома напротив — тут отличный обзор.

— Ну вроде того…

— Фу-у-у-у, — протягивает Танька. Лицо у нее кислое.

— Фу-у-у-у, — протягиваю я. Лицо у меня еще кислее.

— И это был твой первый поцелуй, получается? — вопит Танька.

— Получается, — плачу я. — Это все из-за твоих туфель, при тебе он бы не полез.

Перемирие закончилось сразу после инцидента. Ванька снова пугал нас, выскакивая из кустов.

В этот раз у него в руке была большая палка, измазанная чем-то черным.

— Как вам т-т-такое понравится? М-м-мазут! — Ванька с гордостью помахал орудием устрашения у нас перед носами.

— Аккуратнее, испачкаешь новую футболку! — закричала Таня, стразы на ее футболке складывали слово Love — такой сияющей вещи ни у кого в городке не было.

— Значит, тебе нужно т-т-туда м-м-мазута, — Ванька ткнул в футболку палкой. Таня отклонилась и свалилась в клумбу. Прямо в оранжевые бархатцы.

— Куда?! Прямо в мои цветы! — вырвался скрип со второго этажа.

— Она же теперь вся оранжевая! — вырвался Танин стон с земли.

— Тебе конец! — вырвался рык у меня.

Я подскочила к Ваньке, толкнула, и он упал на асфальт.

— Я все расскажу мма-мма-маме, — зарыдал Ванька, как маленький, и побежал, припадая на короткую ногу, домой.

— Беги жалуйся, маменькин сынок, — крикнула я в спину обидчику и полезла выуживать Таньку из клумбы под вопли бабы Маши.

Этим вечером мы с мамой смотрели телевизор. Вдруг раздался звонок в дверь. Мы переглянулись — гостей в такое позднее время никто не ждал. Мама пошла открывать.

— Как она посмела обидеть моего мальчика? — донесся крик из коридора.

Живот скрутило от волнения — я сразу поняла, что пришли по мою душу. Спряталась за дверью в прихожую и подслушивала.

— Ваша дочь — хулиганка и гнида! Она избила моего сына!

— Ну что вы, как можно, это совсем на нее непохоже, — тихо оправдывалась мама.

— Я требую, чтобы ее наказали. Из нее вырастет преступница и воровка. Она уже настоящая дрянь!

Такого я не могла стерпеть — выскочила из укрытия, отодвинула маму в сторону и начала защищаться:

— Да ваш сын, он же постоянно к нам пристает! Он всем девчонкам предлагает в кусты пойти. А там штаны снимает!

Я привстала на цыпочки, чтобы казаться выше и сильнее: «Ну почему я такая низкая?! Вот же не повезло с ростом, не то что Танька».

— Не ври мне! — сверху вниз кричала чужая мать.

— Он к нам первый пришел с палкой в мазуте.

— Неправда!

— А давайте спросим у бабы Маши, она все видела! — Я шагнула вперед, осмелевшая от такой отличной идеи. Мать Вани растерялась и отшатнулась. Я вышла на лестничную клетку и указала на коричневую дверь.

— Вот ее квартира, третья, давайте у нее спросим, — позвонила в дверь. — Баба Маша, здравствуйте. Скажите, вы видели, как Ваня к нам с палкой пристал и Таня в клумбу свалилась?

— Видела! Все цветы мне помяли! А он палкой махает, глядишь, кому глаз-то и выколет.

Я ликовала — справедливость восторжествовала. И я торжествовала вместе с ней. Я чувствовала себя в этот момент выше, старше и важнее. Я отомстила ему за все. Особенно за испорченный первый поцелуй, ну и немного за Танькину футболку.

Через неделю меня отправили в деревню к бабушке на все лето. Я быстро забыла о Ваньке, Ваниной маме и бабе Маше. У меня появились новые друзья и новые враги. А еще я подросла на целых пять с половиной сантиметров.

Вернувшись накануне первого сентября, во дворе я встретила Таню Трощину. Мы снова сидели на перекладине у клумбы в тени липы. Баба Маша следила за нами со второго этажа.

— А ты знаешь, что Ванька-дурак умер?

— Да ладно? А от чего?

— Ну, он и правда болен был.

— Ну вот. Теперь тебе никто не вернет те английские монетки.

Мы молча болтали длинными ногами. Бархатцы почти отцвели.

Моцарт

«Уважаемые пассажиры, стойте справа, проходите слева. Не задерживайте движение. Детей держите за руки или на руках!» — не глядя на эскалатор, машинально произнес в микрофон Женя. Спешащие пассажиры не обращали внимания на человека в стеклянной будке.

Было время, когда Женя с любопытством разглядывал людей. Особенно в первый месяц работы. В городе потеплело, и люди, скинув утомившую верхнюю одежду и хмурые маски, преображались. Но весенние девушки, чей взгляд Женя пытался поймать, все так же смотрели сквозь него. Суровые мужчины делали вид, что их ничего не касается, смотрели в телефоны или под ноги. Женя чувствовал себя сильнее них — в форме, облеченный небольшой, но властью. Вскоре все эти лица слились в единый организм. И этим организмом управлял он — Женя — в своей стеклянной будке. Людской поток сливался в широкую реку и тонким ручейком просачивался на эскалатор. Он повиновался известным законам: стойте справа, проходите слева.

Тем вечером, как обычно, Женя устремил на пассажиров стеклянный взгляд из стеклянной будки. Нет, он не спал. Но и не бодрствовал. Стук в дверь заставил его подскочить на месте. «Да, б…, — выругался он и уже громко, не поворачиваясь: — Дежурный справок не дает». Снова стук. «Ну что там?» — повернулся.

— Это вам! — прямо перед глазами качнулась гроздь сирени. А за ней улыбающаяся девушка. Женя оглянулся по сторонам. «Мне?» — «Да, да, вам!» — светлые локоны кивнули. Женя недоверчиво приоткрыл дверь, девушка весело протянула цветы, аромат мая залил стеклянную будку. Развернулась и легко вбежала на эскалатор. Тонкая, в летящей длинной юбке и красном свитере крупной вязки. На худых ногах красные кеды. Из холла долетали звуки красивой мелодии. Девушка, изящно подняв белую руку, рисовала в воздухе волны, изображая песню скрипки. Часы моргнули 23:30. Женя следил взглядом за легкой фигурой. «На эскалаторе нельзя танцевать», — хотел произнести в микрофон. Но не смог нажать на кнопку громкоговорителя — так и следил завороженно за ускользающим вверх танцем девушки.

— Что за Моцарт там наяривает? — Женя взглянул на экраны — наверху, в холле, одиноко стоял скрипач. «Кто ж тебе в такое время денег даст, дурак».

Ночью Жене плохо спалось. Все слышались звуки скрипки и развевалась перед глазами длинная юбка. В квартире пахло сиренью.

На следующий день Женя внимательно следил за пассажирами из своего стеклянного укрытия. Ждал. «Неужели она не здесь живет? Может быть,

она не домой ехала, а в гости. Или я ее пропустил, не заметил. Да нет, я бы заметил...»

Она возникла в 22:15. В руках держала книгу и, не глядя под ноги, шагнула на эскалатор.

— Аккуратнее! — Женя подскочил. Она читала. «Что это за книжка такая, что она даже по сторонам не смотрит? А какую в последний раз я сам читал? Ну, это в школе было. А, нет, в армии заставляли устав учить. Среди ночи будили — проверяли. Ушла...» — Женя не заметил, что всю смену просидел с мечтательной улыбкой.

Сегодня Женя не выспался — поставили утреннюю смену. «Ну, ничего, на посту подрыхну». Приладившись поудобнее в будке, задремал.

— Женек, ты чё спишь на посту?! — в дверь стучали кулачища. Женя подскочил.

— Понимаю, работа тяжелая, ха-ха-ха.

— Толя-ян, какими судьбами?

— Да вот на обход отправили, сюда, на «Сухаревскую». Думаю, а проведаю сослуживца. А ты тут храпака даешь, — рассмеялся Толян.

— Да не выспался.

— Что, ночка горячая была?

— Да какая горячая — только работа днями и ночами.

— И что, никакой личной жизни?

— Никакой. Хотя... Есть тут одна.

— Хорошенькая?

— Неземная.

— Неземная, ха-ха-ха. Ты что, в поэты подался? Стихи еще сочини — мы с пацанами поржем!

«Тьфу ты, «неземная», и что я в самом деле», — осекся Женя.

— Пошли на обед?

— Пошли! Сейчас только подмену вызову.

Вечерних смен до конца недели Жене не назначали. Он не видел ее. Точнее, видел — во сне. Злился. «Что я как сосунок, подумаешь, деваха. Таких мимо тысячи ходят». Но все равно каждый день вглядывался в лица пассажиров. Не мелькнет ли где светлый локон.

«Наконец-то вечерняя смена», — Женя занял место на посту. Сегодня он тщательно выгладил форму, внимательно расчесался и даже попытался сотворить что-то модное со своей стрижкой. Стригся он последний год в одной и той же парикмахерской у метро за триста рублей. Девушка появилась в 23:40. Те же красные кеды, желтые большие наушники. Она изящно постукивала рукой по поручню, пальцы взлетали словно маленькие птицы.

«Точно здесь где-то живет. Но что же она так поздно возвращается. Небезопасно это». Жене захотелось ее догнать.

Женя встал с кресла, повернулся: «Да, б…». На него по-рыбьи смотрели мутные глаза:

— Брати-и-ишка, скажи, как на «Кольцевую» попасть? Такое сложное это… метро.

— Дежурный справок не дает! Иди на хрен отсюда, — Женя оглянулся на эскалатор. Красные кеды пропали из виду.

«Тьфу ты. Значит, точно завтра!»

Завтра Женя изменил маршрут до работы. Он несмело зашел в цветочный магазин рядом с парикмахерской и сразу же растерялся. Тут было холодно и дорого. Переминаясь с ноги на ногу, он переводил взгляд с роз на тюльпаны и не мог выбрать. Названия иных цветов он читал впервые в жиз-

ни. Вспомнил, что на юбилей матери покупал большой букет белых роз, ей понравилось.

— Можно одну вот такую?

На панели управления лежала белая роза. Женя иногда поглаживал нежные лепестки. «А красиво». Какое-то странное чувство теплоты и волнения рождалось в нем при взгляде на цветок. Женя улыбался пассажирам, и они улыбались ему в ответ. «Не такие уж они и злые, эти люди в метро».

Она появилась. Легкое платье, желтые наушники, туфельки на небольшом каблучке. Изящно вскочила на ступеньку эскалатора. Женя поднялся, выдохнул, взял цветок и открыл дверь будки.

— Простите, — мимо Жени, задев плечом, пробежал юноша. Что-то показалось знакомым в облике этого нахала. На спине футляр со скрипкой. Женя увидел, как скрипач догнал девушку в желтых наушниках и крепко обнял. Она улыбнулась и положила голову ему на плечо.

— Моцарт, б…, — Женя узнал ночного музыканта. С досады бросил розу под ноги.

Белый бутон беспомощно бился о ступеньки эскалатора, пока его не затоптали спешащие пассажиры.

Нормальный

Сегодня стакан водки нашелся у М.М. Вдовина (1956–2019). «Ну что, Михалыч, жена приходила. Смотри, вон и хлебушка оставила. Отпустил бы ты ее, хорошая же баба пропадает. А все ходит к тебе, ходит. Ну-с», — Игоряша присел на лавочку у могилы, взял стакан и, приподняв в воздухе, не чокаясь, опрокинул внутрь.

— Ух! — крякнул Игоряша. По телу разлилось горячее спиртовое благолепие. Похмелье отступило, и голова прояснилась. Стало веселее. Игоряша залюбовался резной листвой березы на фоне синего неба, «скоро такой синевы не будет, все затянет дымом с завода». Когда-то Игоряша сам работал на том самом заводе, но пришло новое начальство из Москвы и сократило его. Он был не в обиде. Он был понимающим человеком.

Новую работу найти не удалось, так и перебивался случайными подработками. Но все чаще в его руках стал проскакивать не инструмент, а бутылка.

Не то чтобы был старый — всего-то сорок восемь, однако образ жизни Игоряши не давал природному здоровью взять верх над бытовым алкоголизмом. Точнее, алкоголизмом кладбищенским. Здесь Игоряша появлялся с завидной регулярностью, задумчиво прогуливался между могил, здоровался с навещающими покойников, в общем, вел себя почти по-домашнему.

От созерцания весенней красоты его отвлекли звуки подъезжающих автомобилей.

— О, свежачок привезли, — вслух заметил Игоряша, — пойду погляжу, что у тебя, Михалыч, за новые соседи.

Колонна машин, провожающих покойника, была длинной и состояла в основном из черных иномарок. «Видать, какую-то шишку хоронят», — подумал Игоряша. Крадучись, он подошел к скоплению людей в костюмах. Выбрал самого просто одетого, дернул за рукав и спросил:

— Друг, а кого хоронят-то?

— Боброва.

— А что, он начальник какой?

— Начальник! Это ж мэр нашего города семь лет как, — поморщившись, сообщил он.

— Да? — удивился Игоряша. Крутя в голове фамилию Боброва, он вдруг вспомнил некогда виденный рекламный щит «Бобров — наш мэр!» и улыбающееся лицо мужика с массивным носом картошкой и внушительными залысинами.

— А и правда вспомнил. А это он-то наш завод москвичам продал?

— Ну как продал, — замялся собеседник. — Это инвестиции в город, вливания из столицы, понимаете?

— Как не понять, понимаю, конечно. Правда, меня и мужиков моих оттуда всех погнали. Москвичи какие-то машины установили новые, зарубежные. И мы не нужны стали.

— Ну, тут уже не наша вотчина, вопросы к новым управляющим.

— А от чего помер-то? — кивнув в сторону могилы, спросил Игоряша.

— Цирроз печени. — Помолчав, мужчина с одобрением добавил: — Выпить очень любил.

— А! Ну тогда, значит, наш мужик. Нормальный.

Через неделю Игоряша опять наведался на кладбище. У мэра было пусто. Стакан водки снова нашелся у М.М. Вдовина (1956–2019).

Павел Проскуряков

Советские сказки

Про колдунов

Бабушка Агния знала заговоры:
«Круг её ходи три раза
и читай:
сине море не колыхается, земля-матушка не шевелится.
Чтобы у раба божья коровушка-бурёнушка
стояла не шевелилася,
не колыхалася.»

Умела печмень зачертить:
«Как этот сучочек
сохнет-посыхает,
чазнет-исчезает,
так, чтобы у раба божья
чирей, веред, камчук
сох-посыхал,
чаз-исчезал.
Чтобы не было
век по веку,
отныне до веку.
Аминь!»
И я умею печмень заговаривать:
надо полушёпотом
те же слова читать.
Взять бабушкин ржавый нож
без ручки (им бабушка вшей
и гнид в волосах давила),
чертить им крест-накрест
у самого глазного яблока.
Найти в половице сучок
и водить «круг его, по солнышку» указательным пальцем,
а потом и вокруг нарыва на глазу. Ткнуть кукиш три раза в глаз

Павел Проскуряков — родился в д. Ежова Свердловской области. Окончил Свердловский юридический институт. Юрист, нотариус. Автор поэтических книг «Хрустальная трава», «Глиняный человек», «Полынь» и др. Стихи публиковались в журнале «Урал», в коллективных сборниках. Живёт и работает в Екатеринбурге.

и три раза плюнуть в него.
На утро всё пройдёт!
А ещё умела делать отворот:
«ежели муж к Тамарке зачал ходить»,
возьми у его жены
в глиняном горшке
«мужнину мочу»,
брось туда иголки и булавки
и читай шёпотом отворотный заговор.
Горшок запечатай
и дай жене —
пусть закопает в подпол.
И скажет мужу:
— Я тебе сделала!
Больше «у его с Тамаркой» получаться ничего не станет.
Пусть даже жену он и побьёт.

Но отворотный заговор
бабушка мне так и не сказала.

Про снег

Раньше,
когда я был подростком,
каждый год было много снегу —
по шею.
Помню,
по стайке забрался на крышу бани, сложил руки по стойке смирно,
сверзился в сугроб
и застрял в снегу.
Долго-долго раскачивался
из стороны в сторону,
как-то выпростал одну руку, кое-как вторую
и всё-таки выбрался.
Чуть не замёрз.
И никто б меня за баней
не услышал и не нашёл.
А помогли мне вачеги,
которые папка с завода принёс.

Про любовь

После института
на полтора года
призвали в армию.
Провожала меня соседка.
Оказывается, она давно
была в меня влюблена.
Всё в ней мне нравилось
и отзывалось.
Случайно зашёл отец,
и только потому не дошло до самого главного.
Я написал ей письмо.

Она ответила:
«Здравствуй, Паша. Напиши, правда ли,
что Алла Пугачёва повесилась.
До свидания, Таня».

Про предков

Прадед Всеволод
был тогда ещё жив,
и жива прабабушка Анна.
Предки их, из крепостных,
по фамилии Образцовы
жили в Черноисточинске
и выучились во Франции
на инженеров.
Строили мосты.
Зато с другой стороны
предки были самые простые,
деревенские.
Тётя Дуня говорила:
гумага, гамно, куфайка.

Цвет

Джинсы «Levi's»
асфальт подметают,
сумка синяя с хлебом.
Синий так легко выцветает
и становится небом.

Дерева солнечный цвет,
цвет самый лучший,
телесный.
Сяду, прилажусь спиной, станет делиться со мной
тёс теплотою небесной.

Потеплело.
Ягоды с рябин поотпадали, поораньжевел под ними снег.
Рыжий цвет ручьёв,
и луж,
и рек.

***

Мама стонала, стонала.
Вдруг стонать перестала.
Я подошёл,
а она — мёртвая.
Смерть наступает незаметно.

***

Всё стареет,
кроме слов.

Кораблик

Бьют волны в берег без оглядки.
А в море розовый кораблик.
Стою и жду на берегу,
весь мокрый,
в водорослях пятки.
Сейчас заплачу, не могу…
Но слёзы не текут,
озябли.

Никита Орлов

Слово о московском дворе

Повесть

«Овощи-Фрукты» и улыбающиеся львы

С начала и почти до самого конца шестидесятых мы проживали в умеренно центральном районе.

— Умеренно центральный? Что вы, собственно, имеете в виду?

Ну как что: всё к чему-то относится, и всегда есть точка отсчёта, ещё Эйнштейн заметил[1]. Так вот, относительно нашего последующего места жительства, которое в своём кругу мы называли Ближним Медведковым, место нашего тогдашнего обитания можно, пожалуй, охарактеризовать как центр.

— Гражданочка, не подскажете, где Сретенка? Это где-то здесь или ближе к центру?

— Ну да. А вообще-то Сретенка это центр.

Так и есть: Сретенка и Сухаревская площадь, они в центре, скажет всякий — и будет прав. Только понимаете ли, какое дело, старые москвичи так не считали. Всё, что за Садовым кольцом, считалось окраиной. По-видимому, раньше полагали, что там обитали исключительно волки, медведи и какие-нибудь ежи с ужами, а москвичи все, за исключением совсем одичавших, жили внутри — а где ещё селиться добропорядочным людям? Впрочем, много раньше медведи и всякие прочие голодранцы, вероятно, обитали где-то в полях, лесах и на болотах, за крепостной стеной, а москвичи опять-таки жили исключительно внутри — так спокойнее. Теперь же непосредственно вне стен Кремля у нас Красная площадь, и там в своём мавзолее обитает В.И. Ленин, а кроме него постоянно там никто не живёт.

А мы? Мы обитали на бывшей Первой Мещанской — в самом начале проспекта Мира. Конечно, к нашему времени Первой Мещанской уже не было. С проспекта Мира заход в наш двор был между двумя домами. Слева было приятное одноэтажное строение с прозаическим названием «Овощи-Фрукты». Ребёнком я посещал его достаточно регулярно — с родителями, конечно. Каждый визит меня чем-то радовал: я познавал виноград, бананы, сухофрукты, орехи и прочее.

Никита Орлов — москвич. Окончил МГУ им. М. Ломоносова, трудился там же. Кандидат ф.-м. наук. С 2003 г. проживает в г. Балтиморе, США. Работал в Национальном Институте Здоровья и в частных научных компаниях. Писал отчёты и академические статьи, публиковался в научных изданиях, но ощущал потребность поделиться с читателями мыслями о других материях. В журнале «Урал» печатается впервые.

[1] Точку отсчёта открыл не только Эйнштейн: многие, включая Леонардо да Винчи и древнегреческих инженеров, строивших Пантеон и Акрополь; архитекторов египетских пирамид — и всяких прочих, как известных нам, так и неизвестных, — все они тоже использовали это понятие. Сам я за справедливость. Разумеется, это никак не умаляет заслуг родителя Теории относительности.

— Изюм-то был тогда, поди, с косточками?

Ну конечно. Только кому тогда приходило в голову, что бывает подругому? Мне вот нет. Овощи там тоже водились, причём чистые и милые, в отличие от грязноватых и гниловатых, к которым пришлось, волею судеб, привыкать после постигшей нас эмиграции из умеренно центрального рая. Я полюбил этот домик всем сердцем; да впрочем, не только я — большинство из тех, кто когда-либо вкушал его даров. Время от времени к «Овощам-Фруктам» пристраивалась целая очередь поклонников.

Второй же дом был исторического значения, как и многие здания в этом районе. Историческое значение заключалось в том, что в нём, верите ли, когда-то печаталась газета «Искра».

— Что, та самая?

Да, да! По крайней мере, так мне тогда рассказали. Та самая, из которой возгорелось пламя; и далее всё пошло — куда, сами знаете. Дом был жёлтого цвета, у него были белые плоские фальшивые колонны с желобками, наверху колонн были помещены белые же головы львов. Когда я был моложе, у нас с мамой происходили дискуссии насчёт выражения львиных лиц. Мама, к примеру, настаивала, что львы улыбаются и даже смеются, особенно в солнечную погоду. Когда же шёл дождь, львы тоже могли улыбаться, почему нет; но мы проскакивали мимо львов впопыхах, без остановок и обсуждений улыбок. Будь львы подогадливее, они бы сообразили, что в дождливые дни им можно не беспокоиться. Улыбки львов вполне могли быть игрой маминого воображения; у меня же на этот счёт ярко выраженного собственного мнения не было — ну вот не было. Я скорее был склонен соглашаться — особенно если приятный человек и мне улыбается. Желательно не как лев над колоннами здания. Мама была на удивление приятным человеком — и вообще она была мама.

После львов дорога постепенно забирала в гору — в глубь вытянутого двора. Слева было кирпичное инженерное сооружение с остеклением, напоминающим верандное: котельная — окрестные дома отапливались ею. Использовался уголь. Котельную я посещал иногда, по настроению. Инспектировал состояние котлов, общался с инженерным и техническим персоналом — в основном на производственные темы; бытовые вопросы не затрагивались. Ко мне, кстати, там относились хорошо; пару раз мне доставалась ириска. Ириски я брал. Мама о моих посещениях котельной не догадывалась.

За котельной по правую сторону от дороги открывалась уже наша часть двора: два больших двухэтажных бревенчатых дома со стенами, темными от времени. Рядом скромный одноэтажный домишко для дворника, в нём жила татарка-дворничиха с детьми. Я дружил с младшим мальчиком. Дворничиха каждую неделю делала ему стрижку полубокс, от которой его волосы топорщились. А ещё у него водились жареные тестовые шарики, и он неделями носил их в карманах. Шарики были на редкость заманчивы, я заглядывался на них. Как-то раз один такой шарик дворничиха мне подарила; я не мог поверить своему счастью. Я показал его маме — не в целях хвастовства; просто поделиться восхищением. Мама отчего-то не восхитилась и категорически запретила шарик есть. Вечером его у меня незаметно изъяли. Так же, как мой юный татарский друг, я держал его в кармане куртки. Шарик, полагаю, выкинули. Впрочем, не уверен — вполне могли и сменять на что-то, почему нет.

Летом и весной двор производил благоприятное впечатление; было довольно зелено. Между двумя домами помещался миниатюрный сад, где росли яблоньки-китайки. Как волшебно они цвели в мае! Они преображали весь двор, и он тоже почти что цвёл вместе с карликовыми яблонями. Тому, кто входил во двор впервые, было куда кинуть глаз — или даже взор. За деревцами всё лето присматривали какие-то старушки: ругались, когда дети срывали маленькие, размером с вишню, жёлтые яблочки. Есть их ни в коем

случае не полагалось, из яблок варили варенье — кто умел. Мама не умела и потому не варила. Но меня один раз угощали соседи из нижней квартиры. Яблочки-китайки перед варкой не чистили: слишком малы. Поэтому надо было всё время плеваться.

Из врождённой деликатности я плевал косточки в свой кулак. Потом всё выбросил на траву и вытер руки о рубашку на животе. А для верности ещё и о штаны.

Доходные дома: купцы и клопы

Два бревенчатых дома в нашем дворе до революции были доходными. По слухам, в них останавливались купцы, прибывавшие на Сухаревский рынок. А кому приглянулось в нашем дворе и вообще в златоглавой, те оставались погостить подольше. В Москве есть чем поразвлечься — и в церкву пойти, и в трактир хороший; на тройке проехаться с бубенцами, чтоб все головы поворачивали; а то и к цыганам. Надо ж, однако, и удовольствие от жизни получать — живём однова. Ох, грехи наши тяжкие.

По тем временам купцы жили широко, обильно питаясь здоровой пищей. Нездоровой, но вкусной пищей купцы тоже питались. В непосредственной близости от благодушных купцов, за обоями и в щелях деревянных стен дома, проживали клопы. Ближе к ночи они иногда заглядывали проведать купцов — по-соседски. Хорошо ли питались клопы, достоверно неизвестно. По всей видимости, как-то питались — в чём в своё время купцы, а уж после и все наши жильцы видели для себя большую проблему. Клопов регулярно подтравливали. Клопы терпели: были человеколюбивы — чего, к сожалению, о самих жильцах сказать нельзя. За прошедшие десятки лет клопы прижились и произвели сотни поколений потомства. Потомство полагало доходные дома своей непутёвой исторической родиной. Никто из них уже не помнил ни упитанных купцов, ни весёлых гостей с песнями под гармошку — и по былым временам не горевал.

— Нет-с, не горюем-с! Да что толку горевать, надо дело делать, — говорили наперебой молодые клопы, демонстрируя энтузиазм. Ну что ж, молодо-зелено.

Это правда, что прошло, никогда не настанет; так зачем же, зачем горевать. Давно замечено, и не только клопами. К дореволюционным купцам отношение в доме было добродушное. Однако иногда им припоминали клопов — ими же, очевидно, разведённых. Чего от купцов ожидать — тёмный народ. А историческая роль купцов была сыграна и забыта: купцы не вписывались в светлое будущее. В даль иную новыми путями нам шагать по жизни суждено, понимали все. Те же из вписавшихся в будущее, сделавшееся настоящим, стали нашими современниками. Они проживали теперь в купеческих апартаментах и понемногу делились кровушкой с клопиным населением — давали, кто сколько может. Время было нелёгкое, и клопы относились с пониманием; имели, как говорится, совесть. С детей брали совсем мало.

В домах было два этажа и подвал.

В квартире нас проживало тринадцать, почти как у Блока[2]. Тут главное, как считать. Кто-то слишком маленький; кто-то, напротив, чересчур зажился — не сегодня завтра доктора звать с милиционером; кто-то ни то ни сё. Десять взрослых или даже девять. Сашка Дронов здоровенный балбес, вечный второгодник; и не ребёнок уже, но ещё не вызрел окончательно — оно и есть: ни то ни сё. Так что если без Дрона, будет двенадцать — только куда же без Дрона.

---

[2] А. Блок, «Двенадцать»: число революционных солдат в патруле. К количеству жильцов в квартире прямого отношения не имеет.

Вход почему-то с кухни. Далее открывался просторный холл с крашеным дощатым полом; из холла две общественные двери: на чёрную лестницу — двойная и в туалет, единственный в квартире.

— А что, правда только один туалет? И ванная тоже одна на всех?

— Ну да. Куда же там больше туалетов, места в квартире и так немного на четыре семьи. А ванной как раз у нас не было, ни одной во всём доме.

То, что туалет был только один на тринадцать обитателей, было, безусловно, неудобством. Будучи ребёнком, я это неудобство в полной мере не ощущал. В моём распоряжении имелся небольшой горшок для моих нужд различного характера — вещь в хозяйстве весьма полезная. Подозреваю, не только у меня был горшок; но уверенным здесь быть, понятное дело, нельзя.

Дверь в туалет открывалась и закрывалась часто, с характерным стуком — было популярное место. А вот чёрную лестницу жаловали как-то не очень. Из двух створок двери служила только одна. Как-то раз я тихонько её приоткрыл. Было мрачновато. Когда глаза привыкли, я смог оглядеться уже как следует. Здесь хранили негабаритные или вовсе ненужные вещи — у кого они были. Путёвого, скажу сразу, ничего не было. Бабушка Пелагея хранила мешок картошки, и кто-то брал понемногу. Может, чтоб не таскаться лишний раз в магазин с больными ногами; или просто чтоб не тратиться на ерунду. У стенки стояли какие-то кадушки, веники для бани, корыто, велосипед. Была даже метла — вероятно, кто-то у нас потихоньку летал.

Сама же лестница мне показалась на удивление изящной, с широкими пологими ступенями из камня и коваными перилами. Сквозь дымок вековой пыли откуда-то из окна верхнего пролёта жёлтый луч величественно ниспадал на царственный поворот перил, придавая чёрной лестнице несколько зачарованный вид. А вот входа в подвал с чёрной лестницы вовсе не было — она упиралась в двустворчатую дверь, выходившую на зады, к высокой кованой ограде. Оградой была обнесена парковая часть территории института Склифосовского — институт граничил с нашим двором. По-видимому, в прежние времена забора не было; зады же дома были его фасадом. Получается, теперешняя чёрная лестница тогда была парадной. Боже мой.

После революции всё, конечно, переменилось — зады, фасады, парадные лестницы, да и много чего другого; видимо, к лучшему. Избушка, стань, милая, к Склифу задом. Ну, и вот имеем.

Наши соседи

В холл выходили две комнаты: тесная комнатёнка продавщицы тёти Раи, живущей с мужем; другая комната неработающей пенсионерки Татьяны Андревны[3] Дроновой с сыном Сашкой, по возрасту старшеклассником, дочерью-стюардессой Ритой и престарелой матерью Авдотьей — все четверо в одной комнате, относительно просторной. Во времена развесёлых купцов эта комната была, должно быть, столовой, исходя из удобного расположения и близости к кухне. Если купцам вдруг приходила охота поплясать, они могли поразвлечься, полагаю, в этой же комнате: место есть. А уж если гости, то прямо в холле и пляши, кто осудит. Я, к примеру, там отплясывал на Новый год. От маминого предприятия ко мне приходил Дед Мороз со Снегурочкой, и мы втроём в холле плясали — а соседи хлопали нам в ладоши. Под конец кто-то не выдержал и пошёл в туалет и уже там хлопал в ладоши. Или даже плясал там тихонько, почему нет — Новый год всё же.

Старая Авдотья выбиралась из своей комнаты нечасто и брела согбенно, опираясь на палку. Верхнюю часть тела она несла почти параллельно полу.

— Что ж ты, Авдотья, так сгибаешься? — говорили женщины. — Надо бы тебе разогнуться хоть иногда.

---

[3] Татьяну Андреевну называли Татьяна Андревна. Все называли, ну и я буду.

— А я могу, могу! — отвечала Авдотья и в доказательство разгибалась назад, как теннисные звёзды Уимблдона при подаче мяча, наводя на меня ужас. Я боялся, что спина Авдотьи вдруг переломится назад: что тогда с ней делать? По молодости не знал — и потому беспокоился. Когда мы только заехали в квартиру, я вообще был не в курсе, что Авдотья там живёт: она из комнаты не показывалась, а только лежала на большой кровати напротив двери лицом к стене — болела. Авдотье ставили клизму, и все ходили смотреть. Я не ходил. Не потому, что лень: мама не разрешала.

У Татьяны Андревны был единственный на квартиру телевизор КВН, перед ним ставили приличного размера увеличительную линзу. Часто смотреть собиралось несколько человек, и линза оказывалась весьма кстати, поскольку сам экран был не больше детской ладони. Смотрели обычно какой-нибудь фильм. Фильмы показывали часто, чуть не каждую неделю. Какие? Да что телевизионному начальству придет в голову. У нас же предпочитали, конечно, комедии: «Цирк», «Волга-Волга», «Свадьба в Малиновке». Смотрели про войну: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Максим Перепелица». Бывали скучные фильмы; но если уж собрались, смотрели и скучные. Стулья приносили свои.

Длинный коридор упирался в нашу комнату, разбитую на две — спальню и проходную гостиную. А до неё коридор проходил мимо комнаты тёти Эллы. Парикмахерша и просто красивая женщина Эльвира была замужем за сотрудником органов. Я дружил с её дочерью Ирой, моей ровесницей, и со старшим сыном Костиком, когда Костик был в настроении дружить с мелкотой. Помню, Ира и я собираем рельсы для железной дороги, игрушечной и не импортной. Костик марширует вокруг нас, в его руке закруглённый кусок железнодорожного полотна; он считает это саблей — что же, ему видней, он старший. Вероятно, мимо нас проносится залихватский гусарский эскадрон с саблями и палашами — летит из времени давным-давно в день сегодняшний. А два глупых пятилетка этого не замечают: слишком увлечены соединением различных жестяных частей, полагая их железной дорогой.

Напротив Эллиной двери на стене висел черный телефонный аппарат. Обыкновенно какая-нибудь женщина, Рита или Эльвира, что-то нежно шептала в трубку, повернувшись спиной ко всему миру, особенно к постороннему в коридоре. Есть слова, которые должен слышать только тот, кто на другом конце провода. А папа как мог деликатно проносил мимо них благоухающие гуталином свои и мамины ботинки, начищенные на лестнице.

Наш номер телефона был Б3-43-84. Я его запомнил в свои шесть и помню даже теперь — сам не знаю зачем. Память хранит много бесполезного хлама, будто это нечто ценное, какое-то сокровище. А различные полезные и остро необходимые вещи память хранить категорически отказывается: место же в голове не резиновое, должен понимать. Я понимаю. Б3-43-84: разве набрать? Что случится тогда? Какие тени пробудятся ото сна, чтобы снять трубку в коридоре второго этажа бревенчатого дома, снесённого пятьдесят лет назад? Звоню мысленно: никого нет. И не должно быть, конечно: чудес не бывает. Кроме Хоттабыча — который, впрочем, уже совсем старик.

О мещанах и их скромной славе

Вы можете быть удивлены, однако не только купцы с клопами прославили наш нескладный двор и его окрестности: их также прославили и мещане. Конечно, мещане не были таким же ярким явлением нашего двора, как весёлые купцы и молодые купчики; мещанская роль была много скромнее. Но они тоже присутствовали на сцене исторического процесса. По каким-то неведомым причинам мещане со своим мещанством на долгое время заполонили умы писателей, партийных идеологов и всякой прочей активной интеллигенции. С мещанами вообще была полная неразбериха, то есть сложная история — которой они наверняка для себя не предполагали. Так иногда

бывает. Именно когда ты решил не отсвечивать, жить тихо — вот тогда-то на тебя все и набросятся.

Когда-то давно в районе будущей Сухаревки, в самом начале дороги на Ярославль, образовалось компактное проживание литовского и польского люда. Они звали себя *миестчанами* — горожанами, как они о себе понимали. Это были мелкие собственники — мастеровые, торговцы и ремесленники. Место же стало называться Мещанской слободой. Мало-помалу мещан становилось всё больше; к девятнадцатому веку мещане составляли более третьей части горожан по всей России. Поскольку их стало так много, к ним надо было выработать отношение — как говорили тогда, определиться. Кто вы будете, любезные: друзья, враги, попутчики? Главное, с кем вы? Какая у вас философия, и вообще… К концу девятнадцатого века лидеры общественной мысли в мещанах понемногу разочаровались. Само понятие мещанства обрело изначально отрицательную коннотацию. Инертный слой, болото. Лидеры и трибуны требовали от мещан самопожертвования, полёта мысли, на крайний случай твёрдых убеждений.

Загадка, с чего у подмастерьев вдруг возьмутся идеи о высоких материях и обо всём таком прочем? И почему необразованные люди оказываются изначально виноватыми? Откуда вообще взялась повышенная принципиальность и требовательность к чужому человеку, притом из абсолютно незнакомого сословия? Много есть тайн в этом мире. Вероятно, в то время лидерам требовался иной человек, годный для целей, осознаваемых самими вождями. Человек-инструмент, которому они полагали внушить причины его угнетённости. У мещанина же была функция и варианты своей реализации. Мещане получались второсортным материалом в глазах лидеров социальных перемен.

Когда советская власть уже совсем настала, конкретно с купцами разговор был короткий. Как говорится, привычно пальцы быстрые прикоснулись к кобуре. Классовый враг, узурпатор — с такими власть боролась. Хотя купцы-то на деле были все разные, и врагами власти были отнюдь не все. Большинство в основном приспособленцы. А мелких купчишек, торгашей и подобной мелюзги было и вообще пропасть. В массе опять же приспособленцы. Помимо купцов и мещан были ещё всякие — спекулянты, прачки, портные, прислуга всякого калибра, стряпчие, посудомойки и полотёры. И прочие работники, столяры и плотники: помимо пролетариата и крестьянства в стране много кто жил. Кое у кого оставались собственнические инстинкты. С такими власть тоже боролась, хоть и тяжело было. А кому легко? Власть тогда вообще со всеми боролась — в те времена народ должен был держать ухо востро. Сейчас власть тебя любит и ласкает; терпит, во всяком случае, булку хлеба из рук не вырывает. А вот разглядит как следует, может быть ой-ой.

Творческие натуры, как обычно, разделились. Кто-то ушёл в тень, насколько мог. Футуристы, ниспровергатели мещанского благополучия, наперебой славили выдуманный справедливый мир, утопию. Отталкивали несправедливую буржуазную мораль и заодно пошлую мещанскую. Те же защищавшие классово близкую пролетарскую мораль на своей шкуре узнали её принципы — из тех, кто дожил до этого. А другие в Париже тосковали, изнывая по утраченной России. Страдали от унижений эмиграции, жалели прошедшую молодость и уходящую жизнь. Прощайте, прощайте! Конфетки-бараночки, ямщики-облучки, ярмарки и Мещанская слобода. Куда всё умчалось, в какую беспросветную даль?

С концом нэпа и с полным запретом на частную торговлю оказалось, и вполне ожидаемо, что именно мещане высоким требованиям выстраиваемой заново жизни не соответствуют. Да-да, голубчики, плохо стараетесь. Вы, как бы сказать, то соответствуете, то нет. В основном, к сожалению, нет. Так что существование мещан было достаточно турбулентным. В какое-то время турбулентным сделалось существование сразу всех сословий, даже

самых передовых, не только мещан. После гонения опять поослабли — и на мещан в том числе.

У людей с активной гражданской позицией к мещанам привилось насмешливое отношение: торгаши, мелкий духом народец. Это, конечно, шло сверху. Подчёркивалась присущая мещанам ограниченность и посредственность. Мещанам пеняли на узкий кругозор и собственнические инстинкты. Отдельно мещан стыдили за мещанских белых слоников, бредущих себе своей дорогой по посудной горке. Вообще за счёт мещан было удобно самоутверждаться. Что многие и делали, даже не отдавая себе отчёта. Да, да, всё знакомо. В начале девяностых мещане снова начали было входить в силу; их тогда полууважительно именовали «купи-продай». Потом каких-то из них иронично именовали бизнесменами, на американский манер. У нас ведь народ смешливый даже в самой отчаянной позиции. В начале девяностых позиция у большинства была именно отчаянная.

Не без учёта мещанского сословия происходило и развитие столицы последние триста лет. Первая Мещанская улица, начинавшая от Сухаревской площади, была, кстати сказать, предтечей проспекта Мира. Так что в известных местах и местечках мещане потихоньку гремели своей славой — пока разрешали. Их, конечно, мало-помалу задвигали с глаз долой, и какие-то из Мещанских улиц утратили свои имена. Но непонятно каким образом Дзержинский район отчего-то сделался Мещанским.

У всех своё мнение. Глядя на исторические реалии в перспективе, кто-то скажет, что Сухаревка с окрестностями и тамошними жителями и вот это всё как раз и были воплощением пошлости и серости — мещанства то есть. Даже если всё это правда, так говорить не обязательно. Люди в своей массе вообще достаточно обыкновенны. То же и Сухаревские обитатели: они были люди как люди. И хорошо ли, плохо ли, были нашими соседями. Не могу сказать, что мы сердцем полюбили всех соседей; но мы научились друг друга понимать. И по тем временам я грущу.

Сухаревка, Гиляровский — спекулянты, воры, перекупщики, громилы, карманники. И большие массы посетителей и прохожих. Все они когда-то проживали в этих краях; и не так далеко от шестидесятых, тамошнего нашего времени. В чём-то папа был прав. Обитатели Сухаревки после случившейся ликвидации рынка продолжали жить со всем своим потомством и сотоварищами там же, по соседним дворам. Встречались, разговаривали, ходили в баню; вспоминали о прежнем. И прожили там более пятидесяти лет. В семидесятых большая их часть понемногу была расселена: в основном в Медведково.

В наш запутанный и бестолковый век, торопливый, компьютерно-сетевой, нет места чародеям и чудесам; да и не до них в груде дел наших бесконечных. Всё некогда: задумываться, мучиться, прикидывать одно к другому, предаваться сомнениям и воспоминаниям. Как говорили молодые клопы, дело надо делать, господа; конечно, всё так. А всё же если бы остыть да отстраниться немного, вдруг да и удастся разглядеть что-то и удивиться — и сказать себе: а пожалуй, мещане и были нашим чудом, сохранившимся и дожившим среди всего тарарама, случившегося у нас и с нами. Среди стахановцев, отчаянных побивателей рекордов всякого рода, знаменитых лётчиков, космонавтов и хлеборобов, композиторов, дерзновенных поэтов, неспокойных конструкторов и исследователей, протыкающих ткань нашего знания и устремлённых ввысь и в новое; среди всех прославленных и воспетых трубачей и комиссаров в их героических пропылённых шлемах. Что же, может, и мещане совершили свой скромный подвиг, оставшийся для всех совершенно незаметным, как они и хотели. Дожить до наших дней и сохранить человеческую нормальность, пресловутую обыденность и свою понятность всем и каждому. Маленький островок понятности и надежды среди ярости обезумевшего мира — почти как у обитателей дома на Андреевском спуске в пьесе «Дни Турбиных».

Сухаревское бытие

Квартира наша была коммунальной, и жильцы жили дружно: что же, в коммуналке так и положено. К сожалению, дружно жили не всегда и не все. Под поверхностью внешне спокойного положения вещей варево сложных взаимоотношений тихонько побулькивало.

За всем, что варилось и побулькивало целый божий день, присматривала Татьяна Андревна. Сидела себе на кухне на короткой деревянной скамье спиной к окну с открытой форткой. Татьяна Андревна упиралась локтем в подоконник, одна нога на скамье в вытянутом виде: больная вена, отёк. Андревна на кухне жила и по ходу дела следила за плитой. Вообще любила это дело: варить-жарить, печь в духовке. Да и просто посидеть в гуще событий: вся общественная жизнь квартиры там и происходила. Покушать Татьяна Андревна тоже любила. Ела с удовольствием на той же скамье. Тарелки же в свою комнату носила только кормить — сына Сашку или мать Авдотью.

— Наелась, как антипкин щенок, — извещала Андревна всякого зашедшего.

Я полагал, что антипки — это такая собачья порода, и убеждал маму купить мне на рынке непременно антипкиного щенка, пусть даже и не такого большого, как наша соседка. Огромную женщину Татьяну Андревну никто не обижал, и она старалась никого не обижать понапрасну. Между двумя другими, более мелкими тётями определённо что-то происходило; летели какие-то искры и ощущался запах серы. Время от времени они громко разговаривали тревожными голосами: и возле общественных мест, и на кухне — особенно когда там не было Татьяны Андревны.

Иногда соседи становились свидетелями удивительных событий. Както раз Эльвире даже пришлось звонить по телефону и вызывать милицию. Продавщица Рая выбросила из окна кухни новый чайный набор, представьте только! Надо ли говорить, великолепный сервиз был вдребезги, и черепки валялись под окнами живым укором и доказательством Раисиного преступления. Собравшиеся громко переговаривались и казались оживлёнными — все, кроме милиционеров. Константин, Эллин муж, хмурился и уводил жену.

Оживлённые соседи были на самом деле возмущены, особенно тётя Рая; можно сказать, она возмущалась больше всех. Она вообще не доверяла этой, с позволения сказать, парикмахерше, которая, занесите это в ваш протокол, уже давно на самом деле не работает, а напротив, тунеядствует. Милиция удивительным образом проявила расторопность и успокоила волнующуюся публику: оказалось, Раиса действительно не выбрасывала из окна чужого сервиза. Сервиз же выбросила его хозяйка Элла — на что имела полное право, если ни в кого своим сервизом не попала. Красивая женщина Элла была довольна и происшествием, и своей находчивостью. Подумайте, кто поверит, свой сервиз сама же и грохнула. Воистину стратег; в крайнем случае, тактик — сразу с главного козыря.

Папа рассуждал: местные обитатели произошли от жуликоватых сухаревских проходимцев, давших потомство и варившихся в своих понятиях последние сорок лет. Он упоминал Моисея, пустыню и отчего-то евреев. Я не знал ничего ни о евреях, ни о пустыне, и о Моисее я тоже не знал. Вероятно, с такой аргументацией папа был чрезвычайно убедителен в своих рассуждениях. По крайней мере, мама не спорила. Не спорили и заходившие гости.

Как же всё было на самом деле, не знает никто. Лично мне в папиной теории был непонятен вопрос с клопами — и до сих пор непонятен. Если сухаревские проходимцы дали обильное, хоть и жуликоватое потомство, — что же сказать о клопах? Потому что клопы ужас как плодовиты; просто караул. И за сорок лет, к гадалке не ходи, они дали гораздо больше потомства, чем все сухаревские обитатели; больше, чем евреи, не говоря уж о Моисее, — как бы все они ни старались. Исходя из общих соображений, за свои поколения клопы должны были перевоспитаться в честных и бескомпромиссных

строителей общего для всех светлого будущего. Мне казалось, грядущие династии сознательных насекомых должны уже вот-вот обрести неотъемлемое право жить с людьми в мире, согласии и на равных — открыто и безбоязненно. Перестать скрываться в диванах и за обоями; и взяться наконец всем за руки. Никто уже не будет портить друг другу кровь и настроение. Что вы хотите, дети склонны идеализировать.

За исключением Эльвиры, контактов с органами и милицией жильцы по мере сил старались избегать. Татьяна Андревна часто говорила своему младшему, второгоднику Дрону: «Что случилось, беги домой и в кровать. Всем скажу: был дома, спал». А в домике дворника помимо татарки дворничихи жил какой-то мужик — чуть не с бородой мужик. В то время случилось жестокое убийство некоей женщины; был использован топор, прямо достоевщина. Милиция сбилась с ног, и весь двор ей даже сочувствовал. Только все знали, кто убивец и где живёт.

На протяжении последующих тридцати лет папа при гостях заводил одну пластинку. Дескать, проживая на Сухаревке, он чувствовал, что мог бы начать заниматься литературой — в смысле, сделаться писателем. Такой материал плыл в руки, вы не представляете. Иногда прямо-таки ощущал, повторял он с волнением. И гости опускали вилки и с уважением поглядывали на папу, почти состоявшегося писателя, возможного лауреата престижных премий. Однако как-то получилось, что созидательной литературой папе заняться так и не пришлось. Было ещё чем заняться в прозе происходящих событий — в стране да и в собственной жизни. Впрочем, нельзя сказать, что жизнь выставила папу уж совсем без наград. Какую-то там совминовскую премию ему таки дали — даже, представьте, с нагрудным значком. Наверно, чтоб было чем покрасоваться, если гости. А богатый литературный материал меж тем плыл себе, плыл — и уплывал, просачивался сквозь пальцы, вместе с талыми водами впадая в Неглинку, а уж потом в трубу.

Эпатажность молодости

Папа был очень занят на работе. А ещё он писал диссертацию — дома после работы. Вообще-то он так долго ею занимался, что мы с мамой уже как-то к этому привыкли.

Даже соседи привыкли — в том смысле, что дело небыстрое. К тому же пока папа работал над своим научным трудом, они все как бы тоже были приобщены к науке. Соседи за это время даже стали больше уважать себя — в связи с научной деятельностью, в которую волею судеб они оказались вовлечены.

Рита была дочь Татьяны Андревны и старшая сестра Сашки Дрона.

По работе она часто бывала в командировках, иногда неделями. Стюардесса на дальних рейсах: неделю работаешь, неделю дома. Из-за своего отсутствия она иногда отставала от квартирных событий — можно сказать, выбивалась из графика новостей. Сама Рита полагала, что она в струе, а подчас оказывалось, что совсем нет.

Рите чуть за двадцать, но уже работала; вела себя как взрослая. Порой несколько пережимала палку, если так можно сказать. Молодость частенько располагает к некоей эпатажности. Бунтует — хочет разомкнуть надоевший круг вещей. Заявляет о себе и своём праве.

Как-то, вернувшись откуда-то в очередной раз, она по-взрослому возгласила светским тоном:

— Как дела, Вольдемар? Как диссертация? Можно поздравить?

Вольдемаром она называла папу, которого вообще-то звали Владимир. Рита же произносила папино имя на иностранный манер. Видимо, где-то в компании услышала, и ей понравилось. Кажется, вроде просто имя, а всё же привносит аристократизм в рутину повседневности. Может, этим Рита возвышала себя: не у всех же сосед Вольдемар, подумайте.

Дело происходило на общей кухне вечером, и народ там был. Все слышали Риту и напряглись. Но не из-за Вольдемара, как втайне опасалась Рита. Оказалось, что дело во времени: именно здесь Рита отстала от событий — в смысле, неожиданно их опередила. А опережать события в данном случае более неделикатно, чем от них отстать. Такими вещами не шутят, знаете, — можно и накаркать.

Иногда одно неосторожное слово вызывает всеобщее смятение.

Но папа оказался на высоте и спас ситуацию. Сказал, что это как раз он хотел поздравить Риту — с её возвращением. А защиту учёный совет папиной организации уже назначил на поздний октябрь: очередь, правила.

И соседи с облегчением вздохнули: опасность для них миновала. Общеквартирная научная деятельность могла продолжаться и дальше.

Вплоть до назначенного заседания учёного совета.

Мусорная машина

Как я говорил, Рита работала стюардессой на пассажирском авиалайнере.

Причём летала она не в Норильск или Нижневартовск; Рита летала в зарубежные рейсы. Вероятно, помогли полезные знакомства с соседями через коридор. Например, с Эллой; и особенно с Константином, который работал, сами знаете где. Рита иногда кое-что привозила и пользовалась в квартире огромным авторитетом, невзирая на свой неприлично молодой возраст: двадцать с небольшим.

— Рита у нас ого-го, — непонятно говорил Константин, а Рита розовела, полагая это похвалой.

Она была гордостью семьи, квартиры и целого дома. Рита была, безусловно, одна на весь двор; вероятно, на весь Дзержинский район; а может быть, и одна на всю столицу.

Невзирая на всепланетарное Ритино величие, я не проникался каким-то благоговением; вообще был абсолютно не в курсе всего этого. А моя мама была в курсе. Маме хотелось чего-то заграничного, представьте себе. Знаете, женщине свойственно мечтать, строить планы — и вообще вить гнездо. Это естественно. Берегись, когда женщина этого не делает. Это нехороший знак: она теряет интерес.

Вероятно, это мамино желание могло в тогдашнем обществе рассматриваться как порочное и даже порочащее — если бы рассматривающий мамино персональное дело трудовой коллектив вдруг выхватил бескомпромиссным лучом мамину простую мечту: зарубежный зимний свитерок для сына. Скромный, но нарядный; и желательно недорогой. Лишних денег не было, жили очень и очень скромно. Из излишеств могли позволить кофе для папы. И что вы думаете: Рита расстаралась и купила — где-то там, сам не знаю где, с географией я познакомился много позже.

Перед моим днём рождения мама не удержалась и на радостях проговорилась, что меня ожидает волшебный сюрприз: Рита привезёт. Слово было брошено. Дальше всему виной мои впечатлительность и воображение. Вы понимаете, я своему воображению ни в чём не отказывал и в конце концов себе там навоображал. Мне хотелось чего-то волшебного, необычного. Как в грёзах, понимаете? Метания привели меня к практичному компромиссу: хочу импортную помойную машину — желательно игрушечную. Такую, чтобы мусор загружался, задвигался в кузов, и чтобы дверцы были, и ещё игрушечный водитель, и загорался красный огонёк, когда переполнится главное отделение. Какую — лучше немецкую, я слышал, что немецкие игрушки долговечнее. Интересно, где же я мог об этом услышать в свои неполные пять?

То обстоятельство, что Рита летала в Будапешт, меня никак не смущало. Это опять-таки к географии.

Я невнятно делился с мамой счастливыми ожиданиями; сообщал о своём прогрессе и о достижении важного компромисса. Никто, замечу, меня не пытался возвратить к реальности. Каждый жил своими радостными предчувствиями — и я, и мама. В семье папа один сохранял трезвую голову, но он не был посвящён; кроме того, что он мог один?

Катастрофа надвигалась, как «Титаник» на свой айсберг.

День настал. Мама, ласково улыбаясь, внесла машину — она уместилась в небольшом, с виду мягковатом бумажном свёртке. Я был всё ещё ослеплён своим чувством и не видел подвоха. Мама тоже была абсолютно расслаблена. Каждый продолжал жить в своей скорлупе.

— Ну, давай уже примерим, — сказала мама счастливым голосом.

Я застыл и уставил взор на свёрток. Сомнение вдруг уронило мне на голову свой леденящий обруч. Меньше всего мятая бумага напоминала игрушечную упаковку. Надо же смотреть на вещи трезво. Я вдруг всё понял.

— А машина? — спросил я совсем слабым голосом.

В это время мама уже освобождала от бумажной обёртки подарок — мой подарок.

— Что-то у тебя голос сегодня тихий, — мама потрепала мой лоб и начала надрючивать на меня подарочный джемпер поверх рубашки. Джемпер был совсем новый и вонял красителем для тканей. Я был в полуобморочном состоянии, а мама ворковала и крутила меня из стороны в сторону. Они с Ритой переговаривались возбуждёнными голосами. Через короткое время я тихонько выпал из их внимания и удалился в чуланчик для щёток. Мне исполнялось пять лет — через два дня.

В чулане я был совсем один, и мне не хотелось никого видеть. Игрушечная машина удалялась вдаль, сверкая краской на боках, помигивая фарами и проблесковым красным маячком наверху: её главное отделение уже было переполнено мусором. Мусора было много, но он был абсолютно никому не нужен: так бывает. Фарами же машина мигала не для меня — для другого счастливого мальчика, чья мама никогда не поступит с сыном так жестоко; никогда.

Германский велосипед

Я только что рассказал о мусорной машине, которую я возжелал, — ведь мне её практически обещали. С машиной не сложилось; и я воспринял эту историю чрезвычайно трагично. Почти что разбил своё сердце — из-за игрушки, машинки; помойной, в сущности. В юности мы не жалеем своего сердца: можем его разбивать почти ежедневно. Что и я делал время от времени.

Может, дело было не в самой машине, а в разрушенных надеждах. Возможно, всё получилось из-за моей негибкости в своих желаниях. А ещё были даны обещания, воспринятые мной, без пяти минут пятилеткой, как гарантии. Это ранит. Вообще у людей занимает многие годы, чтобы познать цену обещаний.

Но я хотел о велосипеде.

Он появился у меня совсем неожиданно; можно сказать, вдруг. Даже не знаю, откуда. Возможно, велосипедом папу премировали за хорошую работу, куда он уходил каждое утро. Не помню, чтобы я о велосипеде просил. Или чтоб я надеялся, что вот-вот, и мне его преподнесут в подарок — вот, пожалуйста, дорогой сын: владей, катайся.

Велосипеды вообще-то у ребят были, но не массово. Какие: в основном «Школьник»; а если побольше, то уже «Орлёнок» или, скажем, «Ласточка» — но это для девочек. Вот и все, собственно, детские модели. Потом шла тяжеловес «Украина» для физически развитых индивидов. В нестоличных городах и прочих весях на раме «Украины» колхозники везли иной раз мешок с картошкой; и велосипед не жаловался, терпел. Для спортсменов был гоноч-

ный «Спутник» с тремя скоростями и ручными тормозами, причём тормоз был даже на левой руке для переднего колеса. Знаете, передним колесом лучше не тормозить, если не хочешь лететь по воздуху аки птица. Спортсмены, впрочем, в определённых обстоятельствах вынуждены рисковать.

Тот же, который появился у меня, был другой. Маленький, да; но не совсем, что ли, велосипедный. Низкий, на странных крохотных колёсах-дутиках, как у вертолёта. Немецкий, между прочим, из ГДР; только этого я не осознавал в полной мере — и вообще ни в какой мере не осознавал. Папа в немецких велосипедах, безусловно, понимал лучше, чем остальная семья: у него в школе был немецкий, в отличие от нас — у мамы был английский, а у меня французский, но в будущем — через восемь лет. Пока не дошло до немецкого, французского и английского, я бессистемно изучал русский алфавит. Имелись небольшие проблемы с буквой «Щ»; я, откровенно, и сейчас подозреваю, что она только притворяется — на самом же деле она греческая «Пси».

Папа объяснил мне, как накачивать шины и как следить за клапанами. На твоём велосипеде шины без камер, объяснял папа; шина и есть камера. Надо смотреть, где ездишь: только по асфальту. Нельзя по земле: там гвозди, бутылочное стекло, в крайнем случае осколки из оконных рам. Это правда, отчего-то стекла валялись во дворах где ни попадя. Босиком ходить приходилось с оглядкой. Ещё кошки там всякие — понимаете, в общем. И босой ноге, и велосипеду было чего опасаться.

Возник вопрос: где хранить. Велосипед небольшой, но и в комнате места лишнего нет. Мама резонно предлагала хранить на чёрной лестнице; папа возражал.

— Ну, допустим, мы его туда поставили, — говорил папа, причём папин голос говорил о другом. «Нельзя, ни в коем случае», — говорил голос.

— Пожалуйста, никто не запретит, там даже бочка с засоленными огурцами сколько места занимает.

Если вы не знали, у папы была слабость к солёным огурчикам, которых не застать в магазине, особенно к тому времени, когда он возвращался с работы. Мы сами огурцов не засаливали: мама не умела, я тоже.

— Дверь на лестницу не запирается, и вообще. Мы же знаем, там шастает чёрт знает кто, — папин голос поднимался до обличительных высот. Что получалось: те, кто шастал, спокойно могли брать чужие огурцы. И, видимо, брали; об этом на кухне говорили женщины.

— Вот, я завёз его, — рассуждал папа, имея в виду мой велосипед, — а на другой день его нет. Что будем делать, звонить в милицию?

Такой вопрос всех ставил в тупик. То, что украден велосипед, это на самом деле ещё полбеды. Непонятно, что теперь делать, — вот беда. И кто виноват, тоже непонятно. Эти самые вопросы волновали не только нашу семью. В последние сто лет они волновали всё мыслящее российское общество; но обо всём этом я узнал много позже. А в папе сейчас пробудился вирус вещизма. Вероятно, общаясь ежедневно с мещанами, папа незаметно заразился собственническими инстинктами — которые он вообще-то обличал. Но тут такое дело, велосипед. Как говорят, серая зона: кто угодно запутается.

— Надо не ждать вечера, а проверять рано утром, — подсказывал я недогадливым родителям. По неясным причинам моё решение в расчёт не принималось. Вообще на наших семейных советах демократия иногда проскальзывала. Я не обижался. Вариантов, где хранить, с моей точки зрения, было много. Можно в спальне, прислонив к моей кроватке, когда я не катаюсь. Почему нет? Кроваткой ведь я пользуюсь только ночью, а так красота: всё в полной сохранности. На ночь же можно выкатывать в столовую. А грязь, спросила мама. А зимой, уточнила мама. Пришли к компромиссу: на общей лестнице перед входом в квартиру. Папа должен договориться с жильцами: ребёнку надо кататься каждый день, все должны понять. Он будет протирать от грязи тряпочкой, а я буду ему помогать. А зимой будет стоять на чёрной

лестнице — тут мама легко всех победила. Если папе нужно, он может пристегнуть к перилам, предложила мама. Если это сделает папу спокойнее.

Германский велосипед произвёл впечатление не только на меня. Он быстро обретал популярность во дворе и начинал пользовался повышенным спросом. Средний мальчик проходил через три стадии ознакомления с заграничным чудом. Сначала впитывал информацию визуально; затем шли вопросы и прямой контакт с рулём; и наконец «Дай покататься». Какое-то время положение спасали маленькие колёсики сзади, превращавшие нормальный двухколёсный велосипед в четырёхколёсную коляску — на таком кататься было не так заманчиво.

Разрешать кататься незнакомым мальчикам папа, само собой, воспрещал; он вообще запрещал всё выходящее за рамки своего разумения. Папа утверждал, что шины рассчитаны именно на меня, на мой конкретно вес, и если испортить клапан излишними килограммами, то всё: пиши пропало. Запасную камеру купить не удастся: негде. Так папа декларировал запрет, назначая меня цербером своего велосипеда.

Было и ещё одно обстоятельство. Многие из возжелавших проехаться были мне совершенно незнакомы. Это были старшие мальчики не из нашего двора; чужие. Непонятно, как они оказались здесь и откуда они узнали? Они нехорошо улыбались и говорили примерно так:

— Пацан, дай покататься. Только твои эти колёсики я сниму. Не боись, назад потом поставлю.

С малявкой не церемонились — снимали с седла и ставили в сторонку. Просто разбой. Несколько раз меня спасали старики у подъезда; спасибо, что колёсики быстро не снимешь.

На двух же колёсах я пока ездить не мог, не было навыка. Меня обучали — папа придерживал сзади за седло, пока я не набрал скорость. Когда скорость была уже большая, я переставал крутить — и так уже хорошо, а то мало ли. На этом этапе я уже не чувствовал поддержки, но и равновесия не терял. Ехал равномерно прямолинейно и ощущал себя более-менее в состоянии покоя — согласно закону сэра Исаака Ньютона. Видимо, юного Исаака тоже в своё время обучали велосипеду. Разогнав до разумной скорости, папа отпускал меня в свободный полёт. Так делают все обучающие. Лети, ласточка. Видимо, полагают, что велосипед замедлится, а потом и вовсе остановится в результате сил трения и сопротивления воздуха — согласно ньютоновским же законам. Не всегда законы механики и прочие благие намерения соответствуют реалиям бытия. Случаются трещины в асфальте, обломки кирпича, выскочившие коты, расслабленные старушки, битое стекло, наконец, — да мало ли? Короче говоря, не раз и не два моё равномерное и прямолинейное движение добром не кончалось. Как, кстати, и многое в этой жизни.

К папиному удивлению, моё обучение на двухколёсном не ограничилось одним выходным, но заняло время: всю весну и летом ещё прилично. Кто только не обучал меня. Помню, на даче, которую мы снимали в тот год то ли в Кратово, то ли в Черепково, со мной занималась барышня, студентка, какая-то родственница из Ленинграда. Волнуем женской красотой, я вёл себя странно. Видимо, пытался произвести выигрышное впечатление. Надевал жокейскую кепочку с продольными полосками наверху и объявлял, что уже не раз вообще-то катался на двухколёсном. И падать, кстати, совсем не боюсь: я гонщик. При этом жокейская кепочка должна была помогать в моих построениях, но помогала так себе. Красивая студентка туманно улыбалась, как умеют улыбаться женщины — ничего не имея в виду и ничего не обещая.

Потом мы тренировались в гоночных заездах и забегах, особенно студентка; я, как обычно, крутил себе педали, а она держалась за седло юного гонщика. Возле старой часовенки на дороге нам повстречалась перепуганная женщина и сказала, что только что спаслась от преследовавшей её буйной коровы. Женщина была большая, с женскими формами и одета в летний сарафан. Бегала женщина в своём сарафане не часто, поведала она

нам и заплакала: переживала о пережитом страхе. Стало ясно, что пока не поздно, всем надо спасаться, а главное, спасать ребёнка, меня. Мне же стало ясно другое: главное сейчас — это спасти ни в чём не виноватый немецкий велосипед. Мы все побежали в часовню и там боялись уже втроём, а велосипед по беспечности не боялся. Корову мы в тот день так и не повстречали, вероятно, к лучшему. Повстречали через несколько дней, но не стали её так уж допрашивать, не гонялась ли, дескать, она недавно за кем ни попадя; и главное, для чего? Проявили деликатность.

Такие были мои велосипедные тренировки.

Понемногу я выучился ехать не только во всю мочь, но и тихо; научился и по прямой, и даже по кривой. Согласно окружающим реалиям, в дальнейшем приходилось ездить больше по кривой. Конечно, не всегда по асфальту — асфальтированной территории у нас было менее десятой части двора. Доводилось и по щебню, и по другому строительному мусору; и да, по стеклу тоже доводилось, что делать. Немецкие дутики выдерживали все испытания с настоящей немецкой выдержкой и стойкостью. Немецкая же рама с честью выдержала столкновение с отечественным автомобилем «Волга» — я воткнулся в него сбоку на полном ходу. Тормозить было поздно — тормозная дистанция превышала расстояние до автомобиля, когда он выскочил на мой путь. Подзуживаемый ребятами, я в тот день слетел с горки в нижний двор, набрал скорость, которую контролировал уже на последнем усилии, вместе с дорогой совершил правый поворот на девяносто градусов и напротив котельной повстречался с «Волгой» — нежданно-негаданно. Всё произошло стремительно. Врезавшись, испытал стресс, вернее, испуг. Вдобавок напугал «Волгу» — и её водителя, доброжелательного старичка.

Это был первый раз, когда я потерялся и постыдно бежал, бросив на дороге своего первого иностранного друга из дружественной Восточной Германии, за его последний год жизни почти обрусевшего и уже смирившегося — и с сухаревскими перипетиями, и со своей судьбой. Больше я уже никогда не врезался в автомобили, да и ни в какой-либо другой транспорт, включая гужевой[4]. И никакой транспорт со мной тоже не сталкивался.

Это странно, но в какой-то период моей юности я даже сам увлёкся автомобилем.

Как я в пять лет управлял автомобилем «Москвич»

Несмотря на папину занятость, к нам приходили гости. Знакомые, коллеги, товарищи по учёбе и просто не пойми кто. Жили мы, считай, в самом сердце столицы: транспорт работал исправно, пробок не было, молодость бурлила и бросалась в голову; и вообще — отчего в гости-то не зайти? И заходили. Повидаться, обменяться новостями, посплетничать на скорую руку. Громко говорили, смеялись. Приносили гитару и пели: «Я Парамела, я Чебурела, я сам, я сам собою Бумбия». Я был мал и не всегда понимал, что у нас в комнате за друзья; чьи они, зачем, для чего пьют наше вино и когда уже пойдут к себе, по месту своей постоянной прописки. Но полностью доверял родителям: гости так гости.

Как-то раз к нам зашёл Юра Никитин, системный программист из университетского вычислительного центра[5]. Это сегодня программистов раз-

---

[4] Гужевым называли весь транспорт, приводимый в движение лошадками и коняшками. Их раньше в Москве было даже больше, чем теперь машин; и они помогали с перевозками.

[5] Вычислительный центр – это здание, где был компьютер. Компьютер тогда был большой, он занимал целый зал. В наши дни столько места занимают суперкомпьютеры или компьютерные кластеры. А современный смартфон выполняет более сложные задачи, чем тот монстр из далёких шестидесятых. Компьютером тогда называли его только в шутку; а всерьёз его величали ЭВМ.

велось, как клопов в нашем сухаревском доме. Любой старшеклассник, сумевший скопировать кусок кода с подходящего сайта, небрежно говорит однокласснице: «Я вообще-то программист. Делаю один проект, словом». Сам же при этом осознаёт, никакой проект он не делает, просто осваивает компилятор. А главное, расправляет хвост, пытается произвести впечатление. Раньше жили не так: программист был такой же редкостью, как, скажем, водитель лунохода; на худой конец космонавт с высшим образованием. Стругацкие даже посвятили программисту свою раннюю сказку[6].

Вопреки своему элитарному статусу, Юра Никитин был прост, дружелюбен и открыт для общения; до какой-то степени расслаблен характером. И на работе, особенно в длинные ночные смены, он тянулся поговорить за жизнь, попить чай с баранками или сушками; даже слегка посплетничать — хотя здесь я не уверен, лично со мной Юра не делился. И к нам домой Юра заходил запросто, без церемоний. Обычно с бутылкой сухого вина — был холостяк, жил с мамой и мог себе позволить.

С Юрой Никитиным случались истории. Бывали потешные, бывали печальные, бывали ни то ни сё. Как-то раз Юра приобрёл лотерейный билет — в этом ничего такого нет, я и сам делал это не раз, когда стал постарше. Удивительное случилось потом: билет оказался выигрышным. Дело в том, что Юра тогда играл по-серьёзному и выиграл не сорок копеек и не двухтомник стихов и пьес С. Михалкова; ему достался легковой автомобиль «Москвич». Да, вот так бывает; автомобиль — и даром. Хотя, конечно, на сам лотерейный билет таки пришлось потратиться. Подозреваю, когда Юра узнал о своём выигрыше, автомобиле, от такого успеха у него могло случиться лёгкое головокружение: сами понимаете, событие удивительное и необыкновенное. И дальше всё было необыкновенно. Юра не взял деньгами свой выигрыш, как сделал бы какой-нибудь ленивый гражданин. И не продал свой «Москвич» в районе Южного речного порта, чтобы приумножить своё благосостояние, — так поступил бы человек оборотистый. Юра стал пользоваться своим выигрышем: ездить на нём. Экономил таким образом на автобусных талончиках. Я бы тоже не отказался кататься по Москве — только, к сожалению, был тогда мал. А также в то время я отчего-то всё никак не выигрывал; и даже не имел никакого понятия — ни о чём таком-эдаком.

В гости Юра к нам приехал на своём «Москвиче» — преодолев, страшно сказать, движение на Садовом. Я так не смог бы; даже папа, пожалуй, не смог бы. Тогда мы жили просто и пользовались общественным транспортом; но тем не менее все гордились, что наш знакомый имеет своё личное средство передвижения. Машину Юра запарковал прямо под окном. Там асфальт кончался, и «Москвич» чуть не упирался передним бампером в рассохшийся штакетник в небольшой яме. Штакетник был концом нашего мира: за него никто не ходил. Кроме чахлой сирени и трёх столичных травинок, в яме ничего путного не было.

Юра разрешил и мне посидеть за рулём. Я беспокоился, где же у меня тут кнопка для гудка — должна быть на руле, в центре. Старался и всё жал на неё: и пальцем, и ладонью — без всякого эффекта. А опытный Юра Никитин протягивал руку как-то даже небрежно, и «Москвич» послушно издавал басовитый бип. Будто бы Юра по-особенному нажимал, как я не умел. И так вот он баловался, а надо мной все посмеивались. А потом случайно я догадался: вокруг шло ещё одно хромированное колёсико — оно-то и вызывало бип. А Юра для вида ударял пальцем в середину руля, сам же незаметно давил на колёсико. И так вот он дразнил ребёнка — меня. Ну, раз я уже понял, в чём дело, дразнить меня дальше было уже неинтересно. Все пошли к нам — разговоры разговаривать и пить вино, которое Юра принёс: надо

---

[6] «Понедельник начинается в субботу»: там программист Саша устраивается в институт к талантливым и весёлым магам и чародеям. Раньше все как один читали Стругацких; теперь у нас интернет и соцсети — сами пишем, сами читаем.

же его было пить когда-то. А я остался один на водительском месте, Юра не возражал. Мама было возразила, что не дело оставлять ребёнка одного в машине. А Юра объяснил, что ключи от зажигания он забрал, и ничего страшного случиться не может. Ребёнок, мол, в машине в большей безопасности, чем даже дома. Хорошо; допустим. А машина?

И все наконец ушли. А я остался, чтобы уже насладиться Юриным автомобилем без чужого осуждающего глаза. На это время машина была вся моя. Я её будто бы выиграл в лотерею, разве что не тратился на билет. Я пребывал в эйфории, даже не зная, что это за штука. А сейчас в своей машине я был настоящим шофёром — даже героическим шофёром. Путь-дорожка фронтовая и всё такое. И мой «Москвич» уворачивался от разрывов и летел вперёд — сквозь дым и через испытания; а я вовсю шофёрствовал, крутил руль, жал на педали и дёргал за рычаги. И кабина качалась и шаталась; и вдруг меня подбросило. Здесь шофёрство немного прервалось, потому что я осознал, что я еду, — вернее, уже приехал. Скатился с асфальта, потом уже в ямку и подмял героическим «Москвичом» старый штакетник. Очевидно, бравый шофёр по беспечности или сам того не ведая снял машину с ручного тормоза: для этого ключ зажигания не нужен. Всё произошло в относительной тишине: я даже не бикнул — «Москвич» тоже нет. Я сидел, замерев. Играть в героического шофёра надоело; и вообще стало как-то не до шоферов. Очевидно, я что-то сломал в машине, догадался я. И сломал забор. Что теперь будет? Я ощущал опасность, которой не ощущал беспечный шофёр ещё минуту назад. Откуда придёт новая беда? Юра сказал, что, пока я в машине, я в безопасности. Что, если он ошибался? Я сомневался и терзался страхами.

В то самое время, когда наслаждаться автомобилем я уже перестал, Юра Никитин и папа продолжали наслаждаться застольной беседой. Видите, как противоречива природа состояния душ: счастье и тревога могут существовать буквально вплотную, совершенно не подозревая друг о друге. Мама, наверно, тоже наслаждалась: не подозревала, что её подающий надежды сын, совсем ещё юный, уже не в безопасности. Вино из бутылки исчезало на глазах. Что такое бутылка сухого для двух молодых мужчин? Даже смешно. Беседа не прерывалась. Время от времени Юра невидящими глазами выглядывал в окно, для порядка. Ничего подозрительного не замечал. Машина была на месте, а это главное. Забора, однако, не было. Но послушайте, что значит какой-то забор, когда хорошее настроение вас никак не покидает — хотя и пора бы?

Такой был мой первый шофёрский опыт.

Конечно, далеко я не уехал — первый раз всё же. Кроме старого штакетника, никого не задавил. И на меня никто не наехал; а ведь в Москве на дорогах бывает всякое. И я оставался более или менее в безопасности: для себя и прочих пешеходов, москвичей и гостей столицы. Можно сказать, что мой первый опыт вождения был удачным — я ездил не менее сохранно, чем отдельно взятый системный программист; а может, даже и более того. Безопасность за рулём — это главное, не так ли?

На этом история с управлением движущимся средством — первым в моей жизни — была завершена. Тоже и история с Юриным «Москвичом»: она завершилась довольно скоро; много скорее, чем сам Юра рассчитывал. Конкретно для «Москвича» история окончилась весьма печально: он попал в аварию — что в Москве, увы, не редкость. Реанимировать и возвратить его к жизни не получилось; «Москвич» погиб. Юрина жизнь владельца персонального транспортного средства — богемная, каковой она сделалась по прихоти судьбы, тоже прервалась — по прихоти судьбы, капризной и переменчивой.

Юра продолжал себе жить-поживать, хотя это была уже совсем не та жизнь, что с «Москвичом». Юра возвращался к истокам — к своей прежней жизни. Снова стал пользоваться общественным транспортом, и это ему ока-

залось даже проще. Все тогда пользовались, включая системных программистов — редких, как шерстистые носороги. То ли дело сейчас: все вдруг возлюбили персональные транспортные средства. В особенности же программисты, которых сейчас стало сами знаете сколько.

А мы удивляемся, откуда такой трафик.

Роковая женщина и семейное счастье

Соседка Эльвира была активна до умопомрачения всех соседей. Включая моих родителей. Просто мама моя, как говорили итальянцы в фильмах Феллини. На самом деле итальянцы говорили «Mamma mia» — и мужчины говорили, и женщины; и не только в кино — дома даже чаще. А гости столицы, восточные мужчины, говорили «мама моя», посещая парикмахерскую, когда Элла ещё там работала. И каких-то десять лет оставалось до аббовского «Mamma Mia».

В квартире активная Элла совершала много странного и непонятного. При этом она определяла себя интеллигентным человеком и притом другом нашей семьи. Знаете, как бывает: нечто кажется сложным и заумным, а для женщины всё логично и естественно. Да и вообще — есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам, согласно Гамлету.

Как-то Элле понадобилась определённая сумма, и её взор пал на А.С. Пушкина, на коричневый десятитомник академического издания. Если откровенно, несчастливый Пушкин ей надоел уже давно; и комната, правду сказать, не резиновая. А деньги, напоминаю, нужны. Одна беда, десятитомник неполный — одного тома не хватает. Так случается: всего одного нет, а сколько головной боли. Само собой, девятитомник не станет пользоваться таким же спросом; а главное, выручить необходимую сумму определённо не даст. Но с другой стороны… Короче, Элла знала, что папа большой любитель Пушкина, и такой же точно коричневый десятитомник есть и у него. Папа бывал излишне болтлив на литературные темы, можно сказать, сильно подставлялся.

Академическое издание, помахивая хвостом, доверчиво плыло Элле в руки — оставалось лишь протянуть руку. Как? Просто — затеяла спор по поводу строф «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца». Чтобы уже наглядно указать неграмотному Константину, взяла томик — ненадолго. Отчего-то никак не возвращала. Папа, оторванный от сухаревских реалий, долго не мог осознать случившегося. Спустя время Элла снисходительно объяснилась: да, продала своего Пушкина; да, с вашим томиком — одного не хватало, чего тут непонятного. У интеллигентного человека с активной жизненной позицией тоже могут проявиться недостатки; и достаточно неожиданно. Тем более когда давят обстоятельства.

Далее всё продолжалось сообразно. Всякие милые пустяки: подворовывала кофе из нашего буфета на кухне; одна за другой исчезли две мельхиоровых ложечки, и в таком роде. Однажды Элла отжала половую тряпку на фрукты, которые мылись для наших гостей, — вероятно, напало настроение. В какой-то момент дела говорят за себя сами. Родители вдруг решительно осознали, что в отношении Эллы они горько заблуждались. А теперь-то их глаза начали открываться.

Параллельно всем событиям роковая женщина Элла серьёзно работала над тем, чтоб развестись с мужем.

— Ударь меня, ударь! — доносились иногда крики из-за стены, из смежной с нами комнаты. И папа зачем-то срывался с места и барабанил в Эллину дверь.

— Ты что, действительно думаешь, я могу её ударить? — укоризненно вопрошал папу тренированный Константин.

Этого-то папа как раз не знал; и никто в квартире не знал. Но крики слушали все, и с большим интересом. Продавщица Раиса даже приоткрывала

дверь, чтоб не упустить важных деталей, — мало ли, знаете. Константин был офицером органов, но это Эллу никак не беспокоило. Она просто хотела переустроить свою жизнь и начать жить просто: соединиться с мужчиной, от которого была беременна. Детей, Костика и Иру, она оставляла мужу, а комнату в центре Москвы оставляла за собой. Когда ненужная часть семейства покинула её жилище, туда вселился Александр, тихий, болезненный мужчина, отец ожидавшегося ребёнка. Этот незлой человек увлекался выпиливанием лобзиком. Помню миниатюрную копию романтического дачного туалета, на дверце которого отверстие для света было выполнено в виде сердечка. Желал ли Александр этим туалетом и этим сердцем выразить свою любовь к эффектной блондинке? Было ли его хобби способом врачевания нервов? Чужая душа загадка.

Разлучник Александр смутно напоминал мне другого безответного человека, мужа продавщицы Раисы из комнатки у чёрной лестницы. Рая и Элла друг с другом не дружили, и даже совсем не ладили. Ненависть могла копиться в двух комнатах и пропитывать окружающих своим ядом. Как же на самом деле относились друг к другу мужья соседок, такие похожие друг на друга — если даже не лицами, то своей тишайшей семейной ролью? Я лично ни разу не видел, чтобы мужчины ссорились или даже вообще разговаривали. Конечно, они могли разговаривать и на чёрной лестнице, и даже потихоньку там толкаться, стараясь не задевать тазов, велосипеда и банных шаек с вениками, — я бы поступал именно так на их месте. Но плохо ли, хорошо ли, их интересы лежали в разных сферах. Муж Раисы злоупотреблял, а бессердечный разлучник Александр день за днём выпиливал лобзиком. Непонятно, куда он девал опилки.

Ира и Костик несколько раз приезжали навестить маму, и все шумно радовались встречам. Константин вскоре получил от организации квартиру на себя и детей — в Медведкове. Конечно, не центр; зато отдельная, без соседей. Более того, двухкомнатная: со своей кухней, с ванной и туалетом. В те времена столичные власти расселяли жилой фонд, отживший свой век. Идея была, чтобы в центре фонд соответствовал; а также соответствовал и проживающий контингент. Активно заселялось Медведково, муссировались слухи о строящейся ветке Метростроя. Наши дома тоже на каком-то этапе подлежали расселению — в первую очередь подвал, две нижние квартиры: сырость, туберкулёз. Второй и третий этажи в доме пока не трогали, но на всех этажах жильцы уже пребывали в возбуждённом настроении. Будто бы их переселение состоится вот-вот, на следующей неделе, и лучше быть готовыми. Меж тем большинству предстояло жить, как жили, — не менее четырёх лет; кто-то, представьте, не доживал. Но кому была охота скрупулёзно подсчитывать годы и месяцы? И что такое четыре года в масштабах грядущих переселений.

Наступающие перемены часто обсуждались на кухне. Все оперировали модными терминами: микрорайон, зелёная зона, кафельная плитка. Слова эти были вне реалий людей из дома с одним туалетом на десять человек. Были незнакомы не только мне, ребёнку, но и людям, повторяющим их друг за другом. В такие минуты люди погружались в полугипнотическое состояние и двигались, как под звуки шаманского бубна. Их реальность переносилась в другое время и в другое место, загадочное, неотвратимое Медведково.

Константин настойчиво приглашал меня посмотреть, как они устроились на новом месте; и мы с папой побывали у них. Я впервые увидел это самое Медведково, о котором столько говорили соседи. Удивительно, зачем так много народу переселили так далеко от Москвы, не понимал я. Кругом стройка, суета, глина и лужи. Люди переходят грязь по доске и не помещаются в автобус. Тротуаров нигде нет — определённо не центр. Мои друзья Ира и Костик тоже многого не понимали, недоумевая, зачем они здесь — в двухкомнатной квартире с пустынной кухней без Татьяны Андревны и ссорящихся соседок, с ванной в кафельной плитке и с туалетом без очереди. Не

уверен, понимал ли это сам Константин. По моему детскому впечатлению, все они были несчастливы.

Mamma mia. Неужели роковая блондинка-парикмахерша в заведении на Первой Мещанской — это и было то, что нужно для счастья отдельно взятому человеку?

Волшебные вазы

Наши комнаты располагались на втором этаже, который был бельэтаж, выражаясь по-театральному. В подвальном помещении тоже были две квартиры с комнатами для проживающих. В дореволюционные времена там обитала обслуга и люди, сопровождающие купцов. Обслуги всегда много больше, чем купцов, а жить обслуга привыкла компактно.

— Да-с, такие у нас привычки: в тесноте, да не в обиде-с.

В смутное время и после в подвале проживали уже все, кто хотел. Там даже проживал один сильно пьющий гражданин в высоких чёрных сапогах — однажды он при мне свалился вниз по лестнице. Дело было так: я вошёл в подъезд и увидел у стены усталого человека. Он прижимался спиной к стене изо всех оставшихся у него сил. Ноги его подрагивали, и было видно, что сил оставалось совсем ничего, так что ему пришлось опуститься на корточки. Я тоже опустился на корточки, за компанию; только, в отличие от усталого, я не заснул и не потерял равновесия. Когда тот загремел вниз, я поспешил к своим: звать на помощь.

Кстати, сухаревские извозчики, их лошадки и коняшки в нашем доме не проживали; и в подвале тоже нет. Это помнится довольно смутно, я всё же был очень юн. Многие события происходили в начале века, и изо всех жильцов помнить всё могла разве что бабушка Пелагея. Она родилась ещё в девятнадцатом веке, что в шестидесятые не было такой уж редкостью.

Мне было тогда четыре, а может быть, шло уже к пяти. Меня водили в детский сад: две остановки на любом троллейбусе вниз по проспекту Мира. И пешком ещё самую малость, ребёнку даже полезно. Возил обычно папа — с утра пораньше, но чтоб какой-то персонал в саду уже был.

Зимой мы с папой ещё по темноте проходили мимо станции метро «Проспект Мира». Вход в метро был в величественном доме с архитектурными элементами непонятно торжественного стиля. Вероятно, сталинский ампир, что бы это ни значило. Между двумя высокими дверьми входа в метро помещалась белая женщина со снопом пшеницы над головой, тоже белым: и женщина, и сноп были из камня. Совсем ещё недавно эта станция метро называлась «Ботанический сад». По-видимому, и женщина, и её сноп должны были соответствовать цветущим ботаническим садам с пшеницей. В здании же по левую руку было витринное окно с двумя подсвеченными китайскими вазами. Они словно висели в пустоте, яркие и фосфоресцирующие на фоне чёрного бархата, поглощающего свет. Красные? Может быть. Вазы были невозможно прекрасны. Приближаясь к витрине, я уже начинал на них смотреть. В этот момент чья-то безжалостная рука хватала моё детское сердце. Две ослепительные вазы в чёрном провале витрины казались мне сказочными и волшебными — так же, как светящиеся стеклянные витражи в метро на «Новослободской» и как цветные заставки в моих диафильмах.

Я вырывался из папиной руки и бежал к витрине. Зная, что стекло трогать нельзя, я не протягивал рук к вазам; я впадал в оцепенение. Стоит ли говорить, мне редко удавалось побыть у витрины хотя бы минуту. Почему-то мы всегда опаздывали, хотя это точно была не моя вина. Но я знал наверное: витрина с вазами будет ждать меня вечно.

Прошло много лет, а оба здания на своих местах; просто удивительно. Только отчего-то я не знаю, всё ли ждёт глупого мальчика таинственная витрина с заколдованными вазами. Всё проходит, и всё кончается. Однажды данные обещания со временем теряют силу.

Владимир Ленин, Полина-Пелагея и её сын

Квартира наша была на втором этаже. На третьем этаже, в квартире над нами, жила бабушка Поля — Пелагея Павловна. Она была, собственно, бабушка моей мамы, а для меня прабабушка. Я всё равно её звал баба Поля, да и как ещё мне её было звать? Пелагея Павловна была худа, рука в морщинку и очень мягкая. Когда пили чай, в её животе урчали огромные коты; а баба Поля была невозмутима. На стене висела маленькая старая фотография Ленина в серебристой рамочке — бабушка объясняла, что это Николай Угодник.

Пелагея была древна и помнила много чего. Помнила, как на их кондитерскую фабрику вождь мирового пролетариата приезжал самолично. Не для того, чтобы встретиться с моложавой Пелагеей, узнать её мнение по вопросу помощи фабричным семьям — да и вообще культурно пообщаться. Вовсе нет: Владимир Ильич заявился на фабрику произнести какую-то речь о текущем политическом моменте, который по своей занятости рабочие могли упустить. По рассказу бабушки получалось, что Владимира Ильича на фабрику никто особо не просил. Просто удивительно: сам решил, сам припожаловал — и выступил. Ну и слава богу. Сама Пелагея Павловна в то время в восторге от события отнюдь не была.

А вот я был! Я спрашивал её на все лады о Ленине; и бабушка была очень терпелива со мной. С Лениным, впрочем, тоже. Спокойная была со всеми, с детьми особенно. А что дети, были у неё? Хороший вопрос, были ли у бабушки дети. Отвечаю — да, были, трое; изначально больше, трое выжили. Две девки, Таисия и Валентина; и Лёлик, сын. Скажу сразу: с Лениным из семьи знакома была только Пелагея.

Разные были дети, такие разные. Дочки смирные, а сын бедовый. Таким и вырос, несерьёзным человеком. Судьба Лёлика была полна недомолвок и тайн — особенно для меня, недотёпистого пятилетки. Знаю только, что в один несчастливый для себя день он оказался зимой где-то в Сибири и упал с лошади. Ни травки, ни сена не было, вообще пожевать ничего — снег и дикий мороз. Что делать? Лошадь ушла. Из тайги выбирался к людям сам, пешим ходом; отморозил руки. Левую кисть отняли полностью, на правой остался лишь большой палец. Получил инвалидность, вернулся в Москву, на жилплощадь бабы Поли. Органы дали прописку.

Беспалый дядя Лёля горевать не любил, был оптимистом. На правой руке протез был из пластмассы: недвижная ладонь нежного телесного цвета, четыре пальца все вместе. Используя свой уцелевший большой палец, дядя даже мог пожимать руку — тем, кто обладал соответствующим мужеством. Не всякий станет, знаете, — я лично избегал. А вот протез на левой был с пружиной: она создавала приличное сжатие, позволяя захватывать мелкие предметы. Протез немного напоминал искусственную руку комиссара полиции Жюва[7] — или даже руку самого Фантомаса, которого втайне подозревали роботом. Рукопожатие протеза с пружиной было не вполне человечно: неподготовленный обычно терял присутствие духа. Лёлик же, наоборот, обретал — начинал похохатывать. Говорю же, несерьёзный человек.

Левая рука летом и зимой оставалась в перчатке чёрной кожи. Зимой было вообще непонятно, что человек имеет какой-то дефект. Тогда в Москве было много покалеченных: с пустым рукавом, трехногие — с одной ногой и на костылях; были и безногие на низких тележках — их затаскивали в автобус мужчины. Нечасто, но дядю Лёлю таки привлекали для моей доставки в детский сад, и в транспорте у него случались стычки с кондукторами.

---

[7] Жюв — комический комиссар полиции во французской трилогии фильмов о Фантомасе (1965 г.), злодее в голубой резиновой маске вместо лица. Многие москвичи неправильно читали титры и, обсуждая комедию, называли комиссара Луи де Фюнесом, а имя Жюв полностью игнорировали.

— Эй, сзади! Ты, с мальцом! Билет брать будем? Уже целую остановку проехал.

— Билет? Зачем мне билет? Я инвалид.

— Инвалид? Что-то не вижу. Может, ты на костыле, или руки нет, а?

— Угадал!

— Ну, вижу, что ты за птица. А всё-таки, весельчак, ты своё удостоверениице предъяви.

— А бери: тут, в кармане.

— Что ж тебе, и достать трудно?

— Бери-бери. Я уроню, кто поднимать будет.

Разговоры с кондуктором Лёлика тоже веселили. Все в троллейбусе понимали, с кем имеют дело: несерьёзный человек. Сразу же понимали, без какого-никакого знакомства с человеком, без каких-то разговоров за жизнь в пирожковой или, допустим, рюмочной. Просто ставили на дядю клеймо. Я не понимал зачем; не осознавал, что у многих просто есть такая потребность.

Когда дядя покидал комнатёнку старухи матери, с порога его охватывала свобода: карусель столичной жизни с её опасностями, с её весельем, с её непредсказуемостью. Среди прочих серьёзных людей, озабоченных каждодневными проблемами, жизненными вызовами и мрачным межсезоньем, дядя выделялся непонятной беспечностью. Казалось, он вообще всегда был в хорошем настроении. Невзирая на фантомные боли в отнятых кистях, свою общую перспективу и прочую чепуху. Вы же понимаете, в жизни место не только поэзии и не только прозе. И Лёлик тоже понимал, но по-своему.

Помню, эскортируя меня по морозному снегу, он будоражил моё воображение волшебными планами. О том, что вот-вот должно случиться. Ты погоди, говорил он мне, скоро весна — у меня отрастут новые руки. Вот заживём! Первым делом купим мотоцикл, обязательно: будем с тобой кататься. У незамысловатого меня случалось лёгкое помешательство — руки вырастут, новые. А главное, мотоцикл! Как же я сам не додумался, а Лёлик всё так просто мне объяснил.

— А когда же они уже вырастут? — доверчиво вопрошал я.

— А вот подожди, — мудро щурясь, отвечал дядя, двоюродный дед по материнской линии.

Я щедро делился радостными новостями дома. Радостные новости родителей отчего-то не радовали, родители хмурились. По-видимому, несерьёзный дядя серьёзно выходил за флажки: обсуждал темы, которые с ребёнком обсуждать не полагалось. На деле прекраснодушный Лёлик просто развлекал меня — и развлекался сам. Он не задумывался о всяких неписаных правилах. Да и как он мог читать чужие осторожные мысли.

Время шло к весне, затем к лету; о мотоцикле все, кроме меня, как-то позабыли. В смысле, мои родители — больше-то я никому не рассказывал. И Лёлик тоже не рассказывал; никому, кроме меня. Да и с кем ещё ему было делиться? Кому, кроме глупого внука, Лёлик мог доверить свои полудетские надежды, свои несбыточные мечты? К моему негодованию и горькому горю, новые руки у дяди отчего-то никак не отрастали. А я очень рассчитывал на обещанные катания на мотоцикле. Мы бы проехали через наши дворы, выскочили на Грохольский и, взрёвывая мотором, помчались мимо посольств в красивых особняках. Оттуда из-за тюлевых занавесок на нас глядели бы какие-то девочки с бантами в головах — загадочные и необыкновенные. А если бы они оказались обыкновенными, ничего страшного; так даже лучше, великодушно разрешал юный повеса. Удивительно, как много идей может уместиться в голове обычного дошкольника.

Но оно было уже здесь, время расставания с иллюзиями. Время потихоньку подступало всё ближе и уже брало мою детскую пухлую руку в свою, жёсткую и настоящую. И с этим ничего нельзя было поделать — время может быть неумолимым. Лучше всех это понимал Ленин, так многим тогда

казалось. Во времена перемен, равно как и во времена политического безвременья, люди обращались к Ленину. Это ли и есть то, что он хотел построить? Об этом ли мечтал кремлёвский мечтатель? Исстари повелось: люди доверяли меньше самим себе, чем кому-то, — слишком хорошо знали себе цену, разуверились. Всегда надёжнее спросить кого-то наверху. Вождь пролетариата лишь мудро щурился, не давая ответа. И что ему было отвечать, какую правду?

А люди смотрели на фотографию упокоившегося вождя мирового пролетариата — и ждали, ждали. Каких-то шестьдесят лет назад их деды так же вглядывались в лик Николая Угодника.

Дворовая жизнь

Во дворах шла своя дворовая жизнь. Шла себе и шла. Ход жизни может быть незаметен, как течение времени. Эту жизнь не замечали ни мама, ни папа; возможно, они замечали многое другое, чего не замечали мы, дворовые дети. Мама и папа каждое утро уходили на работу, каждый на свою. Мама уходила в семь утра, а я залезал на широкий подоконник и смотрел на её удаляющуюся фигурку в светлом плаще. Она проходила по дорожке мимо котельной, и здесь я её терял из виду. Ей было на Кутузовский: почти целый час в транспорте утреннего часа пик. Мама уходила рано из-за меня — чтобы быть дома к четырём. Папа уходил около восьми, ему было на Сокол. Куда-то меня вести или даже отвозить, это на нём — если нет кого-то помочь с моей доставкой. Обычно никого не находилось.

По теперешним меркам, двор наш был довольно зелен: тут кустики, там полуживая травка с цветочками. А ещё в нашем дворе, в самом сердце Родины, мама собирала шампиньоны. Она всегда любила собирать грибы. Как говорится, был бы грибник, а уж грибы найдутся. Если бы маме разрешили, она, возможно, искала бы грибов в Александровском саду и вокруг мавзолея — шуровала бы палкой вокруг кустов под листьями.

Во дворе перед нашими домами была миниатюрная рощица, где тоненькие деревца пытались выжить среди городских джунглей. С незапамятных времён там поселилась грибница, после периода тёплых летних недель она начинала плодоносить. Кто знает, каким ветром её занесло в наши края. Вероятно, столетия назад на месте нашего двора шумели дубравы, рыскал дикий зверь и пробирался охотник-собиратель. Наша семья тогда ещё в этом месте не проживала; а вот грибы могли, и очень просто. Много чего водилось в нашей роще. Там же вечерней порой собирались усталые работяги — поговорить, посмеяться над своим горем и отпраздновать окончание трудового дня. По утрам бабушки с авоськами что-то подбирали среди деревьев. Судя по звукам, вовсе не шампиньоны.

Мальчики постарше уважали крыши. По крышам можно было пробираться через соседние дворы: и быстрее, и, главное, безопасней. Пробираться же соседними дворами пешком очень не рекомендовалось, даже маленьким безобидным мальчикам. Это считалось даже более рискованно, чем пересекать без взрослых проспект Мира или Садовое кольцо — невзирая на оживлённое движение транспорта. Старшие мальчики понемногу привлекали и меня к крышам.

Зимой с крыш можно было прыгать в сугробы. То есть прыгать, разумеется, строго запрещалось — и я об этом смутно догадывался. А ещё о том, что родителям лучше не рассказывать, какие снежные забавы занимают дворовых ребятишек. Скажу так: не хочешь неприятностей, поменьше откровенничай с родителями — в особенности о крышах. Родители люди занятые, и вникать в обстоятельства им, как говорится, недосуг; если пошло не туда, бывает так, что исправлять уже поздно, вы же понимаете. Так что напрыгались, отряхнулись, и молчок: я вам вообще-то добра желаю. А вот ещё что: если придёт в голову прыгать с крыш, обязательно делайте это

зимой. Имейте в виду, снега в том месте, куда вы планируете приземлиться или. точнее, совершить мягкую посадку, должно быть определённое количество . Причём даже если куча снега и выглядит большой и надёжной, хорошо бы проверить, нет ли в её нутре чего лишнего, что может помешать безопасной посадке летящего субъекта. А то всяко, знаете, бывает. Раз один у нас приземлился в припорошенную снегом кучу тары из-под помидор — не вывезли осенью из-за разгильдяйства. Хорошо, что прыгал на попу, а не ласточкой, как грозился.

После снежных забав меня отряхивали на лестнице веничком: сначала спереди, потом сзади. Я только поворачивался и поднимал руки по команде. Кто хотел, тот и отряхивал: папа, Татьяна Андревна или кто был на кухне, я не возражал. А иногда даже выводили на улицу, чтоб тряхнуть пальто как следует, а не шаляй-валяй. Всегда удивлялись, откуда на мальчике столько снега и где он так увозился.

Институт Склифосовского и лечение собак

Как я говорил, наш двор граничил с институтом Склифосовского, Склифом[8], — его территория начиналась прямо за кованой чугунной оградой. Ландшафт парковой части института у наших домов был слабохолмистый, местами даже рощеобразный. Зимой это было снежное царство со свисающими с веток клоками белого снега. Как в школьном стихе — пришла, рассыпалась клоками. Мы, дети, как-то могли проникать с лыжами на эту территорию и даже прокладывали там лыжню меж деревьев, так что местному персоналу, в сущности, было не о чем беспокоиться.

Институт Склифосовского не всегда был им; а был же он ранее гошпиталем, основанным графом Шереметевым, внуком фельдмаршала. Госпиталь изначально нарекли Странноприимным домом, имели на то серьёзные основания. Потом его именовали Шереметевской больницей; а уж после — сами знаете как. При возведении Странноприимному дому были приданы и величественность, и монументальность; и оба качества пережили его первую трансформацию, переименование в институт Неотложной скорой помощи. Потом пришли иные времена; обновления, починки — ничто ведь не вечно, ни сараи, ни заборы. Воздвигали и новые корпуса, когда дальнейшие улучшения в современную медицину не могли более ждать. Тогда величественность и монументальность архитектуры понесли урон. Впрочем, лучшее всегда враг хорошего, особенно когда хорошее ни о чём плохом не подозревает. Всё случилось, когда мы уже оттуда съехали. До того, как уехать, я тоже ни о чём не подозревал — жил своей жизнью. Да и не только я; все жили своей жизнью, весь двор.

В институте Склифосовского своя жизнь тоже шла — своим ходом; там оказывали неотложную медицинскую помощь всем несчастным, нуждающимся в неотложной помощи. Так, в конце концов, и задумывал граф-основатель. Эту медицинскую помощь, понятное дело, оказывали с различной степенью успешности. К прискорбию, неотложная помощь помогала отнюдь не всем; но таковы суровые реалии. Ещё в Склифе зачем-то лечили собак, оказывали и им неотложную помощь. Может, этого и не стоило делать; но, как бывает, спросить теперь не с кого. Зады института выходили на плохо освещённый Грохольский переулок. На территории Склифа убираемый снег откидывался прямо на изгородь. Проходя вдоль ограды, я иной раз удивлялся, как много в этом году снега — особенно за их забором. В кучах снега иногда виднелись лохматые собачьи головы, безучастные уже

---

[8] Так его называли коренные жители. Наверно, не очень уважительно, но такова жизнь: от величественного Странноприимного гошпиталя к институту Склифосовского, Склифу. Москвичи любили упрощать.

ко всему. Кто знает, может быть, именно в этих сугробах нашли своё пристанище собаки-космонавты Белка, Стрелка, Уголёк и прочие знаменитости. Может быть, даже собака Павлова, прародительница учения об условных рефлексах, — думал глупый мальчик, не догадываясь, что все члены стаи собак Павлова были своевременно утилизированы в Санкт-Петербурге, где они проживали и лечились у знаменитого русского физиолога. В Склифе же лечились и в дальнейшем утилизировались исключительно местные московские собаки. Кстати сказать, в те времена обосноваться в столице было непросто; да и сейчас непросто, особенно если туго с деньгами. Как и у многих в те нелёгкие времена, у собак с деньгами было не то чтобы совсем свободно. А что до собак-космонавтов, они утилизировались исключительно по месту своего трудоустройства — в институте авиационной и космической медицины. А самые известные, наши знаменитые Белка со Стрелкой, тут совсем другая история: их подвергли таксидермической процедуре и выставили в фойе института во славу их бессмертного подвига. O tempora, o mores[9]. Что говорить, нравы тогда соответствовали временам. Да и теперь не отстают.

Дорожки на территории Склифа расчищал от снега мрачный мужик; вечером, а то и всю ночь, если метель. И обязательно ранним утром. Ещё темно, как ночью, и институт замер в утренней дрёме — вместе со всеми находящимися на излечении. Особенно крепок сон у нянечек и дежурных врачей. Уж брезжит слабый свет: новый день, скоро забегают санитары, студенты и дежурные с котлами, мешками и непонятными отходами. Дворник торопится, метёт уже начисто.

Весёлым солнечным деньком по расчищенным дорожкам санитары, ординаторы и практиканты в белых халатах и колпаках бодро катят длинные каталки, направляясь от загадочного анатомического театра к приземистому зданию с высокой кирпичной трубой — крематорию. На каталках под белым покрывалом лежит нечто продолговатое. Иногда озорной февральский ветер отворачивает край материи над застывшей нечеловеческой головой. В другой раз с каталки свешивается чья-то непослушная рука, совсем голая. Несмотря на мороз, те, кого везут, не ощущают холода. Им комфортно и так, их путь на последние процедуры.

Бывало по-разному, и иногда санитары попадали в разбойничью засаду, организованную бандой Султана, непутёвого старшего сына дворничихи, отбившегося от рук. Тогда снежки и куски льдышек летели по высокой дуге через чугунный забор. Санитаров было обычно не больше двух; от того, кто в каталке, пользы не было никакой. Расклад получался не в пользу ни работников Склифа, ни его человекообразных пациентов, хотя бы и бывших. Мне отмщенье, Аз воздам. В такие дни возмездие настигало мучителей собак Павлова и прочих жертв пытливой медицины. Но воздаяние и расплата всегда лишь в назидание грядущим поколениям — в отрицание забвения о совершённом зле. Жертвы же никогда не узнают об отмщении; но если б они и догадывались, что им теперь до него?

В какой-то год у Султана завелось духовое ружьё — такое, как в тире. Ружьё, к сожалению, тоже использовалось в территориальных разборках с санитарами. Султан вовсе не был Робин Гудом, защитником слабых и оскорблённых. Непутёвый сын дворничихи совсем заплутал на своём жизненном пути, и его бедовые друганы заплутали с ним вместе. Пожилые люди у нашего подъезда говорили, что Султану пора в армию, чтобы она, армия, как следует вправила там ему мозги. Были и такие, кто полагал, что мозги Султану вправить уже никто не сможет; и что кривая Султанова дорожка скоро приведёт его совсем в другое место.

Я не понимал, о чём они все рассуждают, поэтому избегал этих разговоров.

---

[9] O tempora, o mores! (лат.) — О времена, о нравы!

Школа 268: завтраки, пенал, дневник и отбор в гимнастику

В самом конце моей шестилетней эпопеи я наконец совершил то, что ожидается от каждого ребёнка — вне зависимости от способностей, таланта и двора проживания: поступил в школу. Наверно, «поступил» не совсем точное слово. Так же, как говорить «В восемнадцать лет я поступил в армию» не вполне принято. Но всё так и было: именно тогда я начал свою учёбу, которая завела меня. Вы тут меня извините — я не уверен, куда именно меня завела моя учёба. Поэтому я и поставил точку в середине предложения вместо его конца. Да, да; в конце концов, мы все учились понемногу. Полагаю, учёба завела меня туда, куда и многих, — в эту пёструю компанию: и поучившихся, и обучившихся, и наобучавшихся. Так или иначе в школу брали всех — и тех, кто умел читать-писать, и тех, кто обо всём этом даже и не слыхал и ничего такого для себя не планировал. Вот и меня взяли; начало было положено.

У школы был курьёзный номер: если сложить его две первые цифры, получалась последняя. Папа объяснил, что так делают для простоты — детям сложно запомнить трёхзначную цифру, а здесь можно знать только две первые. Идея вступала в противоречие с бритвой Оккама: она казалась более сложной, чем изначальная задача запомнить трёхзначный номер. Но я отдавал должное папиной мысли. Кстати, о бритве Оккама я тогда не догадывался. Вообще до эпохи интернета большинство людей было так или иначе отрезано как бритвой — и от бритвы Оккама, и от прочей жизненно необходимой информации, а потом-то уже все мы ой-ой как развились; ну, или почти все.

Школа мне нравилась. Во-первых, у нас был там завтрак — по-моему, после первого урока. Каша манная или пшённая и в середине тарелки жёлтое озерцо из растаявшего сливочного масла. Ещё какао — обязательно кипячёное и с пенкой. Кипячение, конечно, придавало специфический запах. Тем не менее против завтрака я никак не возражал. Был, кстати, и какой-то предобеденный перекус: ряженка с пышкой. Пышка была не очень интересная, без ничего в серединке; просто малобюджетная скромная пышка. Почему-то этот перекус называли полдником, как в восемнадцатом веке. Потом-то уже, в пионерском лагере, полдники нам давали в четыре часа.

Время летело вперёд сломя голову, перепутывая всё что можно. Всё смешалось — почти как в доме Облонских. Вспомним перемену наших парадной и чёрной лестниц, случившуюся в суматохе и неразберихе построения нового мира в государстве рабочих и крестьян. Кто не забыл, праздник революции после Великой Октябрьской сам как-то тоже перекувырнулся и потом был в уже ноябре. Вождь же революции ещё грозился, что даст порулить кухарке: как знать, может, был кто-то на примете. Как-то не дошло до этого, хорошо ли, плохо ли; покамест порулить дали простому налётчику. А он что, так себе и рулил, пока не умер. И дела шли — своим порядком.

У меня появились школьные принадлежности. Деревянный пенал с ручкой, простым и сине-красным карандашами. Очень удобно, хочешь, красным, хочешь — синим. У всей страны такие карандаши были: у конструкторов, у рабочих, у крестьян, у поэта С. Михалкова и даже у товарища Сталина. У Сталина был, наверно, какой-то особенный карандаш, и Михалков попросил отдать ему. Вождь не смог отказать, отдал; а потом дал ещё дачу и автомобиль — надо быть последовательным, раз решил одарить. Ещё в моём пенале имелась указка для чтения, чтоб водить по строчкам не пальцем, а этой специальной указкой — согласно инструкциям роно. Видимо, там полагали, что указка какая-никакая всё будет чище, чем палец среднего школьника. Сам же пенал, даже пустой, был тяжёл и в опытных руках мог служить оружием. То же и линейка — ей опытные мальчики ловко били с оттяжкой по пальцам неопытных мальчиков. У меня были всякие обычные аксессуары типа тетрадок-учебников. К шестьдесят шестому году РОНО расстаралось и завалило

потрясённых родителей горами учебных пособий. Бабушки у подъезда, что грамотные, что нет, не одобряли нововведений. Многие родители, подозреваю, тоже не одобряли, но вели себя политкорректно — по крайней мере, те из них, кто понимал политкорректность. Тетрадки в течение года у нас были разные: менялись по мере усложнения крючков, которые мы в них конспектировали. При всём при том школьные принадлежности без труда умещались в моём школьном ранце, даже болтались там туда-сюда, если бежать.

Появился и дневник; но не сразу, а спустя время. Пришлось подождать, но, верьте мне, оно того стоило. Дневником я тихонько гордился — вернее, не дневником, а статусом ученика, который не просто так, а уже с дневником. В нём появлялись отметки с подписью классной учительницы Воронцовой. Отметки были иногда красного цвета, иногда синего, видимо, по учительскому вдохновению. На полях дневника тоже стали появляться записи, которых становилось всё больше.

«Укусил Липкина. Воронцова».

«Дрался пеналом. Воронцова».

И наконец загадочное: «Прошу научить вашего сына хорошим песням», без подписи. Будто бы и не она писала. Будто бы песни, которые она подслушала, могли быть нехорошими. Нам говорили, что записи для родителей, поэтому нам открывать дневник вообще не нужно. Поэтому я на все эти записи внимания не обращал и, когда мама просила объяснить, всегда удивлялся.

Воронцова посылала сообщения в один конец; послания, на которые не было ответа. Она подразумевала, что дневник откроют именно мои родители, но судите сами. Его мог открыть кто угодно. Допустим, дневник выпал из портфеля в ходе неравной битвы за гаражами, или выскользнул в магазине «Овощи-Фрукты», или его вытащила себе на беду неосторожная ворона, или взял какой-то хороший человек из простого человеческого любопытства. Как полагаете, что они подумают обо мне, прочитав образцы учительского эпистолярного творчества? Меня занимал этот вопрос — за много лет до того, как я познакомился с рассказом о другом мальчике, Ваньке, писавшем деду в письме о своих школьных злоключениях. К кому обращалась Воронцова? Получатель указан не был. Уже позднее, с восьмидесятых, учёные так общались с космосом. Космос привык к подобному обращению за миллиарды лет своей жизни. Как только возникала цивилизация, в какой-то момент она о себе возомнит и начнёт слать сигналы на деревню дедушке. Но Воронцова была ответственный специалист, учитель с немалым стажем. Я пребывал в диссонансе; отдавая должное и её учительскому опыту, и опыту наработок в коммуникации, я всё же не понимал.

Среди прочего в нашей школе имелся спортивный зал. Помню какое-то построение, когда из нас выбирали кандидатов в спортивную гимнастику, — меня не отобрали. Я не подошёл по совокупности причин; каких, совершенно непонятно. Я, впрочем, не переживал и не беспокоился, скорее чувствовал облегчение: у меня в то время было достаточно других забот. Забот было, безусловно, достаточно и у папы; однако нельзя сказать, что он не беспокоился, — он был возмущён. «Ну, они хоть сказали причину, почему ты не годишься?» — снова и снова вопрошал он. Папа был прямо как маленький.

Конечно же, нет! Отбирающие не имели возможности входить в обстоятельства и изыскивать деликатные способы объясниться с ребёнком. На деле-то всё у них было просто: не тот рост, лишний вес, позвоночник, ключицы, кривые ноги, вот это всё. А непросто было как раз мне, ребёнку, — с папой как ребёнком. Как растолкуешь? Допустим, я скажу правду: нет, нам не объяснили; а папа спросит, а почему не объяснили,— и что? Я не освоил ещё мастерство риторики, за папой угнаться я был не в силах. Но я понимал, он был расстроен: годность для гимнастики оказалась вне соответствия сына — меня. Папа сам когда-то был в спортивной гимнастике и искренне

полагал, что туда, как в космонавты, отбирают лучших. Поэтому, делал самоочевидный вывод папа, меня выбрать были просто обязаны. Кроме того, по всем вопросам спортивной гимнастики он полагал себя экспертом, по крайней мере не хуже тех, кто посмел перекрыть вход в гимнастику его сыну. Мама же к моей выбраковке отнеслась спокойно; может быть, даже с облегчением. Интуитивно она чувствовала то же, что и я.

Здание школы ранее было Домом слепых; а потом стало уже школой. Отчего слепым не понравилось в нашей школе и почему они ушли? Лично у меня против здания возражений не было; и расположение удобное — для меня, конечно, не для любого слепого. Всякое могло быть, время было сложное — почти как теперь. Может быть, слепым не выдавали завтрака, гадал я; может, наоборот, полдника. Вероятно, экономили на безответных — не такая уж редкость даже в наши дни. Как было на самом деле, каковы были истинные причины исхода слепых?

Этот вопрос беспокоил и даже немножко терзал меня, особенно когда я вспоминал обо всём этом.

О моём почерке

С поступлением в школу родители отчего-то озаботились почерком, которого в то времени у меня, в сущности, ещё не было. Почерк, почерк… Откуда он вообще взялся, какое кому дело до детского почерка, который (почерк же, подчеркнём, не сам ребёнок) пока в предэмбриональном состоянии? Взять врачей: все знают, какой у них почерк. Пытались в своей медкарте прочитать, что там о вас эти айболиты понаписали? Там, дорогие мои, вообще неясно, из какого такого премудрого Востока пришла сия грамота и, главное, зачем, — вот к чему ведёт увлечение латынью и прочей дуремарщиной.

— Начинается с малого, — предупреждали на первом родительском сходе в конце августа. — Сначала плохой почерк, потом плохие отметки, прогулы, приводы в милицию — и тюрьма, дорогие мои; так-то.

Женщины начали вытаскивать платочки.

— Впрочем, это в экстремальных случаях, это не про хороших детей. Просто с языка сорвалось, привычка, — неумело успокаивали взволнованную публику.

Дело было на предварительном собрании класса; руководила собранием невнятная школьная администрация в лице то ли завхоза, то ли рабочего школьной столовой с татуировкой на руке. Также присутствовали представители руководства района и работник структур, то и дело окидывающий толпу цепким профессиональным взором. Компания эта вообще-то больше напоминала банду Махно в гражданском; в крайнем случае, известную троицу, Бывалый, Трус и Балбес — последний в роли Никулина.

— Не нужно волноваться, дорогие мои, — увещевал завхоз, нервно подтягивая рукав пиджака на татуировку. — Просто нужно следить, чтобы жизнь ребёнка не пошла раньше времени по кривой дорожке. Помните, как папа Карло старался, чтоб собрать Буратино в школу? И чем дело кончилось, где он оказался?

В тюрьме, что ли, гадали родители, в принципе знавшие о Буратино, но нетвёрдо, на троечку. Отсюда почерк, делался непонятный вывод. То, что ребёнку не надо по кривой дорожке, было более-менее ясно всем. Учительница будущего класса отчего-то не присутствовала, наверно, догуливала последние деньки перед началом учебного года. Но в учительнице никакой необходимости и не было: в вопросах становления почерка настоящими экспертами, очевидно, были представители администрации и района — не говоря уже про работника структур.

И вот Первое сентября, мой первый день знакомства со школьной жизнью. Новая жизнь несколько шокировала: я вдруг осознал, что как раньше

больше не будет. Прощай, вольная жизнь, дворовые друзья, соседи и клопы! Все живут в стрессе, и детям придётся — в том числе и нежному мне. Тем же вечером состоялось незапланированное родительское собрание класса, уже настоящее. Родители должны осознать важность учебного процесса и понять в нём свою роль. Махновцев в этот раз не было; собрала всех руководитель нашего класса, товарищ Воронцова, строгая женщина в костюме учительницы. Неожиданно разговор снова свернул на почерк. Родители узнали новые критически важные детали.

— Самое главное — это ровная, сбалансированная посадка. Ни в коем случае нельзя сутулиться, и горбиться тоже нельзя. Также запрещается откидываться назад. Правильный нажим пера возможен только при нужном наклоне тетради и поверхности стола.

Кто бы мог подумать! Нажиму уделялось исключительное внимание.

— Без правильного нажима хорошего почерка не получится; на почерк же сейчас обращают большое внимание. Вы знаете, какова сейчас международная обстановка, — напомнила товарищ Воронцова.

Родители встрепенулись, даже те, которые вовсе не помышляли дремать или думать о своём.

— Поймите: это ваш ребёнок, его будущее. Ему ведь скоро идти в армию, что там скажут.

Родители удивились, что в армию так скоро; при этом также осознали всю серьёзность своего положения.

И международная обстановка, и даже армия привлекались для борьбы с будущими изъянами неустоявшегося детского почерка. Государство бросало все свои ресурсы и уделяло невероятное рвение именно в этом вопросе. Какой, заметим, контраст с современными реалиями! Большинство людей, кого я знаю сейчас, имеют почерк орангутана. И ничего, не печалятся. Нет, совсем не то, что вы подумали, — многие из них работники умственного труда, некоторые даже в профессорском статусе. Правда, есть пара врачей.

— Исправлять почерк это вам не фунт изюму, — так резюмировала учитель Воронцова, руководитель моего класса.

Мама запугалась, а я нет. Чего бояться — даже смешно, полагал я. Изюм к тому же я уважал; даже если с косточками. Тем не менее мне купили парту — чтобы я дома мог правильно делать уроки и уделять внимание нажиму пера. Чтобы спасти от кривой дорожки мой будущий почерк, как только он появится. За этой партой я делал свои прописи — вписывал всякие крючки и буквы в положенные наклонные клеточки — в тетрадях для прописей. В других тетрадях, с прямыми клетками, я вписывал арабские цифры. Я представлял бедуинов, замотанных в толстые платки. Длинными ночами бедуины жгли костры и смотрели в звёздное чёрное небо холодной пустыни — и космос являл им арабские цифры одну за другой. Увы! До учёных бедуинов с прекрасными арабскими цифрами мне было так же далеко, как арабской пустыне было далеко до льдов Антарктиды. Мои крючки, выводимые неуверенной рукой, отражали неуверенность, и дрожание пальцев передавалось на бумагу. Прошло немало времени, в течение которого я осознал: надо смотреть правде в лицо, а не отворачиваться, как я пытался. Я самоуверился, что почерк, хоть и совсем испорченный, мне не светит.

Вы знаете, я ошибся. Люди ошибаются, даже дети могут совершать ошибки. Почерк у меня каким-то образом возник. Достаточно смешной, я его даже и не заметил; я и за почерк его не считал. И мама не обратила внимания. А учительница обратила — и сказала маме, что почерк хороший, — наверняка и домашняя парта у вашего сына хорошая. Видите, как бывает: если человека запугать сверх меры, он может пропустить такую важную веху в сыновьем обучении, как появление почерка. Так что почерк появился в нужный срок; и даже был он спасён от всевозможных напастей — как реальных, так и воображаемых. Как, впрочем, и у остальных детей — даже тех, у кого в домашнем обиходе парты не оказалось.

Учитель Воронцова оказалась права: именно за почерк отметки у меня были хорошие. Я имею в виду чистописание; да и по другим предметам тоже неплохие. Иногда, впрочем, разные: в жизни всё бывает.

Моя и папина диссертации; груз надежд

К слову сказать, почерк может оказаться критичным в неожиданных предприятиях — например, в написании диссертации, к которому я тогда как раз приступал. Сейчас расскажу, как было.

В те тревожные времена формирования моего почерка папа тоже был встревожен: он готовился к защите диссертации. Вечерами мы немного занимались диссертационной работой — приходится заниматься, если не хочешь на защите неожиданностей. Папа печатал на машинке обзоры, делал расчёты и выкладки. Для вычислений он использовал логарифмическую линейку — дома под рукой больше ничего не было. Иногда по рассеянности он не мог её найти; я охотно предлагал свою. Хоть и не такая толстая, моя линейка была легче и удобнее в обращении. На работе же для вычислений папа использовал ЭВМ, так тогда многие делали, кому надо было что-нибудь вычислять. Папа там транспонировал какие-то матрицы[10], причём делал это всё в машинном коде. Сейчас транспонирование матриц в машинном коде не принято — это всё равно что на мамонте перепахивать огород. Знаете, первопроходцам всегда тяжелее; а мы с папой как раз и были первопроходцы. Особенно папа; а кто ещё, не мамонт же.

В дальнейшем, чтобы облегчить непростую жизнь первопроходцев и всех прочих, начали использовать трансляторы, переводчики с языков программирования в машинный код — специальные команды для компьютера на языке, который он лучше всего понимает своим ящерным мозгом и вообще-то предпочитает всем другим опциям. Но люди не обращали внимания на нужды несознательного железа. Люди упорно отрицали машинный код, отдавая предпочтение именно языкам программирования. В каких-то языках столь необходимое папе транспонирование теперь вызывается значком «.T», в других штрихом и т.д. И отпадает необходимость городить огород и иметь дело с мамонтами. Потихоньку многое сделалось проще — спасибо программистам, которых нынче развелось сами знаете сколько.

Папа чрезвычайно беспокоился о своих матрицах и всё время со мной советовался. Советы я давал, используя тактику Винни Пуха: говорил мало, невнятно и всё разное.

— Да-да, нет-нет; конечно же; ни в коем случае; да что вы говорите; я и сам удивляюсь.

Матрицы мне тогда представлялись большими, как дома с окошками; и они были на маленьких ножках, а когда ходили, могли легко переворачиваться[11] в любую сторону. Иногда я удивлял папу своей детской проницательностью; чаще удивлял по другой причине. Своей проницательности я доверял не слишком и на деле продолжал беспокоиться. В особенности я волновался, что могу дать неправильный совет в отношении переворотов, которые испортят изначально хорошую матрицу — и тогда всё пойдёт совсем не туда. Я всё-таки ещё был мал и не очень разбирался в этих вопросах. Вдруг, опасался я, вся папина работа рухнет — кто окажется виноват? Что тогда с диссертацией? Я осознавал, что лучше бы иметь резервный вариант — на чёрный день. Брал исписанные листы, а на обратной стороне писал

---

[10] Матрица — это таблица из чисел подобно черно-белой цифровой фотографии. Если фотография в цвете, то матрица трёхмерная.

[11] Матрицы действительно можно перевёртывать как хочешь. Можно через угол, а можно через диагональ, как папа. Когда через диагональ, это и есть транспонирование. А вот ножек на самом деле у матриц пока нет, как это ни печально.

свою «диссертацию»: всякую белиберду, если говорить откровенно. Писал за своей партой: мерзким почерком земского врача, мелко и неразборчиво, с нервными выплесками вверх и вниз и с красивыми загогулинами, смысла которых я откровенно не понимал — и никто не понимал. За исключением крупной соседки Татьяны Андревны: она как-то увидела наши с папой занятия и всё поняла. Татьяне Андревне мои загогулины полюбились, и она первой в квартире обозначила мой талант:

— Пишет мальчик диссертацию, как папа. Будет учёный.

Будет ли? В конце концов, что получится из мальчика, сказать невозможно, ведь правда? Да и есть ли в белом свете такой мальчик, на кого не возлагали груза неоправданных надежд.

Моя доставка в школу; использование Дрона

Поступить в школу было просто: пришёл, и готово. Даже экзамен никакой не требовался.

Главная же проблема оказалась в регулярной доставке меня туда по утрам. Кто мог подумать! Ходу было максимум десять минут, но нужно пересечь проспект Мира, а там движение — в каждом направлении целых две полосы. Светофор был; также имелся островок безопасности, где гражданин с крепкими нервами мог в относительной безопасности переждать красный свет. Скорости у машин были не те, что сегодня; но понятно, в общем. Считалось очень-очень ужасно опасным мальчику в одиночку пересекать проспект на этом именно светофоре. Даже наша дворничиха беспокоилась в моём отношении.

Был нужен сопровождающий, а где его взять? Родители сбились с ног. Большие надежды неоправданно возлагались на алкоголика дядю Лёлю. К тому времени я как-то повзрослел, а Лёлик наоборот: постарел, сдал и понизился рангом. Однажды я видел, как баба Поля мыла сына. Худой Лёлик согбенно восседал в небольшом корыте, а старая мать тёрла ему мочалкой спину. Меня тоже когда-то мыли в корыте; но тогда я был мал, много меньше Лёлика. В нашем доме все в основном ходили в баню; и я тоже — но не сам, а с папой, в мужское отделение. Я не знал, ходил ли в баню Лёлик — и мог ли он сам? Бабушку Полю могли ведь и не пустить с сыном в мужское отделение. Что же, ему всегда мыться в корыте? Лёлик вообще становился менее надёжен; более занят. Мне казалось, он стал больше уставать. Папа говорил маме в другой комнате, что Лёлик взялся за старое, и всё больше. Это было непонятно.

Какое-то время меня водил в школу семиклассник Сашка Дронов. Я с Сашкой дружил с раннего детства — сколько себя помню. Когда я был ещё более юн, мы играли с ним в водолаза. Мне было четыре, а Дрону уже десять. В детстве разница в возрасте играет гораздо большую роль. У нас получалось, словно я только учусь писать, а Дрон уже конспектирует классиков в Ленинской библиотеке. Во всяком случае про водолазов он уже знал достаточно много, и я мог на него полагаться. Дрон обматывал меня за пояс цепью, которую пропускал через ролик на потолке в коридоре. Водолаз отправлялся в подводные похождения, посещая все комнаты в квартире, радуя жильцов, закосневших в своей рутине. В особенности радовались водолазу продавщица тётя Рая и её муж: без водолаза, очевидно, им жилось скучновато. Иногда мужа на место не было, и тётя Рая просила меня его разыскать. Я отважно пускался на поиски пропавшего и всегда находил его за дверью туалета, откуда тот охотно вступал в переговоры по радиосвязи, но свой люк отчего-то не открывал. Сам Сашка Дрон оставался в контакте на другом конце провода и мог вытянуть водолаза, если опасность или что-то ещё. В наши комнаты я заходить избегал, чтобы никого не раздражать; мама не любила водолазных приключений. Подводник понимал, когда опасность и ни к чему высовываться на поверхность.

Водолазные забавы остались в прошлом. Дрон повзрослел и был уже семиклассник. Мне это льстило — и я раздувался как пузырь, шествуя с семиклассником в школу. Однако у второгодника Дрона бывали всякие неудобства и накладки. К тому же у него было проблемное расписание — даже более сложное, чем у папы[12], представьте себе. По каким-то дням, как хотите верьте, у Дрона вообще не было занятий в школе. Татьяна Андревна беспокоилась, она не понимала расписания сына. Её занятой сын тоже не вполне понимал своё расписание, но удивительным образом не беспокоился. У некоторых людей так проявляется врождённая рассеянность; и такое бывает часто у одарённых людей. С моей доставкой в школу Дрон старался, как мог, — подходил ответственно к поставленной задаче.

Моя первая студийная звукозапись

Во втором классе у нас началось пение. Школьный учитель на уроке наигрывал на рояле мелодию, а мы должны были петь: под музыку громко говорить слова песни, почти как взрослые певцы на радио. Учитель требовал, чтоб все твёрдо знали слова. А главное, чтобы наше коллективное исполнение было с эмоциями и с выражением, — и я старался.

Пение. Как я любил его! Было много героических песен, вызывавших сильные чувства — слёзы в первую очередь. И слёзы, и чувства я вызывал не у кого-то постороннего, а в основном у себя самого. Особенно было жалко погибавшего в степях под Херсоном, в тамошних высоких травах, Железняка, матроса и одновременно партизана. Можно сказать, это была моя самая любимая песня. Слеза выходила из меня буквально с первыми словами «В степи под Херсоном высокие травы…» Иногда эмоции переполняли меня до такой степени, что я вынужденно откладывал дальнейшее исполнение. Я уже знал, что дальше: отряд попадает в засаду и Железняк гибнет в бою; а перед своей смертью он, как Тарас Бульба, направляет бойцов в прорыв, в штыковую атаку. Железняк был мокрый от пролитой крови, а я от пролитых слёз.

Неконтролируемые эмоции в основном случались, когда я репетировал дома. Тогда я сопереживал герою и давал волю чувству. В классе же я демонстрировал исполнительский профессионализм и держал себя в руках. Важно было именно начать и углубиться в ткань повествования героической баллады. Дальше моё внимание отвлекали профессиональные детали: тут усилить голосом, там принизить громкость или продекламировать. Моё исполнение мне нравилось, и я надеялся, что оно нравится не только мне самому.

У соседа Сашки Дрона примерно в это же время завёлся магнитофон — Рита привезла откуда-то, я не вник, из какой страны. А может, оторвала в центре у спекулянтов или других добрых людей возле магазина. Через стенку Дрон слышал мою репетицию, как я кричал про Железняка — с чувством, переживая, как всегда, за матроса. Сашка похмыкал и сказал, что голос у меня сильный; и что он может записать меня на плёнку, чтобы уже все могли меня послушать и таким образом приобщиться к песне. При этом для убедительности обвёл рукой, изображая охват моей потенциальной аудитории. Дрон не сомневался, что соседям будет интересно. Если я хочу, конечно.

Я подвоха не учуял, сказал, что согласен. Дрон тоже не учуял подвоха, хоть и мог бы. Заходи, сказал он. Располагайся, входи в образ; дай только знать, когда включать запись. Я же, как назло, в свой несложный сценический образ внедриться всё не мог: обстановка незнакомая, волнение, посто-

---

[12] Папа к тому времени защитил диссертацию и помимо работы ходил много куда: на научные семинары в различных институтах, к соавторам совещаться о статьях; а по пути домой за кофе и чаем в центре на Мясницкой; за овощами у входа во двор; а ещё за вином или сыром, в крайнем случае — в книжный.

ронние. Дрон меня понял и сказал: хорошо. Ты вот что, ты не спеши; давай осваивайся. Будешь готов, пой. А у меня тут свои дела, — и ушёл из комнаты по своим таинственным делам; в туалет, что ли. Уходя, поставил на запись и оставил меня томиться — наедине с магнитофоном и моими творческими муками. Я и томился: было страшно.

Микрофон тихонько потрескивал. Я осознавал, как непросто выступать взрослым певцам на радио, в незнакомой студии. Им было почти так же трудно, как мне сейчас. Петь или не петь? — не мог решиться я. И вдруг дерзнул: отважился и бросился в музыкальную пучину, взяв первую ноту. «В степи под Херсон…» — выкрикнул я решительно, но тут моя отвага предательски испарилась. Я даже не закончил слова, обычно выбивающего первую слезу. На меня навалилось подозрение, тут же превратившееся в уверенность: это западня! Всё затеялось с тем, чтобы надо мной посмеяться, — да, да! Это не мой пробуждающийся талант и не мой сильный голос, как льстиво заверял подлый Дрон. Все мои мысли скомпоновались в мгновенный квант. Пара секунд или меньше — такова была моя микропауза. Я тут же завершил выступление, поставив победную точку — которую родители вряд ли бы одобрили. Вся моя первая звукозапись уместилась в импровизированную героико-трагическую музыкальную фразу: «В степи под Херсон… Сашка дурак!»

Я выскочил из комнаты и бросился к себе. Через стенку я слышал, как Дрон прошествовал в комнату. Тишина; видимо, перематывает. А вот мой голос — действительно громкий. А вот и победный «Дурак!» Только я уже не был уверен в своей правоте. В конце концов, выступление скомкано, и как он теперь будет меня давать прослушивать соседям? И плёнка тоже: как ни крути, испорчена. Я терзался сомнениями. Что мне теперь, просить прощения? Наверно, придётся — у всех соседей…

А баба Поля сказала: и думать не думай. Что, Сашка? Ничего, переживёт.

И я, представьте, до сих пор удивляюсь — как же хорошо рассудила старая Пелагея. Действительно, и чего я тогда так распереживался? Получилось ведь и вправду неплохо.

«В степи под Херсон… Сашка дурак!»

Хоть всю жизнь слушай.

Группа продлённого дня

Как я говорил, над моей доставкой в школу бились лучшие умы, какие в то время водились в нашем доме, — клопов не учитываем.

А вот с моим возвращением дело решалось проще. Меня взяли да и оформили в группу продлённого дня — на продлёнку. Продлёнка в целом имела смысл. Во-первых, у нас там был обед. Кстати, именно с продлёнки я полюбил обедать и люблю до сих пор. Полезные привычки и навыки вообще закладываются с раннего детства; так что родители старались.

На продлёнке мы много чего делали: и то и это. Уроки делали — что могли; в основном письменные задания. Играли; я проявлял свой талант в лепке из пластилина[13]. В основном я сотворял солдат деревянной армии Урфина Джюса по упрощённой технологии — творческие изыски скульптора входили в конфликт с производительностью. Модернизированный солдат имел тело в виде монохромного пластилинового цилиндра, ручки-ножки крепились на кусочке спички; голова тоже. Солдат мы лепили не бесцельно: они использовались в сражениях. Пластилиновых солдат кололи пиками, перьевыми ручками, которыми мы делали домашку — домашнюю работу. Солдаты также проваливались и падали в ямы — отверстия для чернильниц в парте. Падая, солдаты серьёзно себя калечили, но никогда не жаловались.

---

[13] Мои солдаты были инспирированы сказкой А.М. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а в особенности иллюстратором Л. Владимирским.

Ещё солдатами можно было кидаться — надо сказать, некоторые дети на продлёнке бесились реально по-взрослому. Мои солдаты считались более долговечными. А перья ручек, наоборот, отчего-то теряли свои перьевые качества и просто изливали чернила в тетрадь. Учительница продлёнки хваталась за голову — не понимала, что за напасть. Мы тоже недоумевали. За голову, впрочем, не хватались.

А ещё нас водили в школьный кинозал с потолком чудовищной высоты, под потолком было маленькое окошко для кинопроектора. Там всем заправляла молодая девушка, очень красивая; она мне даже нравилась, только это секрет. Девушка излучала женские флюиды, витавшие вокруг неё и кружившие мне голову. Я в то время не был опытен в обращении с девушками и не знал, как мне быть: плыл, можно сказать, по течению. Течение иногда становилось достаточно бурным и даже турбулентным. Девушка-киномеханик вообще-то не только мне нравилась, а многим — и не только в нашей школе. Она демонстрировала нам документальные и прочие фильмы полезного содержания, например, «Александр Невский». Самое ценное было то, что кино можно было смотреть вместо урока; кто откажется? В целом мы, первоклашки, любили все фильмы — были неразборчивы в своих развлечениях. Позже уже мы развились и стали ужас как разборчивы.

Учительница на продлёнке была не совсем обычная — она приходила только посидеть с нами, а в школе сама не учила никакой класс, да и вообще никого. Так она нам рассказывала. Пока мы делали уроки, она шила мягкие игрушки. Наверно, дома у неё не доходили руки. Я спрашивал, откуда она берёт выкройки для игрушек. Я немного знал про шитьё. Она отвечала, не надо выкройки; и безо всякой выкройки вырезала ножничками полукруглые ушки для ослика или кролика из серой шерстяной ткани.

Продлёновская также водила нас гулять на улицу, дышать воздухом. Повторюсь, много чего мы делали — в частности, на прогулках. Прятались за деревья, бегали на стройку, бросали там кирпичи, снежки, если снег. Дрались немножко. Но это, конечно, пресекалось. Вообще эта учительница требовала исключительного хорошего поведения. Она была с нами строга и даже сама иногда дралась. Особенно с Пискарёвым: он часто неправильно себя вёл, демонстрируя вызывающее поведение, — но не потому, что был дерзок или бунтарь по натуре; а потому, что был велик телом и глуп. Так рассуждал я, премудрый шестилетний пескарь.

Вообще если размышлять, много чего приходит в голову. Про наказания, к примеру. Раньше детей били больше, да и не только детей. Всех били, такая была жизнь. А уж кого обучали, их-то как — ой-ой, прямо убить хотели. Мало-помалу бить стали как-то меньше, непонятно отчего. Может, рука устала; может, настроение ушло. Потом вообще задумались — и такое случается. Об этом самом и задумались. Надо ли?

Говорят, червь, прежде чем сделать что-то правильное, что от него, собственно, требуют, сперва пробует по-другому. И пробует ровно сто пятьдесят раз, проверено. А его каждый раз стимулируют, бьют током — такой был научный эксперимент. Видите, какая в природе всё-таки тяга к неправильным поступкам, даже у червей. А у учёных была даже тяга к битью током.

Отчего Пискарёв упорно игнорировал учительницу?

Может быть, у него был слабый слух? Бывает у детей выборочный слух.

Может, Пискарёв, как червь, вошёл в цикл отрицания очевидного.

Как Галилей, протестовал против нелепого, которое навязывали помимо его воли.

А может, и червь тоже выражал протест во время эксперимента над его сущностью.

Много тайн было и есть — и в жизни, и в природе. Но до поры я о природных тайнах как-то не задумывался. И кто я такой, чтоб задаваться экзистенциальными вопросами?

Аз же есмь червь.

Настенные художества

Как-то раз в комнату на продлёнке пришёл некто в сопровождении двух учителей. Мы, как всегда, были заняты своими важными делами, а они себе совещались о чём-то, стоя в нашем классе; и так они отвлекали нас от дел.

— Дети всё-таки проводят здесь много времени, — донеслось до меня.

Через несколько дней человек пришёл опять, уже без сопровождающей группы. Он устроился у задней стены. Парты отодвинули. Он набросал что-то карандашом прямо на покрашенной стене. Мы все тут же подумали: «Ну и ну; а что, так всем можно?» В течение следующих дней художник продолжал свои художества уже в цвете. Но я всё понял в самом начале. Я где-то это видел: странная сказка с волнительными иллюстрациями. Меня тревожила и сама сказка, и картинки в книге; однако то, что на стене, было более реально — как голографическое изображение. Я до сих пор не понимаю, почему так будоражила моё воображение какая-то там картинка, воспроизведённая на стене в увеличенном размере. Вероятно, сказка каким-то образом слезала со стены, чтобы обеспокоить меня уже всерьёз. А может, я был просто впечатлительный мальчик.

В середине восьмидесятых я снова оказался в районе Сухаревки. Я свернул с Садового, повернул на проспект Мира и вдруг уткнулся в этот дом, свою бывшую школу. Её было непросто распознать — прошлое не всегда хочет открывать дверь. Собственно, в самом здании школы уже не было, а была какая-то организация — непонятно зачем. Почему никогда нельзя оставить всё как есть? Я очень просил администратора разрешить мне подняться на второй этаж, и отчего-то мне разрешили — в сопровождении. Я брёл по второму этажу и вдруг узнал комнату продлёнки. Почти что узнал; она оказалась совсем другая, скучная и неинтересная. Пустая комната с неясной функцией.

Но подождите, постойте! Здесь были парты, здесь сидел Пискарёв, Марина Лапшина, рыжий Липкин с затылком, выбритым до белой кожи. Пискарёв возвышался Монбланом в первом ряду, рядом с учительским столом; он проявлял тугоухость и замедленную реакцию — раздражал учительницу, как понимаете. Марина была со мной в одной группе ещё в детском саду. А Липкин оборачивался через парту и вступал со мной в словесный конфликт — провоцировал. Знал о моей несдержанности и о том, что у меня в дневнике уже запись. Я на контроле: второе предупреждение — это уже родителей в школу; возможно, с последующей поркой виновника торжества. А вот это наши парты, не парадные — рабочие парты, как рабочие лошади. Белые парты испачканы чернилами и рисунками; сразу скажу, неприличного не рисовали. Покрашены в три слоя, по крайней мере краску отколупнуть можно до третьего слоя. Белый, потом голубой, внизу вроде бы зелёный. Чтобы идти глубже, нужен наманикюренный ноготь или инструменты, простым ногтем ничего не выйдет, только грязь забьётся.

Где всё теперь? Ничего нет. Может, продлёнка просто маскировалась и не хотела со мной общаться? В конце концов, прошло столько времени. И она вполне могла ошибочно полагать, что сама уж давно не та: не такая юная и привлекательная. Многое могло измениться. Как можно быть уверенной, что вернувшийся на самом деле тот, за кого себя выдаёт? Кому охота обманываться? Так мы оба сомневались и маялись. Было тягостно. Уходя, я спросил сопровождающую: «Скажите, не было ли здесь когда-то разрисованной задней стены? Вы извините — просто что-то показалось». Женщина сказала удивлённо: да, была; и стала странно смотреть. А я смотрел на голую стену, на которой чего-то не хватало — чего? Самого главного. Всё было неправильно, всё было ложь. Продлёнка меня отвергла, и комната наполнилась обманом; теперь в ней не было ничего, кроме её пустоты. Стена с картинками моего детства была выкрадена. Её жалкие остатки таились в глубине моей памяти — за её волнистым полупрозрачным тюлем.

Что же, что же. Вероятно, посещение школы не было так уж необходимо. Наверное, я хотел странного. Мне казалось, я вернусь в своё детство. Люди посещают Стамбул, намереваясь побывать в Константинополе. Это проще, да и то возможно лишь отчасти. Что до моего детства, его больше нет: было, но давно ушло. Нет нигде, даже в моём дворе, уже почти уничтоженном историческим процессом. По-видимому, я снова ошибся в своих желаниях — так на меня похоже.

С моим же утренним сопровождением в школу родители в конце концов как-то управились. А как управились, упомнить не могу; извините. Ведь всё это было давным-давно — как в залихватской песенке из «Гусарской баллады». Школа № 268, настенные художества и все мои университеты — они все были и остались там же, в своём давнишнем времени — и задолго до главного Московского университета. Если кто-то запутался: сначала я всё-таки поступил в школу, а в университет уже потом. Многие, кстати, тоже так делают.

Первое плавание

Я уже говорил, что в юности занимался плаванием. Может, это была и не вполне юность: всё-таки мне уже было шесть лет. К тому же занимался я не всерьёз; можно сказать, баловался. Всем известно, забавы на воде не всегда к добру. Но терпение — увидите сами.

Я посещал бассейн Московского университета на Ленгорах, МГУ[14]. Любой человек мог в то время зайти в главное здание безо всякого документа: сказать вахтёру, что в бассейн, и свернуть направо, в спортивный закуток. Хлоркой из бассейна начинало попахивать уже сразу. Фактически, чтобы отыскать бассейн, достаточно было полагаться на свой нос.

Конечно, если вдруг насморк, тогда спрашивать у вахтёра. Только вот лишний раз беспокоить его… может завести совсем не туда. Особенно если тот решит проявить бдительность: это как раз и есть то, для чего они там поставлены. Кроме того, у вахтёра есть свисток. По свистку появляется разбуженный милиционер — он не в настроении шутить, если разбужен невовремя. Это всем ни к чему; а вам тем более, правда? Я так и подумал. Так что если насморк, подождите, пока пройдёт.

После первого пролёта на лестнице, ведущей вниз, в подвалы главного здания, располагалась касса — продажа абонементов в спортивные секции. Можно было приобрести абонемент на месяц: в спортивную гимнастику, на борьбу, плавание, прыжки в воду; даже на акробатику, что моё детское воображение представляло чем-то сродни цирковому училищу. На бокс и тяжёлую атлетику тоже можно было, но с четырнадцати. А ещё на прыжки на лыжах, причём с трамплина.

Напомню, мне было шесть. Мы с папой проходили через различные спортивные залы и всюду заглядывали. Вот она, настоящая жизнь. Я вдруг осознал, сколько всего от меня скрывали всё это время. Запах хлорина проникал повсюду, но я его ощущал как запах свободы и хотел всего: гимнастики, акробатики, бокса и борьбы. Всё было серьёзное и настоящее. Пожалуй, больше всего хотелось бокса. Может быть, меня обучили бы, как делать нокаут. Или всё же акробатика?

В секции бокса дверь всегда открыта — надо же как-то проветривать этот зал. Сам тренер всегда располагался в дверном проёме. На протяжении около двадцати последующих лет, я пробегал мимо, и дверь всё это время была открыта, а в ней словоохотливый тренер. Неужели тот же самый? Как он не устал за прошедшие годы? Загадка. Сколько в мире тайн — всегда удивляюсь.

---

[14] Московский государственный университет. Сейчас стало так много университетов — того и гляди потеряешься.

Наш с папой первый визит в спортивный закуток носил ознакомительный характер. Чтобы я всё посмотрел и уже определился со своими пристрастиями. Поэтому дома я рассказал родителям о своих впечатлениях и предпочтениях. Лучше всего бокс, вдохновенно излагал я. Там ринг, перчатки, гонг. Главное, научиться нокауту. Если не научишься сразу, можешь сам там оказаться, в нокауте. Полагаю, я волновался и поэтому нёс ахинею; скорее всего, несусветную ахинею. Не мог отдать себе отчёта — или хотя бы посмотреть трезвым взглядом на вещи. Отчего-то об акробатике я напрочь забыл.

Родители выслушали меня с большим вниманием. Такими вещами, сами понимаете, не шутят. Они посоветовались, потом ещё подумали. Их мнения вначале расходились, но в конце концов они к чему-то пришли. Мне сказали, что пока будет абонемент для плавания; но это временно. А потом посмотрим, пообещали мне. Человека надежды лишать жестоко, пусть ему пока и шесть лет. Однако отложить нокаут на как можно дольше представлялось родителем главной прерогативой.

Так что мне предстояло заняться плаванием.

Эту идею папа вынашивал не менее двух лет. Каждый раз, когда мы оказывались на воде, он начинал меня обучать. Так что тренировки проходили успешно и регулярно. К большому папиному удивлению, это никуда не вело. Факт оставался фактом: плавать я не умел. Папа был трудолюбив и целеустремлён; он всё не оставлял своего намерения. Не будучи в состоянии обучить своего неспособного сына, он давил на сознательность — желал, чтобы я сам осознал своё упущение. В его железной логике поплыть я был просто обязан: в нашем располагающем московском климате это просто жизненно необходимо, как можно не понимать. Вдруг, приводил папа убийственный довод, кто-то начнёт тонуть, что ты тогда будешь делать? Максимум, что ты сможешь, это тонуть за компанию. Я спрашивал: а тонут в бассейне? Нет, отвечал папа, в пруду! А время года какое, придирчиво уточнял я. Лето! — раздраженно отвечал папа, уже сам не рад неуместным вопросам развитого сына.

В папиной голове происходило нечто вроде дворцового переворота: переход от веками установленного порядка к хаосу бесконечного сомнения, учиняемого мною. Зачем столько вопросов, недоумевал папа. Прыгнул в воду, поплыл и спас. И уже всё бы закончил; но нет же!

Отчего-то вопросов у меня возникало всё больше, хоть я и стеснялся их задавать. Скажем, есть ли на пруду пляж или что-то такое? И есть ли там тренированные спасатели? И с кем пришли те, кто решил утонуть, с друзьями или как? Папа совершенно терял со мной терпение. Сын демонстрировал неожиданную проворность в казуистике, повергая сомнению родительский авторитет. Было очевидно, что единственным выходом оставалось как можно скорее покончить с моей неспособностью стремительно и легко рассекать водную гладь. Все же рассекают, а я нет.

Это была печальная правда: плавать я не умел. Папа же, а теперь ещё и мама — хотели, чтоб умел, да и сам я не возражал бы научиться. Мне было шесть лет, и я не слишком задумывался о своей ситуации. Ситуация между тем складывалась не совсем в мою пользу; скорее даже наоборот.

И вот день настал: первое занятие. Утро было достаточно серым — всё-таки ноябрь. Доставку к водной глади испуганного меня осуществлял папа: он единственный в нашей семье умел плавать и мог оказаться полезным, если что, полагали мы с мамой. Как же мы ошибались. Не стану кривить душой — мне было немного не по себе, я был вне зоны своего комфорта. Можно даже сказать, сильно трусил. Из-за разыгравшихся переживаний аппетита не было, и я не смог толком позавтракать. Это оказалось спасительным в последующей цепи событий.

У папы было хорошее настроение: наконец начало свершаться всё то, в чём он не смог преуспеть. К тому же воскресенье, и он освобождён от домашних дел на всё утро. Мне было тревожно; я оставался начеку, отмечая

каждое неординарное, несущее опасность событие. Вахтёр на входе в здание мог бы нас задержать, но отчего-то этого не сделал в силу воскресного благодушия. На лестнице тревожно пахло хлоркой. Папа постоянно поглядывал на часы.

Из раздевалки в бассейн проходят через душевую. Меня насторожило, что вода в душе еле тёплая. Это повышало мой и без того повышенный уровень тревожности. Ни в раздевалке, ни в душевой других детей я не заметил — были какие-то большие мальчики и взрослые. Я сам был там в первый раз, и меня терзали сомнения: туда ли я попал? Может быть, папа перепутал время? С него могло статься, он бывал иногда не к месту рассеян. В едва тёплом душе и в своих сомнениях я провёл лишних несколько минут и обратил внимание, что всё вокруг вдруг опустело. Я бросился бежать в сторону, противоположную раздевалке. Увидел огромный бассейн и сбоку трибуны. Папа сидел на скамеечке, по-видимому, в славном настроении и с книжкой в руках. Всё шло хорошо — сын пришёл на занятие. Впереди вышки для прыжков в воду, на другом конце бассейна какие-то головы в воде, вероятно, моя группа. Мокрый после душа и со страхом в животе, я потрусил в их направлении. Высокий потолок зала и волнующаяся водная гладь создавали странную гулкую акустику с плывущим эхо.

Меня заметил тренер, рослый детина с врождённым чувством собственной правоты и командным голосом.

— Новенький! — обозначил он моё присутствие. — Как зовут? Ладно, потом скажешь. А опаздывать не надо. В следующий раз прошу вовремя.

На меня уставились несколько старшеклассников. Самому младшему, пожалуй, лет двенадцать или даже четырнадцать. Я только пошёл в школу.

— Давай прыгай в воду, — скомандовал тренер.

И я прыгнул — сказали же, прыгай. Вода была неожиданно холодная, а на вкус удивительно неприятная. Я думал: вынырну, схвачусь за бортик и буду стоять, как все, у бортика. Но ничего этого, увы, не случилось. Я погружался всё глубже и глубже. Я шёл на дно и удивлялся, до чего глубокий этот самый бассейн. Определённо не было никакой необходимости делать его такой глубины, что обычный мальчик не может встать на ноги.

На самом деле глубина была метр семьдесят — стандарт спортивного бассейна того времени[15]. Я ударился о дно, как Финист Ясный Сокол; но никого не потряс, ничего не совершил и ни в кого не обратился. Вдобавок как-то получилось, что свой воздух я не сберёг, а, напротив, почти весь необдуманно выпустил, вдохнув вместо него сколько-то хлорированной воды. Мой ящерный мозг осознал: надо спасаться, и немедля. Я забарахтался и полез под водой куда-то — наверх, к свету, к воздуху. Как оказалось, я влез на приступочку, которая тянулась вдоль всей стенки бассейна. Я действовал как машина. Нащупал металлическую лестницу, высунул голову из воды. Изо рта выливалась вода с переработанной хлоркой и какой-то слизью; из глаз, непривычных к бассейновой воде, неконтролируемо лились слёзы. Может, это ошибка, что мы не взяли с собой маму, мелькала мысль. Папа был всего в пятнадцати метрах, но он плохо видел. К тому же смотрел в книгу, а не на сына. Я отплёвывался и душераздирающе кашлял. Вероятно, представлял собой зрелище; но об этом не думалось. Стал выползать на сушу.

Этого допустить тренер не мог.

— Стоп, стоп! — закричал он со смехом. — Ты куда собрался? Мы ещё плавать будем. Плавать!

Он как бы подал сигнал другим мальчикам, детям и подросткам. Всем сделалось смешно, все стали счастливы. Пришёл мелкий, прыгнул в воду и почти утонул: когда такое увидишь! Я видел вокруг счастливые, улыбчивые лица одногруппников, по-видимому, будущих друзей. Меня тоже посетило

---

[15] В начале бассейна, где вышки, глубина около пяти метров. Будь моё первое занятие там, вы навряд ли сейчас читали бы эти строки.

какое-то предчувствие счастья — вопреки непрекращающемуся кашлю. Все вокруг были подсвечены неожиданным событием, привнесшим радость в этот изначально обыденный, вполне себе серый день.

А дальше мы, как обещал тренер, плавали — в особенности те, кто уже умел: все большие дети, которые были так радостны и смешливы по поводу моего весёлого приключения. Бассейн был двадцать пять метров в длину. По свистку дети по очереди бросались его переплывать. Тренер ставил оценки, зорко отмечая погрешности в стиле и исполнении: поворот головы, вдох, работа ног. Старший мальчик переплывал на одном дыхании. На папу это произвело огромное впечатление. Тот факт, что его сын утонул, а потом чудом спасся, его внимания отчего-то не затронул. Дома папа с энтузиазмом рассказывал о юном таланте; на мамины же расспросы о моих успехах папа оптимистично отвечал, что у меня всё впереди — и удачи, и успехи. О поражениях и неудачах папа не упоминал: умел видеть хорошее даже в сомнительной ситуации. Мама же беспокоилась, не обижал ли кто её сына. Видите, как по-разному мужчина и женщина видят мир.

В отличие от этого одарённого мальчика, переплывать бассейн на одном дыхании мне не удавалось. У меня к тому же были дополнительные обстоятельства личного характера. Я пока не умел плавать, а тренер к моменту тестирования меня ещё не научил: вообще-то мы с ним едва познакомились. Так что переплывание бассейна было для меня сродни переплыванию Атлантического океана: я был как Колумб, но держался рядом с бортиком, отрываясь не более чем на несколько секунд. Полусобачий стиль ограничивал мою крейсерскую скорость; моё представление заняло почти десять минут.

По этим и каким-то другим, неведомым мне причинам отметку снизили. Тренер опять уточнил моё имя (он каждый раз, обращаясь ко мне, спрашивал моё имя) и со счастливым смехом объявил, что моя отметка сегодня «кол». Это вызвало новый припадок радости у моих одногруппников-великанов; да и я тоже обрадовался. Доволен был и папа, когда в автобусе я сообщил, что плавание идёт неплохо, но отметки пока не очень.

Бабушка Валя за воскресным обедом мой подающий надежды кол восприняла как-то неправильно. Она взяла трагичную ноту:

— Как это кол? Как нехорошо. Что ж ты плохо плаваешь, а родители платят деньги за тебя!

Я в общем-то не рассматривал своё боевое крещение, свой первый водный поход именно под таким меркантильным фокусом. Я считал себя героем, Фениксом, восставшим из пепла, причём под водой, что, безусловно, технически гораздо сложнее. Потом, конечно, случилось моё плохое плавание; это правда. Но чем больше человек оправдывается, тем меньше ему веры; и неважно, сколько человеку лет: шесть или шестьдесят. Поэтому я не оправдывался.

Папа меня неожиданно поддержал:

— Сегодня плавал на кол, а раньше-то совсем не плавал!

Мама не участвовала в дискуссии; но какие-то сомнения у неё, видимо, были.

Мои плавательные сессии происходили по воскресеньям. Раз в неделю я отправлялся в своё последнее плавание — меня топили в холодной хлорированной воде. Наблюдая мою казнь с трибуны, папа казался отрешённым и безучастным. Умел хранить свои эмоции глубоко внутри. А может, сомневался я, всех устраивало моё затопление — всех, кроме меня, конечно. Родители всё же платили деньги, как справедливо заметила бабушка. С другой стороны, мама могла и не догадываться о методах тренировок в бассейне Московского университета, храма наук.

Помимо моего потопления у тренера имелись и другие развлечения. Возле входа в тренерскую комнату у стены стояли какие-то шесты с чёрными резиновыми обручами и сачками. Я на них не слишком обращал внимание, тренер тоже; а в какой-то момент он вдруг обратил. Может, нашёл главу по

техсредствам в своём учебнике и начал практиковать применение шеста на мне. У тренера даже объявилась какая-то помощница. Они проталкивали мое тело сквозь обруч в воде и шестом меня поддерживали на поверхности. Получалось не всегда удачно, на троечку. Но я и этому был чрезвычайно рад — тонуть я откровенно не любил. Хотя осознавал: за это заплатили родители, поэтому надо.

Что-то, вероятно, происходило ещё в моём обучении. Как ни посмотреть, результат всё-таки был: плавать я научился. И кролем, и брассом, и на спине. И даже, без хвастовства, стилем баттерфляй, который раньше называли дельфин (а вообще с этими двумя запутанная история). Так что инвестиция родителей была успешной — судя по результату. К тому же я получил бесценный жизненный опыт. Что и говорить; вот только память не сохранила деталей моего плавательного ученичества. Может, память щадила меня? Осталось по большому счёту только то самое первое плавание, когда у меня ещё не было никакого стиля — кроме жалкого полусобачьего, на отметку «кол». Самого первого, которое едва не стало и моим последним. Вот, пожалуй, и всё — и о плавании, и о бассейне МГУ, и о моих успехах на спортивном поприще.

Нет, не всё. Забыл главное.

О моём следе, оставленном в спорте: гимнастике, тяжёлой атлетике, борьбе и боксе

После бассейна мы с папой какое-то время бродили по спортивному закутку в поисках интересного. Во время наших блужданий папа тайно посещал свою позабытую юность, по-прежнему обитавшую где-то здесь. Полагаю, поэтому папа несколько терял чувство времени и пространства. А папина юность замечала это и ценила его преданность.

Я же был счастлив окончанию моего еженедельного подтопления. Я также предвкушал новые впечатления.

Был огромный зал для спортивной гимнастики. Ни с гимнастикой, ни с гимнастами там ничего не происходило — никогда. Я имею в виду, по воскресным дням: в другие дни папа был на работе, да и я тоже где-то был. Такое отсутствие гимнастической активности огорчало папу. Он сам когда-то учился в МГУ и занимался спортивной гимнастикой; и даже имел первый разряд. Но папа был увлекающейся натурой и любил многие виды спорта: тяжёлую атлетику, бокс, борьбу. Самому ему заниматься ими не приходилось, в основном наблюдал. А стрелять любил, хотя имел близорукость и ходил в сильных очках. Стрелять в нашей стране было в то время принято и даже обязательно для всех мужчин — хотя бы раз в год.

В отличие от просторного гимнастического зала, помещения для тяжёлой атлетики и бокса были небольшие. Несмотря на это, всякие соревнования и первенства часто проводились в этих маленьких залах. Чтобы хоть что-то видеть, туда приходилось протискиваться сквозь толпу боксёров, штангистов и сочувствующих.

В зале тяжёлой атлетики стоял тяжёлый запах непромытых местных обитателей с их чудовищными телами: дезодоранты в конце шестидесятых были ещё не в ходу. Кроме того, у всех штангистов было мрачное выражение лица; они как-то не были рады — ни нам с папой, сторонним зрителям, ни своим соревнованиям, от которых они не ожидали ничего хорошего. Мы понимали, наше присутствие и праздное любопытство никак не помогут штангистам в их внутривидовой борьбе за медали из неизвестного металла, притворяющегося золотом. В обмен тяжелоатлеты должны были отдать связки своих мышц — лигаменты и сухожилия, составные части поясницы, коленных суставов, плеча и прочих. Связки и мышцы отменного качества: настоящие, тренированные и в разогретом состоянии. Золото же, как и многое в жизни, было фальшивое — и другого не ожидалось. Избежать

неравноценного обмена, больше напоминающего обман, было практически невозможно. Осознание ситуации заставляло каменеть лица спортсменов, когда они останавливали на нас свой укоризненный взор. Чуждые суровому братству, мы как-то стеснялись протискиваться через мрачную толпу в её середину — к эпицентру общества посвящённых, приносящих здоровье на жертвенный алтарь спортивной карьеры.

Зал для борьбы был побольше и более светлый; однако мест для зрителей, особенно для посторонних, не было — из-за ковра во всю ширину зала. Во время больших соревнований борцовский ковёр организовывали в зале спортивной гимнастики. Там хватало места для всех — были даже места для зрителей на двух уровнях трибуны, вход с лестницы.

Классическая и вольная борьба были не очень интересны: как известно, там борьба состоит из вялого толкания, пока спортсмены не упадут на ковёр, а затем продолжается в пáртере[16]. Пáртер, сознавали зрители, это тяжёлый труд — особенно для бедолаги, волею судеб оказавшегося снизу. Однообразность тяжёлой работы, через силу выполняемой борцами и не имевшей никакого зрительного эффекта, навевала меланхолическое настроение. Было не то чтобы скучно; но скучновато. Потом там ещё трико — ну это прямо какое-то ретро, прошлый век. Ау, бедолаги! Мы в конце шестидесятых. Спутник запустили, а вы со своим трико, как в цирке. Так что мы с папой хоть и смотрели и классику, и вольняшку[17], но не особо ими увлекались. Смотрели какой-нибудь часок-другой без особого увлечения.

А вот самбо — это совсем другое дело. От самого названия уже захватывало дух. Название навевало ассоциации; напоминало о полных жизни и огня латиноамериканских традициях, танцах, карнавалах и так далее. Потом вся спортивная экипировка: белые куртки, цветной пояс, мягкие кожаные борцовки, которыми ударяли соперника по ногам, чтобы сделать подсечку. Папа увлекался схваткой, его охватывал азарт. «Матушка-Москва бьёт с носка», — повторял он возбуждённо, взывая к древнерусским преданиям и легендам времён песен о купце Калашникове[18]. Мне же пока что было шесть лет, и с Калашниковым я к тому времени знаком ещё не был. Только со Шпагиным[19] — да и то исключительно по фильмам. С Калашниковым же познакомиться поближе получилось только к седьмому-восьмому классу. Впрочем, это совсем другая история.

Судьи тем временем вовсю обезличивали борцов с помощью цветового кодирования. Оно носило бинарный характер: либо синий, либо красный.

— Творогов, спортивное общество «Буревестник». Синий пояс, — голос в микрофоне был скучный; такой же скучный, как и принципы бинарно-цветового кодирования участников соревнований.

Я не следил за скучными объявлениями. Я оглядывал, что же происходило на длинном борцовском ковре, разделённом на три части. На каждой из этих частей было много суеты; и во всём этом мне предстояло разобраться.

— Вон там, видишь? — говорил мне папа, посвящая меня, недоутопленного шестилетку, в тайны самообороны без оружия. — Это Творогов[20], его уже объявляли. Синий пояс. На среднем ковре — это номер два.

---

[16] Слово «партер» может иметь разное ударение и одновременно разный смысл. Ударение в начале относится как раз к борьбе — когда участники не на ногах, а лёжа или на коленках. Ударение же в конце относится к посадочным местам в театральном зале.

[17] Так тогда неформально называли классическую и вольную борьбу. Народ называл, зрители; и мы с папой тоже были со своим народом.

[18] В русской истории довольно много разных Калашниковых; тут главное не запутаться.

[19] Изобретатель автомата ППШ, знакомого по военным фильмам.

[20] Творогов реальный персонаж. В конце шестидесятых выступал за спортивное общество «Буревестник».

Подумать только! Как папа всё успевал замечать? Я и помыслить не мог, что Творогов окажется с синим поясом и именно на втором ковре. При этом немного волновался: не знал, кто таков есть этот Творогов с синим поясом и зачем он вдруг оказался нужен нам с папой, — но сказать об этом прямо я стеснялся. Было заметно, что Творогов более высокого роста и не такой плотный, как его соперник, у которого был красный пояс, а борцовская куртка отчего-то синяя. Видимо, судья не заметил цвета куртки краснопоясного противника и не объявил в микрофон, что у борцов не только разные цвета поясов, но и курток[21]. Зрители могли запросто упустить это, и тогда могло быть уже поздно.

— Не объявят ли всю схватку недействительной? — беспокоился я. Но папа об этом не волновался; он волновался, чтобы ничего не упустить из скучных объявлений из микрофона, презираемых шестилетним мною.

— Смотри, — говорил мне папа негромко, чтоб не раздражать сидящих рядом, и так уже запутанных всей красно-синей круговертью, — он берёт захват!

И действительно, самбист Творогов стремительно вступал в прямой контакт с противником; оба азартно закружились у самого края борцовского круга. Тот, который с красным поясом и в синей куртке, пытался отодрать руку Творогова от своего рукава, а свою же руку убрать назад. Творогов уступил, мгновенно ухватившись теперь уже за ворот куртки противника. Он толкнул синюю куртку, а когда противник устоял, Творогов отступил и рванул на себя за этот ворот, сам же подсел вниз. Боец в синей куртке рухнул на твороговскую спину, а сам Творогов встал, распрямился, повернул плечами и сбросил противника на ковёр. Все закричали, кто-то засвистел, мне даже показалось, что участники на ковре номер один и ковре номер три повернули головы.

— Мельница! Это он сделал мельницу! Такой бросок, — торопливо объяснил папа непонятливому мне. Торопиться, впрочем, было уже некуда.

Схватку на втором ковре остановили; судья встал в центре, взяв за руку обоих борцов. Главный же судья за боковым столиком через потрескивающий микрофон объявил, что победа на втором присуждается синему поясу за чистый бросок. Судья на ковре поднял руку Творогова. Творогов, напоминаю, и был синий пояс. Про синюю же куртку его оппонента снова ничего не объявили, будто бы она была невидимой. Может, у главного судьи был дальтонизм на синий цвет? Непонятно, невероятно. Неужели всё так и закончится? Моё беспокойство пребывало в контрасте с папиным настроем. Папа был в полном восторге. Словно Творогов на самом деле был он, а не тот, настоящий Творогов.

— Каков, а? — Папа быстро крутил головой и не мог успокоиться, будто победу Твороговых могли отобрать. Его очки поблёскивали, отражая лампочки с высокого потолка гимнастического зала. Когда-то под этими лампочками, в очках с круглыми линзами папа, юный бездетный студент, выполнял вольную программу и упражнения на гимнастических снарядах, выступая в этом самом огромном зале за спортивное общество «Буревестник». А через много лет он здесь снова вместе со своим сыном — на соревнованиях по борьбе самбо.

Как летит время. На маленькой чёрно-белой фотокарточке молодой гимнаст возле брусьев. Он в очках; это папа. В очках он делал всё: сальто на

---

[21] Вы можете быть удивлены, но в конце шестидесятых цвет борцовской куртки не был оговорен в правилах. Предполагалось, что куртка белая. Тем временем наша промышленность начала выпускать цветные куртки, а магазины спортивных товаров их продавали: отсюда путаница. На соревнованиях международного уровня уже активно использовались разноцветные куртки, синие и красные. Я сам, впрочем, в международных соревнованиях тогда ещё не участвовал; да и потом тоже нет.

ковре, стойку на руках, сальто над брусьями — разве что не плавал в своих очках. Учился, настраивал приборы, писал дипломную работу, работал с первыми отечественными компьютерами. В очках он проживёт до самой старости. Потом дорогая коррекционная операция, и ура, очки сделаются ненужны. Вдруг глаукома, потеря глаза; деградация нерва и полная слепота. Очки нужны, только если гости, чтобы лицо как-то соответствовало. Слепым он проживёт ещё около трёх лет и умрёт — в результате традиционной медицинской халатности.

После победы Творогова остальное действо было уже не так интересно. Чтобы не обижать оставшихся участников на коврах один и три, мы какое-то время посидели ещё; затем тихонько побрели к выходу. Именно на этом я хотел здесь и закончить — на сильном моменте, на впечатляющей победе Творогова, борца с синим поясом. При чём тут синий пояс; дело, конечно, не в нём. А в чём же, пытался понять я ещё тогда — но не смог. Шесть лет не тот возраст, когда у ребёнка в расцвете мастерство ситуационного анализа.

Я ещё не знал, что через каких-то десять лет мне самому предстоит стать студентом и даже выступать за спортивное общество «Буревестник». С любым поясом выступать: и с синим, и с красным. Книга будущего, по силам ли читать твои пыльные страницы шестилетке-вундеркинду? Может быть; но не сразу — потом. Только когда вундеркинд постепенно перестанет подавать надежды, когда он перестанет быть и юным, и молодым, а будущее станет прошлым. Вот тогда. За всё приходится платить, и за всё мы платим дорогую цену. Много больше, чем можем позволить.

Вы, вероятно, ждёте — ведь я обещал ещё рассказать и о боксе. Обещал, да; но понимаете… Мы же взрослые люди. К моему тогдашнему сожалению, соревнования боксёров проходили в их небольшом, тесном зале, переполненном участниками. Высокая белая дверь была, как всегда, распахнута настежь. Но вокруг толпилось так много народу! Шестилетнему и низкорослому мне было невозможно видеть из-за спин взрослых спортсменов; папе тоже, хотя он был много выше меня. Так ли, иначе ли, детских воспоминаний о боксёрских поединках у меня не сохранилось. Наверное, жаль. А впрочем, не знаю. И последнее: во многих видах спорта, включая акробатику, спортивную и художественную гимнастику, тяжёлую и лёгкую атлетику, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки с трамплина в воду, просто лыжи без трамплина и прыжков, также и бокс, — я не оставил своего следа. Где-то родители были против; где-то плохо старался. Не везде остаются следы; и вообще со следами много всяких противоречий.

Надежда Болтачева

Скворечника речь

***

Ненужным булыжником стынешь в луже.
Но только отсюда увидишь небо.
Как солнце нещадно парит.

***

Щурится ящик почтовый.
Мимо идут почтальоны.
Но пишет и пишет душа…

***

Копья шиповника, завязи роз…
Ищут смирения в ветреный день.
Созданы для поцелуя.

***

Ветер листает книгу —
книга становится ветром…
И ты, сухой колокольчик,
меж страниц иностранных
звучишь и звучишь, вспоминая
что однажды был книгой…

***

Шумит виноградник повсюду.
В страдающем лишь кувшине
ни мёртвой воды, ни живой…

Надежда Болтачева — родилась в Краснотурьинске, окончила химико-технологический факультет УПИ (УрФУ). Печаталась в журнале «Урал». Живёт и работает в Екатеринбурге.

***

Гонит и гонит разлука-река
редкие лодки. Глядишь на причал.
Прочен ли узел…

***

Раньше других отлетают листья,
растущие ближе к стволу.
Так и висишь на ниточке-позвоночнике
одиноким шариком с пустотой внутри.

***

Снежинка летит в огонь…
Агония мгновения…

***

Подхваченный ветром лист
прозрачен и золотист.
Ничего лишнего — только душа…

***

Что же ты мечешься, птичка, всю ночь,
ломкой слезою не в силах рассечь
хваткую клетку
грудную…

***

В сонном окне — листопада печать
или черёмухи в вешних лучах…
Просыпается боль.

***

Лишь ветер в одежде дождя и снега
врачует горячую душу кувшина.
Трещина всё больней…

***

Усыпаны иглами и голубями
минорного сквера сырые тропинки.
Тёмная и немая собеседник-беседка…

***

Как много хотелось сказать тебе.
Однажды представился случай такой.
На влажном лице — лишь улыбка.

***

Бремя подрамника — бренная ткань.
Слышит и видит художник одну
горнего мира картину.

***

Даже солнечный луч, преломляясь в воде,
отклонится от прежнего курса.
Но поэта мерцающий путь…

***

Стихов запоздалых ростки
незримы среди бурьяна.
Только в них и живёшь.

***

Скворечника речь, обретая скворца,
воспламеняет сердца.
И ты, моё сердце, горишь…

***

ночь с луной и чабрецом
мы не встретимся с отцом
у луны нет спины
у отца нет лица

***

Любая из четырёх
стена отворилась бы к лесу.
Глядишь — уже не один.

***

Уверенный снег за окном.
Но строит из бросовых веточек
гнездо седое сорока.

***

день и дно слово одно
когда о дне говорим
совпадая с ним
так свет от тьмы неотделим

***

Крепок январский мороз.
Но из полена последнего
плотник сынка мастерит…

***

Между датами взлёта и невозврата
врата широки.
Нелепой толпе вопреки
идём сквозь узкий проём
облаком целокупным…

***

Храм на Крови. Сорока…
От голубиной стаи
светел январский день.

Сергей Кулаков

Чарли Буковски неожиданно появляется

Рассказ

Несколько лет назад в одной приморской деревеньке в Крыму набережную выстлали мрамором. Разумеется, только пешеходную её часть. Тому, кто устроил это, местные власти выделили крупный земельный участок (такая была договоренность). Довольно скоро на этой земле появился десяток дорогих вилл, которые затем были выгодно проданы. Но в общем-то дело вовсе не в этом. Мраморной набережной не было ни в Алуште, ни даже в Ялте. Это была достопримечательность, однако те, кто никогда не бывал здесь прежде, конечно, не догадывались об этом и принимали изящную набережную — гладкую, светлую, все ещё чистую — как само собой разумеющуюся данность. Набережная была достаточно длинной и удобна для неспешных пешеходных прогулок; расставленные повсюду скамейки как бы приглашали отдохнуть и насладиться видом моря.

Некто К. выбрался из дождливой, холодной октябрьской Москвы только на одну неделю. В этом маленьком поселении у моря он прежде никогда не был, впрочем, довольно много слышал о нем. Можно определенно сказать, что попал он сюда случайно, соблазнившись обещанной погодной благодатью. Прогноз погоды, точно финансовый аналитик, предсказывал отличные перспективы, только эти господа никогда не несут ответственности за то, что предрекают. Кстати, с тех, кто выдает погодные прогнозы, взятки тоже, как говорится, гладки.

Три дня кряду шёл противный осенний дождик, который прерывался почему-то под вечер, но вновь начинался с утра. К. в первый день своего прибытия (который совпал с началом дождя) пытался ещё побродить по берегу моря, но скоро понял, что мокрый мрамор слишком скользкий, а южный осенний дождь почти ничем не отличается от осеннего московского дождя. Тогда он купил вина, которое показалось довольно неплохим, вероятно потому, что погода была отвратительна.

На четвертый день дождь кончился, небо заволокло низкими, темными тучами, задул ветер и на море начался шторм.

«Вот ведь гадость, — подумал К. — Стоило ради столь мерзкой погоды поднимать задницу и мчаться на этот юг. Тоже мне юг... Дождей с тучами и дома хоть отбавляй!»

Прогулки у моря не получилось — из-за ветра. Зато мраморную набережную основательно подсушило, и она уже была не такой скользкой. Едва ли это могло утешить.

Сергей Кулаков (1964) — родился в Архангельске. Пишет стихи, прозу, пьесы, переводит англоязычных поэтов. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга» и др. Живет в Ялте.

Следующий день, совершенно неожиданно, выдался солнечным, теплым и совершенно безветренным. Такие метаморфозы подобны чудесам. В их причинах К. разбираться не стал, а поспешил выйти на долгую прогулку к морю. За несколько дней непогоды он успел насидеться в четырех стенах съемной квартиры в утомившем его обществе местного портвейна.

Побродил по сияющей мраморной набережной под ярким осенним южным солнцем... Недурно перекусив в почти пустом кафе у моря, удобно уселся на залитую солнечными лучами скамейку под высоким пронзительно-голубым небом. После вкушения плотской пищи душа желала пищи духовной. К. достал из рюкзачка книжку. Это были рассказы Чарльза Буковски в мягком переплете. Ему рекомендовали почитать Буковски: дебошира, пьяницу, сквернослова и писателя с удивительным воображением. Можно было заняться чтением ещё в дождливые дни, однако К. выбрал тогда портвейн. Теперь пришел черед Буковски. Рассказы ему понравились, и К. несколько раз уже поглядывал на заднюю сторону обложки книги. Там поверх короткой биографической справки красовался черно-белый снимок автора. Фото было явно постановочное: мистер Буковски глядел куда-то вдаль, во рту у него торчала то ли спичка, то ли зубочистка, а ещё он зачем-то прижимал к груди пишущую машинку (возможно, фотограф думал, что таким крупным штрихом он отразит внутреннюю жизнь писателя). Лицо Буковски на фото было ярко освещено умело направленным светом. В общем, это был какой-то вычищенный, приглаженный образ, который не забыли тщательно похмелить.

Прогуливающихся по набережной, отмытой дождем, просушенной ветром и солнцем, было не так уж много. Кто-то подсел на скамейку, где К. читал книжку в мягком переплете.

«Вокруг столько пустых лавочек, — эгоистически подумал К. — Надо вот усесться именно здесь».

Кроме как в мыслях, он никак не выразил своего неудовольствия. Дочитав рассказ, К. прикрыл книгу, откинулся на спинку скамьи, краем глаза взглянул на подсевшего и... обалдел. На скамейке рядом с ним, всего лишь в метре, сидел Чарльз Буковски. Нет, он не был похож на него, он был им. Точь-в-точь как на фото на обороте книги, которую К. держал в руках. Чтобы удостовериться, он перевернул книжку, взглянул на фотографию...

К. вовсю пялился на господина Буковски, непонятно откуда взявшегося в этом сонном городке, на скамейке у моря. Ну да, это был Чарли Буковски собственной персоной, только во рту не было зубочистки, да и пишущей машинки у груди, а свет так же освещал его лицо, как на фото, хотя солнце сейчас светило ему в затылок. К. зажмурил глаза и встряхнул головой, вероятно, пытаясь избавиться от наваждения.

— Думаешь, поможет?

— Что? — спросил К. У него не было сил изумляться.

— Ладно, проехали...

Теперь Чарли Буковски смотрел на него своим освещенным непонятно каким источником света лицом. К. не понимал, как такое возможно, если солнце было за спиной Чарли. Лишь потом до него дошло, что американец разговаривает на чистом русском языке.

«Ни хрена себе!» — подумал К.

— А на каком ещё с тобой прикажешь говорить?

— Что?

— По-английски понимаешь? Do you speak english?

— Н-н-нет.

— Ну, тогда чего не понятно?

К. промолчал.

— С этим, кажется, разобрались. — удовлетворенно произнес мистер Буковски. — Сам-то как будешь?

— Что? — опять брякнул К. У него это выходило довольно глупо.

Чарли Буковски закатил глаза и помотал головой. Затем он вздохнул, точно говоря, как ему нелегко.

— Вы же – это он? — нерешительно произнес К.

— Он? — переспросил Буковски, скривившись, будто разом махнул полстакана водки.

— Ну, это… ммм, — подбирая нужные слова, К. начал мямлить. — Как бы сказать, вы-ы-ы случайно не Чарльз Буковски, писатель?

— А что, похож?

— Очень, очень, — воодушевился К. — Сами посмотрите на фото... Удивительное совпадение какое-то.

— Совпадений не бывает! Ни удивительных, ни обычных.

К. показалось, что нечто подобное он уже слышал или читал... Мистер Буковски взглянул наконец на протянутое ему фото на обороте книжки.

— Считаешь, что я похож на этого засранца? — спросил он, сохраняя удивительное спокойствие.

— Ну да, очень похож. Жалко, что я не женщина — у них всегда при себе имеется зеркальце. Вы смогли бы убедиться, что я не выдумываю.

— Жалеешь, что ты не баба? Ты случайно не извращенец?

— Да нет, я в том смысле... Ну, женщина всегда имеет при себе зеркальце, и если бы оно у меня было, вы смогли бы заглянуть в него и убедиться, что сходство ваше с фото мистера Буковски просто поразительно.

— Что тебя так удивляет?

— Но как такое возможно?

— Да откуда мне знать?

— А как здесь появились, вы помните?

— Конечно, ведь я не сумасшедший. Гулял по набережной, присел на скамейку, а здесь ты со своим фото... Вот так и появился.

К. вдруг вспомнил фразу о том, что не стоит разговаривать с незнакомцами. На мгновенье он решил, что сходит с ума. Следом пришла другая мысль: «Я сплю, и этот Буковски мне снится»

— Это сон, — почти крикнул К. — Просто сон. Я сплю, а вы мне снитесь... Во сне ведь может произойти всё что угодно. Именно поэтому вы здесь, именно поэтому вы говорите со мной по-русски.

— Да ты, я погляжу, гений, — язвительно ответил мистер Буковски. — Уверен, что сон?

— Ну конечно, самый настоящий сон...

— А вот посмотрим, — загадочно произнес Чарли Буковски и вежливо попросил собеседника протянуть ему руку.

— Это ещё зачем? — неуверенно спросил К.

— Должны же мы убедиться, что это всего лишь сон?!

К. осторожно протянул руку. Чарли Буковски проворно ухватил её своей крепкой ладонью и больно ущипнул тыльную сторону кисти. Произошло всё настолько быстро, что К. едва успел отдернуть руку и выкрикнуть: ай!

— Что-то не похоже на сон, — произнес мистер Буковски. — Есть ещё предположения?

К. откинулся на спинку скамьи, скрестил на груди руки и, не глядя на своего собеседника, хмуро ответил:

— Тогда это можно назвать чудом.

— Как только мы чего не понимаем, так сразу это чудом называем, — язвительно продекламировал господин Буковски.

— А по-вашему, как это можно объяснить? Легко всё подвергать кри-

тике и ничего не предлагать самому.

— Разве объяснение что-то даст, и зачем нужно всё объяснять?

— Ну, наверное, чтобы понять.

— Понять что? Мы встретились, значит, так было необходимо. Кому или чему — разве важно? Зачем нужно всё разъять на молекулы, атомы? Чтобы в конце концов заявить: вот оно, чудо? То, чего быть не может, но вот оно, вот — смотрите, это же удивительная диковина, настоящая небывальщина. А, чувак, так что ли?

К. насупился и молча глядел вдаль, туда, где небо и море сходились в едва различимую тонкую линию.

— Да ладно тебе, чего надулся? Брось обижаться... — примирительно сказал мистер Буковски.

К. и правда немного обиделся. Появляется невесть откуда этот господин, который должен в земле лежать, и начинает дерзить, а ведь с ним разговаривали достаточно вежливо и вполне обходительно.

— Да не обращай ты внимания, — продолжал Чарли Буковски. — Я доставучий такой, потому что трезвый. Бухнуть бы сейчас чё-нибудь, а?

— Только не портвейн., — буркнул К.

— На хер портвейн, лучше водяры дернуть.

— Так это надо идти...

— Я схожу, — вызвался мистер Буковски и, резво поднявшись, отправился покупать спиртное.

Это выглядело так естественно и натурально, что только через минут сорок К. посетили сомнения. Сомнения были вовсе не по поводу реальности господина Буковски, а по поводу его порядочности. Через полтора часа К. больше не сомневался в том, что «козёл Буковски его кинул». Он был зол и уже не помнил того, что ещё недавно неожиданное появление Чарли Буковски казалось ему чем-то нереальным. Обман, он и есть обман, пускай его творит хоть человек, хоть призрак. Впрочем, призрак тоже мало чем отличается от обмана. А что тогда значит обман обмана? Либо это просто пустое место, либо напротив — чудовищное удвоение. В таких сложностях К. было трудно определиться, и тогда он решил по дороге домой купить себе выпить. Не для того, чтобы разобраться в возникшей дилемме, скорее чтобы позабыть о ней, позабыть Чарли Буковски и вообще этот дурацкий день. Завтра он припомнит всё, что произошло сегодня, да только, пожалуй, это будет похоже на то, как вспоминают сумбурный сон.

В магазине, не в силах ещё отделаться от эффекта, произведенного поразительным появлением мистера Буковски, К. машинально купил бутылку портвейна и уже после того, как вышел на улицу, вспомнил, что не особо хотел пить портвейн. «Что я за человек, — подумал К., — не делаю, чего хочу, а чего не хочу, делаю». К. злился на себя, но это продолжалось не долго. Человек не умеет долго злиться на себя, особенно когда есть что выпить.

Михаил Медведев
На сопках Маньчжурии
Рассказ

Заслуженный аккордеонист России Иван Владимирович Переливкин на пару со своим юным коллегой, гораздо менее заслуженным аккордеонистом Петей, носились по филармонии в поисках свободного зала для занятий уже в течение часа. Переливкин гневался:

— Поганые духовики! Расплодились как на дрожжах, сутками репетируют, а все равно лажают. Места свободного из-за них нет. Так ещё наглые! Орут, как ни зайдешь! Я, между прочим, заслуженный работник культуры! Мне уже шестой десяток пошел! А шпыняют меня отовсюду, как последнего школьника... Твою мать, Петя! Я в консерватории веду собственный класс. Мои ученики по всему миру гастролируют. Гордость России. А мне самому, вот видишь как, угла не нашлось порепетировать. Филармония поганая, чтоб она сгорела.

Петя раскраснелся. Он как раз заканчивал класс Ивана Владимировича в консерватории и волею судьбы попал в штат местной филармонии, где также работал его шеф. Петя знал, что приступы гнева очень плохо сказываются на сердце Переливкина.

— Иван Владимирович, примите валериановые капли, вам нервничать вредно.

— Ты давай тут не указывай, как мне жить. Нашелся, понимаешь, Дорн сопливый!

Петя замолчал, и в пустом коридоре повисла обидная пауза. Петя не знал, что такое Дорн, но из уст Переливкина это слово звучало довольно пренебрежительно.

— Ладно, Петь, прости меня, дурака. Ты прав, чего тут говорить.

Переливкин успокоился и сел на одну из банкеток, недавно установленных в коридоре.

— Натыкали здесь сидушек... Ремо-о-онт, понимаешь... Перестро-о-ойка... Стены выбелили, потолки покрасили, светильников колхозных навешали... Сидушки вот эти... Как на вокзале... Денег потратили, как на дворец, а получился колхоз. Через год все это изгадится... Бардак. Наворовали, сволочи, зла не хватает...

Переливкин достал валерьянку, замахнул в себя тридцать капель и отдышался. Петя тоже выдохнул. Последние несколько лет здоровье шефа ухудшалось очень быстро, и Петя сильно переживал. Он был из той редкой породы учеников, которые, может, и не отличались гениальностью, но зато с трепетом относились к своим учителям и не плели интриг.

— Может быть, мы ключ от сцены возьмем, там сейчас пусто, никого нет, просторно и удобно, — предложил Петя.

Михаил Медведев (2002) — родился в Красноярске. В 2022 г. поступил в ЕГТИ и учится на 3-м курсе мастерской Е.Г. Царегородцевой по специальности «режиссер драмы». В «Урале» публикуется впервые.

— Хех, удобно... Петь, запомни одну хорошую фразу. Мне ее давным-давно сказала знакомая девица. Ох, как вспомню... Короче... Дело было в девяносто пятом году. И мы с моим товарищем, не буду называть его имени, во-первых, потому, что он уже семьянин, а во-вторых, он ректор нашей консерватории. Сняли мы с ним однажды... Ну как это сказать... Девок в общем. Снять-то сняли, а вот куда их вести — об этом не подумали. Мы с ним на пару жили тогда в гостинке в центре города. Там и без гостей было тесно. И вот подъехали мы на моей ржавой колымаге к подъезду. У меня тогда четверка была. Рыженькая. Не машина, Франкенштейн. После нее даже на тракторе ездить комфортно. Так вот. Припарковались мы у подъезда и поняли, что отбивать уплоченные за час деньги придется по очереди. Комната-то одна... Бросили монетку. И тут, Петька, мне не повезло. Остался я в машине ждать. Но это еще что... Далее ситуация крайней неловкости: мы ж с другом тогда учились в консерватории нашей, где он, скотина, щас ректор. Так вот, мы учились, и нас заставляли слушать столько всего, Петька, столько всего... Тонны классики слушали. И слушали везде, чтобы успеть выучить к экзамену, в том числе и в машине слушали. Так вот. Сидим мы, значит, с этой дамой моей в ржавой четырке, а из магнитолы «Танец рыцарей» Прокофьева играет. И переключать смысла нет. На том диске, представь себе, полное собрание сочинений Прокофьева. Сидим мы с проституткой, молчим и слушаем Прокофьева. Тут она мне заявляет, дескать, давай здесь и сейчас. Говорит, ждать целый час за просто так не собирается. Я офонарел. Говорю: «Слушай, ну неудобно здесь». И в этот момент, Петька, эта мудрейшая женщина открыла мне глаза на всё мироустройство нашей жизни. Говорит: «Милый мой, запомни, где удобно — там всегда занято». Дааа, Петька... Пришлось мне в четырке деньги отбивать. Я со страху забыл музыку выключить. Поэтому все действо происходило еще и под чудеснейший аккомпанемент. С того дня я не могу нормально воспринимать Прокофьева. Но суть не в этом. Представляешь, в этой, прости господи, шалаве мудрости было больше, чем во всех наших сегодняшних директорах. Где удобно — там занято, Петька, запомни.

Петя пребывал в шоке. Никогда он не слышал от своего шефа такой откровенности. Желая как-то разрядить неловкость, он спросил:

— Так что, нам ключ от сцены дадут?

— Ясен-красен, не дадут! Там ремо-онт, понимаешь... Перестройка! Да дебилы, Петька, дебилы... Они сделали в большом зале «реконструкцию». Повесили там новую люстру размером с дом. Денег на нее угробили — мама родная! На эти деньжищи можно было отстроить три репетиционных класса, чтобы мы с тобой не носились тут как угорелые. Ну, я в дела администрации не лезу, ладно, купили новую люстру, не нравилась, видимо, старая. Но самое смешное знаешь, что? Новая-то люстра не работает ни хрена. Это я тебе по секрету говорю. Её уже месяц пытаются зажечь — хрена с два. Говорят, слишком много электричества жрет. Не выдерживает сеть, и пробки вылетают. А один раз ее вообще закоротило, чуть не загорелось тут всё. Поэтому большого зала нам не видать минимум год... Ладно, пойдем еще свободные классы поищем.

Петя, до отчаяния устав таскать в руках чемоданы с аккордеонами, остановился посреди коридора и сказал: «Нет, Иван Владимирович, так невозможно. Мы так вообще ничего не отрепетируем. Хватит уже по коридорам бегать», — и тут же испугался. Он в первый раз осмелился сказать своему шефу что-то в повелительном тоне. В приступе паники мозг Пети выдал предложение, которое в спокойном состоянии вряд ли пришло бы в голову этому робкому мальчику.

— Здесь на заднем дворе, — начал подмастерье, — есть каморка дворника. Кирпичная. Пойдёмте туда репетировать. Дворника сегодня нет.

— Да ты с ума сошёл, Петь, там света нет, топится она печкой. Неудобно. Давай еще классы посмотрим.

— Иван Владимирович, где удобно, там занято. Печь растопим, лампу зажжем. Дрова там есть. Репетировать хочу спасу нет! Скоро концерт играть, а у нас вальсы в ансамбле хромают, — ответил Петя.

К вечеру репетиционная зала размахом в восемь с половиной квадратных метров была готова. Под потолком рядом с чугунной трубой печки-буржуйки, коптившей пространство, лениво посвечивала керосиновая лампа. Как только посередине комнаты было установлено два пюпитра, коллеги сели репетировать. Концертная программа представляла собой ансамблевое исполнение музыки разных жанров. Прошли цикл мазурок, цикл танго. Прошли марши, и все без особых заминок. Но, как и говорил Петя, вальсы не шли. Топтались компаньоны на злосчастных трёх четвертях уже битый час. Педагогическое нутро подсказывало Переливкину, что дело тут вовсе не в технике. Переливкин закурил, вышел на улицу, велел Пете ждать его пятнадцать минут, сидя на месте, и никуда не уходить. Спустя полчаса он вернулся с портфелем и сказал:

— Знаешь ли ты, что такое русские вальсы, Петя?

Петя смутился:

— Ну, ясное дело, знаю. Русские вальсы это… вальсы. Размер три четверти…

Переливкин достал из портфеля бутылку коньяка.

— Какие ж это, к черту, три четверти… когда это жизнь наша. История. Вся история России в вальсах, Петенька. Не в маршах, даже не в операх. В вальсах, дорогой мой. В вальсах.

Переливкин налил две стопки коньяку.

— Ну-ну. Не смотри на меня так. Ты уже мальчик взрослый. Сколько тебе будет-то?

— Двадцать пять.

— Ну, вот и всё. Значит, меня не посадят. Максимум уволят из филармонии.

Коллеги выпили. Старший продолжал:

— Да и плевать, если уволят. Хуже уже не будет. Проживи свою жизнь так, дорогой мой, чтобы в сорок с лишним лет тебе не пришлось репетировать на заднем дворе в каморке уборщика. На чем мы… Да. История в вальсах…

— Но все-таки, — возражал Петя, — если говорить об истории, то марш…

— Что марш… Под марш люди идут либо на войну, либо в загс. Либо в последний путь. И неизвестно, чем кончатся все эти увлекательные процессии для человеческой души. Поэтому марш, несмотря на всю торжественность, это музыка, пропитанная неизвестностью. Страхом то есть. А вальс — это о том, что уже произошло. Вальсами люди праздновали победы...

Иван Владимирович запел:

—Ви-и-и-дел, друзья, я Дуна-а-а-й голуб-о-о-й… Да! Под звучание вальсов люди встречались с любимыми после долгих разлук. А это, друг мой, быть может, самый верный показатель. Только в разлуках проверяется эквивалент любви. И если после долгой разлуки тебе хочется закружить человека в вальсе, то, наверное, ты в кои-то веки не ошибся.

Петя опять смутился:

— Да. Только вот как мне все-таки играть вальс? Не клеится у нас «Маньчжурия», «Дунайские волны» тоже. Может, давайте попробуем динамики звука добавить? Как-то все скованно. Тяжело.

— Подожди. Сейчас все поймёшь.

Переливкин налил еще две стопки. Коллеги выпили. Переливкин пошмыгал носом и заговорил:

— Копотью так пахнет, не чувствуешь?

— Ну, дык дрова горят, — отвечал Петя.

— Да. Вальсы нужно играть так, дорогой мой, как будто ты рассказчик. И рассказываешь ты о том, что уже было.

— Что было-то?

— Что угодно. Война закончилась, разлука закончилась, смерть закончилась! Представь себе, дорогой мой, что свиток пергамента, на котором начертано всё человеческое горе, выгорает и вот-вот исчезнет. А на его пепелище взойдут ростки новой свежей жизни. В которой обязательно всё будет хорошо.

Петя заинтересованно смотрел на учителя:

— А как это, когда всё хорошо, Иван Владимирович?

Переливкин влил в себя стопку и, помолчав с две целых доли, ответил:

— Ну, так это для каждого по-разному. Для меня счастье — это когда у меня денег на поесть и за коммуналку заплатить хватает, когда я дело своей жизни люблю, и когда ученики меня уважают и слушают.

— А разве может быть хорошо всем, когда для каждого человека «жить хорошо» — это что-то своё?

— Наверное, нет, — продолжал Переливкин. — Вот для моей бывшей жены, по-видимому, счастье заключалось в чем-то другом. Поэтому мы и разошлись. Но нам никто не запрещает мечтать о всеобщем понимании и любви.

— Мечтать, и только? — риторически спросил Петя.

— Нет, мой любопытный друг. Играть музыку, мечтая о счастье. Что такое счастье, худо-бедно человек для себя объяснил. А вот феномен музыки человек объяснить не может. Как звуковые колебания на него влияют — до сих пор толком неизвестно. Но как-то влияют. И вызывают чувства, а вальсы непременно вызывают светлые чувства. Меланхоличные, но светлые. Вальсы излучают надежду. Это самое важное. Это нужно сейчас больше, чем что бы то ни было. Мы должны пользоваться музыкой. Использовать ее в благих целях, когда человеку плохо.

Иван Владимирович прокашлялся и спросил:

— Ты что-нибудь понял? Копоть такая, задыхаюсь.

Петя налил две рюмки коньяка, коллеги выпили, и окрылённый вдохновляющей речью подмастерье вдруг скомандовал: «И-и, начали». Сначала тихо, продираясь сквозь потрескивание дров в чугунной печке, зазвучали «Амурские волны». И дальше, развиваясь и закручиваясь, понеслись волны к берегам серебристого Дуная, там, переливаясь в триолях и шестнадцатых, набрали они максимальный темп и в конце концов опустились прибрежной пеной на зеленеющие «Сопки Маньчжурии». Два аккордеона в каморке дворника провинциальной русской филармонии облетели своей музыкой весь мир, заполнили звуком коптящийся воздух, и казалось, что распахнули двери, открыли окна, сорвали крышу у старой каморки, словом, сделали так, что вся копоть и дым от чугунной советской печки выветрилась, пустили на своё место чистый воздух. Когда музыка стихла, в каморке на мгновение осела звенящая тишина. Дрова в печи прогорели, лишь керосиновая лампа всё так же освещала пространство, лениво расталкивая теплыми лучами дымный, закоптившийся воздух. Запах гари всё никак не уходил, дышать становилось всё тяжелее. Петя впервые заметил на лице Переливкина что-то такое, чего он не замечал за все время совместной работы. В его потухших глазах промелькнуло что-то яркое, что-то молодое. Настоящее. Он улыбнулся, кивнул и сказал:

— Петя, дорогой, это было очень славно, ты знаешь. Очень прилично. Я рад.

Помолчав с парочку нотных тактов, Переливкин сунул пустую бутылку в портфель, собрал ноты и, убирая свой аккордеон в чехол, вдруг усмехнулся и сказал: «Мой учитель, царство ему небесное, узнав, что я тоже пойду преподавать, предупредил меня об одной неприятной данности педагогики. Он сказал очень просто, ничего не объясняя: «Не обольщайся, предадут». Я сначала не придавал значения его словам, а потом много раз убедился в этом на собственной шкуре. Но сейчас, представляешь, после стольких лет,

я снова думаю, что, наверное, все-таки не стоит это его суждение возводить в абсолют. Спасибо тебе, дорогой».

Переливкин убрал аккордеон в сумку и громко прокашлялся:

— Душно стало совсем. Что-то мне нехорошо. Выйду проветрюсь.

Он открыл дверь кирпичной каморки, вышел на улицу, закурил и поднял глаза. Ночное небо было усыпано звёздами, а в воздухе стоял запах гари. Задний дворик, окружённый стенами филармонии, был единственным живым местом посреди выгорающего пепелища. Мастер стоял у дверей каморки и видел, как с крыши, растрескиваясь и переламываясь пополам, валятся тлеющие опорные брусья. От новых свежевыкрашенных стен с хрустом отлетает штукатурка, в окнах лопаются стекла, из оконных рам валятся кирпичи. А двери, ведущие на задний двор, вдруг отворились под напором огня и рухнули оземь, как бы приглашая мастера зайти на уже сгоревшую сцену филармонии. Там, посреди черного от сажи и копоти зрительного зала, висела потухшая хрустальная люстра, которая, казалось, вот-вот должна была разорвать крепящие скобы и рухнуть посреди центрального прохода. Переливкин сел на ступеньку у дверей каморки, достал аккордеон и тихонечко, как будто побаиваясь кого-то потревожить или разбудить, заиграл известный старинный вальс. Он играл осторожно и так же осторожно и тихо подпевал самому себе.

Ночь светла, над рекой тихо светит луна,
И блестит серебром голубая волна.
Тёмный лес… Там в тиши изумрудных ветвей
Звонких песен своих не поёт соловей.

Петя приоткрыл дверь коморки и замер. В первый раз он слышал, как его шеф поёт под собственный аккомпанемент.

Он слушал его с замиранием сердца, не смея обнаружить себя лишним звуком. Когда мастер допел, во всей округе было слышно лишь теплое потрескивание догорающих перекрытий.

Наутро в новостях сообщили, что прошедшей ночью в городской филармонии из-за короткого замыкания случился пожар, все выгорело дотла. А два подвыпивших аккордеониста остались целы, репетируя вальсы в каморке на заднем дворике.

Алексей Виноградов

Синец

Рассказ

Хобби у меня такое… необычное, что ли. Рассказать даже некому. Но попробую. Вот, например, этот день. Утро. Солнце, забравшись в графин с водой, качается светло-лимонной медузой и перемигивается с никелированной раковиной. Со стекла на мореный дуб столешницы, с металла на стекло — зайчики прыгают туда-сюда, не находя места. Наконец успокаиваются.

Я у посудомойки. Смотрю на кухонный кран. Вспоминаю ночную рыбалку — как с Семеном вытаскивали из темно-зеленой воды огромного синца, и аспидно-синяя чешуйка блеснула в свете разъяренной луны, так, знаете ли, блеснула — словно взорвалась.

Кап-кап… кап-кап… Из крана подтекает вода. Надо Ане подсказать, чтобы вызвала сантехника. А вот и она, кстати. Взлохмаченная со сна супруга шаркает на кухню, сует нос на вторую полку, где обычно стоит овсянка. Вытаскивает картонную коробку, трясет. Хлопья шуршат сиротливо. Меньше стакана. Набрала воду в кастрюльку, поставила на плиту. «Эй, — уже стучит в ванную, — пора выходить!» Спустя минуту дверь распахивается, выскакивает Федор, зализывая взлохмаченную мокрую челку. Обмотавшись полотенцем, скрывается в своей комнате. Через пять минут выходит в прихожую, поправляя воротник и непослушные волосы: «Я опаздываю, есть не буду». – «И тебе привет», — ворчу я. Зайчики снова забегали по раковине, солнечная медуза в графине шевельнула лучистыми щупальцами. Лето. Какое удивительное лето.

Я выхожу на улицу. Живем мы в ближнем пригороде. Свой дом, то-се. Хорошо. Летнее утро буйно вторгается в городок. Припекает, машин еще мало, но скоро все проснутся. В субботу всегда так. В воскресенье не так. Там просыпаются раньше и машин больше.

Решаю прогуляться. Прежде чем перейти все еще пустую улицу, смотрю налево, направо — вот тоже бесполезная привычка. Собираюсь уже шагнуть, но… стоп. Еще раз смотрю направо. Посреди улицы, метрах в ста, растерянно крутит головой соседка — высокая и худощавая женщина лет пятидесяти, в плаще такого синего цвета, что он переливается, течет и светится, словно сшитый из неба.

Окликаю: «Эй!» Она резко поворачивается в мою сторону. То ли обрадовалась, то ли испугалась, но уже через мгновение стоит рядом со мной на тротуаре. «Вам так нельзя», — строго говорю. «А вы, — она оглядывает меня с ног до головы, — видите?» — «Что вижу»? — так же строго спрашиваю. «Вот это», — задумчиво произносит соседка. «Конечно, вижу», — отвечаю я. Еще бы такого не видеть. «Пустая улица, вам повезло, но впредь так

Алексей Виноградов (1974) — родился в Ленинграде. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Публиковался в журналах «Волга» и «Крещатик». В 2021 г. вышла первая книга «Прикорнуло время в Ульцине». В 2023 г. в издательстве «Лимбус Пресс» вышел сборник стихов «Фон/танка». В «Урале» печатается впервые.

не делайте, мало ли что у кого в голове. Носятся так, что… Вам надо быть не здесь». — «А где же мне быть?» — «Вам следует идти домой». — «Но вы же…» — «Никаких “но”, милая. Послушайте меня, раз уж я вас увидел, то поверьте и послушайте. Именно меня. Возвращайтесь домой. Не знаю, что уж случилось этой ночью, хотя, конечно, догадываюсь… но вы немного не в себе, это очевидно. Посреди улицы, в плаще, хотя солнце печет вон как. Идите домой, там самое безопасное место. Чтобы не заблудиться». — «Но я же…» – «Тссс», — подношу палец к ее губам — это всегда действует успокаивающе, обнимаю ее за плечи, заботливо запахиваю плащ и перевожу через дорогу. «Я хорошо знаю этот район», — бормочет она, пока мы идем к домам. «А это в данном случае неважно».

«Вот, идите. Обязательно еще увидимся. Берегите себя. Особенно сегодня. Хорошо?» Она кивает. Стоим у калитки ее дома. «Благодарю вас. Знаете, так все неожиданно. Я не знала, что все будет вот так… Вы зайдете? — спрашивает она. — Наш дом рядом, так что если что…» — «Да, конечно. Вы с мужем можете нас пригласить. Это же нормально». — «Да», — кивает она.

Я вообще суеверный. Если вот так прогулка начинается, лучше сразу обратно. Иду. Аня копается во дворе. С утра пораньше. В ярко-охристых резиновых перчатках выминает ямку под кустик настурции. Подкрадываюсь сзади. «Эй, — зовет она. — Я знаю, что ты здесь». — «Ну вот, — огорчаюсь. — Вечно ты все знаешь. Даже не напугать тебя». Глажу ее волосы. Легкий ветерок пробегает. «Знаешь, я сейчас встретил эту… забыл ее имя. Нашу соседку. Думаю, они скоро зайдут к нам». — «С чего бы?» — Аня поправляет прядки волос, выбившиеся из-под косынки. «Ну, просто зайдут», — я теряюсь, так всегда бывает в этих случаях. Аня пожимает плечами. Ладно. «Как хорошо, что ты есть», — говорю я и устраиваюсь в шезлонге.

Спустя пару часов они пришли. Высокий, поджарый муж под шестьдесят и она, соседка, тенью возле него. «Вы не могли бы зайти, — переминаясь с ноги на ногу, предлагает он Ане, — к нам. У нас стол накрыт». — «Да, конечно», — Аня укоризненно глядит на меня. Я поднимаюсь с шезлонга. Соседка все в том же светящемся небом плаще улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ. А что еще делать?

Идем. Народу много, в основном соседи. Человек двадцать. Все ходят, задумчиво посматривая на стол. Праздник, думаю я, а вы все такие скучные. Топчусь среди незнакомых, потом незаметно проскальзываю в соседнюю комнату. Там мама. Живет неподалеку, видимо, пригласили и ее. Подсаживаюсь к ней. Она, как обычно, жалуется: «Ну, вот, отец опять дурит, кидается вещами. Мычит что-то про тебя, мол, хочу видеть. Я говорю ему — ну что ты, а он хочет. Хоть кол теши на голове». — «Мама, но ты же знаешь… столько работы», — говорю ей. Она будто не слушает. «Понимаешь, тычет пальцем на календари свои футбольные, требует. Я не знаю, как теперь. Я же в город давно не выбиралась, не знаю, где их берут. Хоть убей».

В комнату заходит дымчатый котенок. Садится под стол, вылизывает лапу. «Кис-кис», — зову его. Он замирает. Чуть качнув настольное зеркальце на комоде, ловлю солнце в окне и гоняю котейку по полу. Мама глядит на солнечный зайчик, на то, как смешно кувыркается котенок, наконец улыбается. Ну, вот и славно. А то вот еще. Хватит расстраиваться, мам. Хватит.

Заходит Аня. Здоровается с мамой. «Пойдем отсюда?» — говорю ей. «Пойдем», — кивает она. Пересекаем людную гостиную. Соседка в аспидно-синем плаще шепчет «спасибо». «Не за что, — отвечаю. — Нам пора». — «Я попозже», — отвечает соседка. Ладно. Я же все понимаю. Еще увидимся.

Знаете, мы всегда проводим с женой целый день вдвоем. А потом я иду на рыбалку. Это и есть мое хобби. Вот и сейчас. Возвращаемся с Аней домой. Вечереет. Жена обнимает меня, шепчет: «Возвращайся пораньше». — «Да, — отвечаю. — Непременно вернусь. Я люблю тебя». — «И я тебя люблю. Завтра утром?» — «Да, на самом рассвете». — «Это хорошо. Я буду ждать».

В замке поворачивается ключ, вернулся Федор. На кухне на фоне окна стоит его мама, обхватив подушку, и что-то шепчет. На секунду Федор замирает, вешая связку в ключницу, потом, опустив глаза, молча снимает кроссовки. Лицо его как-то сереет мгновенно, становится взрослым и некрасивым. Сжав зубы, проходит в свою комнату. Ни слова не говорит. Я хочу ему сказать: «Сын, это не то…», но потом думаю — а зачем? Лишнее это. И не объяснишь. Выхожу.

Во дворе уже Семен с удочками и подсачком. «Может, не пойдем сегодня?» — предлагаю. «Ну, как так, надо же». — «Знаешь, я устал чего-то». — «А я как устал, — хмыкает Сема. — Но рыбалка есть рыбалка. Если взялся — надо делать». — «Может, тогда уже помельче рыбы наловим? Чтобы не так. А то — вот», — я киваю в сторону соседского дома. «Ты уж определись, что тебе важнее», — отвечает Семен. Я смотрю на друга, на шезлонг, белеющий в сумраке вечера. «Знаешь, о чем жалею? — говорю. — Что не успел сказать, что люблю их. Они меня не слышат. Только она». — «Жена, — пожимает плечами Семен. — Что ты хочешь — она тебя и мертвого не отпустит. Пойдем».

Он смотрит на вновь разъярившуюся луну и добавляет: «Клев-то ого-го будет».

Амарсана Улзытуев

В Индию Духа купить билет*

Поэма

Веди меня от смерти к бессмертию...
Упанишады, Брихадараньяка, I, 4.

Часть II

IX

Где достают из озер ил для грядок, покачивающихся на воде,
Где, стоя, гребут веслом при помощи ноги, а свободной рукой
забрасывают сеть,
Где старые монахи пахнут апельсинами, а молодые учат кошек
акробатическим прыжкам,

Где еще действует запрет Будды — монахам нельзя прикасаться к деньгам,
Где согласно кодексу Винае — можно иметь только восемь вещей,
Где по всей стране, монахи, и стар и млад с миской в руке смиренно
принимают подношения —

Путь к нирване лежит через пустошь корней и желаний,
Пусть пустота, покачивающаяся в пустоте, твоим пастбищем будет,
Путы страданий тот избежит, чья неисповедима тропа,
как у птиц в небесах

— так Дхаммапада гласит…

Очарованный странник,
Очи долу свои опустив,
Очередь свою выжидаю с миской пустой…

Природа говорит: отдай!
Слепыми голосами птичьих
Летящих в бесконечность стай
Слепящих, несчастливых, нищих.

Амарсана Улзытуев (1963) — родился в Улан-Удэ. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор четырех поэтических сборников. Живет в Улан-Удэ и в Москве.

* Первая часть поэмы публикуется в августовском номере журнала «Дружба народов».

Всего себя, свою любовь, мечты
Летящим в бесконечность сирым,
Слепым, хотящим красоты
Горящей высоко над миром.
Ее, щемящую, вернуть,
Вдохнуть в зияющие души,
Пойми — твой, Бодхисаттвы, путь
Покуда есть последний неимущий…

X

Поодаль железного столба, отлитого кем-то,
Почему-то не ржавеющего с начала времен,
Площадка — фундамент для минарета (конец 12 го века),
Простые индийцы —

Индусы, мусульмане и сикхи, джайнисты и христиане,
И дети, и голуби, и солнце, и низко летящие самолеты
Под крики попугааев,
Цветы гурмухор, обезьяны и бурундуки...

Приснилось мне утро влюбленных друг в друга людей,
Чья вера в любовь никогда не сдается,
И люди от этого только еще молодей,
И небо синее, и солнечней солнце.

Приснилось мне утро бездонных, как небо, людей,
Где каждый тобой до того бесконечен,
И бесконечнее мужество этих мужей,
И целомудренней женственность женщин.

И радостней радость смеющихся этих детей,
Крутящих шары планет разноцветных,
И счастье огромней, и горе еще сиротей,
Приснилось мне утро бессмертных…

И я в это утро с тобою, родная, иду,
Туда, где рождается мир удивленно,
В огромное утро, которое радостно жду,
Которое мной и тобою бездонно…

XI

Из биллионов молний и мгновений,
Квадриллионов взрывов малых и больших,
Любой из дышащих, летящих и ползущих
Тобой является и состоит.

И нет ни вечностей, ни личностей, и время
Идёт само собой и думает тобой,
Поэтому во всём виновен,
Покуда тварью будешь бессловесной.

И нет покуда миросотворенья,
Как нет и не было большого взрыва,

Тем более невинных, в том числе младенцев,
Доколе будешь червь дрожащий.

Всё будет как до этого и было
Вселенною и прочей чепухой,
Материей ты будешь и природой,
Мгновение пока не остановишь...

И когда ты устанешь и захочешь не Быть,
Ты попробуй не думать о смерти —
Удивленно смеяться, как дети,
Изумленно, как дети, навеки любить.

Разреши бесконечность себе подарить,
Ни единой звезде не угаснуть,
И могучему солнцу светить и светить,
Если Быть — это все-таки праздник.

И красавице-маме без устали жить,
И отцу возвратиться из бездны,
Чистой речке из детства все камешки бить,
И уже ничему не исчезнуть.

И росу на рассвете по зернышку пить,
И лететь на закате за птицей,
И на свете всему ненасытно так жить,
И уже ничему не избыться.

И любимую, ту, что хотел бы забыть,
Ты уже не забудешь беспечно
Во вселенной бессмертья, в усилии Быть,
Сильно-сильно любить, нежно-нежно…

XII

Только танец индийский никого не обманывает,
Танцовщица поет о девушке на грузовике,
Той, что молит шофера — «помедленней,
Так колотится сердце под страстный мотора звук!»

Татдж Махал с его горделивыми башнями, с его самоцветами,
Тот, что стоит на великой Ямуне-реке,
Толпы ненасытных туристов к себе зазывающий,
Торча пустячком, не сравниться с ее красотой,

То как солнце закрутится, то богиней закружится,
Тоненькая, с девятью друг на друге кувшинами на голове,
Тут же петь продолжая о девическом сердце,
Тук-тук-тук — что быстрее мотора стучит — «Хочу быть с тобой!»

Нескончаемый танец Калбелия с акробатическими трюками
Неприкасаемых раджастанских племен,
Эти так дивно танцуют и змей укрощают,
А те ловят крыс и питаться должны ими тысячу лет

Безднами одаривающий, зовущий в эфир,
Ликующий солнцами и мотыльками,
Этот мир, сверкающий этот мир
Должен завален быть стихами,

Поющими об изумрудных каждому днях
Непрекращающегося земляничья,
О днях, целующих этих днях
Одетых в полеты птичьи.

И в этом волшебном брусничье все как один
Пребудем, не умирая,
Космос взгляда куда ни кинь —
О жить без конца и края!

И в безграничьи этом уже не стареть —
До самых солнц смеяться,
Немощным заново вселенными петь,
Росой по утру умываться.

И, веруя, что будет так хорошо,
Как больше уже не будет,
Еще, пусть хочется жить еще,
Сильнее смертей и судеб!

И даже в необратимом ничто земном,
Мир мой, сияющий мир мой,
Верую мы, ни за что не умрем —
Блаженно и неутолимо.

Ибо вокруг хмельное черничье твое,
Ласкающее вечностями и лепестками,
А смерть мы победим вдвоем
Бессмертными стихами.

XIII

Слон, вселенноподобный, купается в мутной от ила реке,
Словно самое первое слово в начале времен,
Весь коричнево-бурый, местами похожий на землю в безвидной воде.
Весел в воде колыхается, хоботом плещет, играется.

Следом погонщик на древнем наречье что-то кричит
Слезть со слона не успевшей туристке — как раз из России,
Или задумано так, чтобы с радостным визгом, сидя на холке могучей,
Ила и мутной библейской воды нахлебавшись, выныривать.

Погонщик простой вселенноподобного слова,
Понял я смысл исполинский слона,
Пусть тебя искупает, Россия, могучее древнее слово, в солнцеволосой воде,
Путь ведь обратно не близкий.

Вечность. Погонщик простой, божественноокое слово купаю,
Весь в допотопных брызгах миров.
Словно самое первое слово, огромное, вечное
Слово купаю...

И откуда земля подо мною,
И докуда звезда надо мной
Сокровенной прорыто рекою,
Вдохновенной добыто мечтой…

На одном из индийских наречий,
На котором легко до того
Загораются зоркие свечи,
Фитильки далека твоего,

Я люблю, я пою, я играю
И не знаю совсем ничего,
И не ведаю что продолжаю,
И огнем полыхаю кого...

Но пылая свечи головою,
Сквозь санскрит я любуюсь порой —
Языки, как слоны к водопою,
Молодые идут за тобой…

XIV

Гоанской волны стоголовое счастье...
И раскаленный песочный берег в сто километров,
где пятки болят, словно мыслят...
И вот уже тело — наполовину из тела
синей водой обезглавленное
в момент, когда спина еще парит над вычетом себя,
и миг без выдоха — еще не вдох,
а выход — а вход головой
в отверстие головы...

и еще мне могло припомниться
нижеследующее из блаженств:
блаженство губами вымерить
каждую пядь вселенной
еще до того, как возлечь
на бесчисленные колена рода...

И десять тысяч драгоценных миров
на капельках брызга,
и мириады лотосооких начал
на заглядение чайкам,
и величайшее из всех бессмертий —
бессмертие смело впадать
блаженным ручьем загорелым
в свое предстоящее тело,
летящее вниз головой…

Я вижу дочь на серебре волны
Вот-вот к ней скатится багровое ярило,
Чтоб тоже сфотаться на память для луны
И хвастаться ей «Я же говорило!»

Играет бриз у смоляных корней
Смешных кудряшек, будто на ситаре,
Она с рождения в златом загаре,
У ней индийский океан, как сари,
Так чудно смотрится и плещется на ней.

Теперь доедет до Гоа любой,
Здесь рупий стоит — где-то наш целковый,
Стоят толпой и стерегут покой
Вкруг наших рюкзаков бесхозные коровы…

Но я-то покупал билет в страну,
Откуда нет обратного билета,
Исполненный пространства и планеты,
Напротив сонного в чалме соседа,
В аэропорту тихонько прикорну…

XV

Тишина тишины в тишине,
как матрешка матрешки в матрешке,
до того, что уже вот-вот
впервые за много лет
услышал ужа моего, он, шурша,
алмазен и плавен,
а при выдохе
тверд и серебр,
когда все остальное меня —
нирвана в нирване

Как ангелу это так нужно
Кольчужно расправить крыло,
Так чувствовать чувства жемчужно
Душе почему-то взбрело.

И ей ничего-то не нужно,
А только послушно сверкать,
И плачучи так, и недужно
Не нужно ей смысла искать.

А только пронзительно строго
Играть изумленным лучом,
Как будто у ангела бога
Моля ни о чем, ни о чем...

Как будто в мятущемся мире
Одна удивленная гладь,
Как будто в бездонном эфире
Ей нечего больше желать…

XVI

Нет пути к Брахме, нет,
Небо Его не найти,
Нежной бездны Его, отчей ласки Его,
Нем и холоден вечности лик.

Несть числа ищущих путь к Нему,
Не счесть сердец, летящих к Нему,
Невесть куда, неизвестно к кому, непонятно за чем,
Негде усталому в космосе вечном голову преклонить.

Нет конца ему и начала,
Нет ни верха, ни низа,
Только лишь звездная пыль непонятно зачем,
То ли начало всему, то ли конец…

Мириады галактик, бутоны свои распуская,
Мир за миром творя, в никуда ниоткуда летят,
Грешная жизнь за жизнью бурлит, толкаясь, шкворча, трепыхаясь,
Греясь на солнцах неисчислимых планет.

Смысл всего — это смыслы, созданные словно солнца,
Смерть всего — это смерти, потерявшие смысл
Осуществляя смыслы, зиждется жизнь за жизнью,
Освобождая космос, побеждается смерть.

Нет пути к Брахме, нет,
Смертным заказан путь,
Дай же хотя бы росинку бессмертья,
Джай Гуру Дэйва Ом.

Не будет пощады усталому телу
Опять превратиться в траву и животных,
И как бы оно отдохнуть не хотело,
Ему ни секунды не будет на отдых.

Не будет ему, утомленному жизнью,
Лежаться в гробу, разлагаясь на звезды,
Пусть каждую клеточку мукою стиснет,
Пусть легкие рвет несмолкаемо воздух.

В горниле мучений, исканий вслепую,
Испытывать бездн материнскую нежность
Да здравствует смертное тело, вживую
Летя головою вперед в бесконечность!

1986–2019

Игорь Одиноков

Опасные хобби

Рассказы

Последний магазин

— Так что, ты правда никогда не был в магазине?

— Нет.

— А хоть знаешь, что это такое?

— Я слышал, что водку взять довольно-таки трудно...

— Довольно-таки... Ха. Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— Не густо, — усмехнулся маленький, коротко стриженный человек мальчишеского телосложения. — И что ж, тебе романтики захотелось или жить надоело?

— Да ты что, Шурка, сдурел — такого с собой брать?! — встрял в разговор высокий белокурый обаятельно курносый парень. — Людей только смешить!

— Помолчи, Петя, — недовольно поморщился Шура и, щурясь, пристально всмотрелся в стоящего перед ним человека. — Ты не ответил на вопрос. Романтики, да, хочется?

— Выпить хочу.

— Хочет он! Да ты хоть знаешь...

— Петя! — утомленно буркнул низкорослый Шура. — Я же сказал тебе... Так, значит, выпить хочешь? — По тону чувствовалось, что ему понравился ответ незнакомца. — А я тоже хочу. Кличут-то как тебя?

— Виталий. А если считаете меня трусом или думаете, лишней обузой буду, то так и говорите, и нечего...

— Не шуми ты, — миролюбиво проговорил Шура, доставая из кармана сигареты, — нервы побереги, они еще пригодятся. Ну, а меня зовут Саша, это Петя. Завтра пойдешь с нами в магазин, Виталик.

— Вот этого я не понимаю! — взорвался Петя. — Ты хоть бы объяснил ему, Шурка, что такое магазин, глядишь, вьюноша и в штаны навалит.

Виталик сжал зубы, и большие воспаленные глаза его нервно блеснули. Петя, почувствовав перспективу выяснения отношений, тоже внутренне напрягся. Шура покачал головой и невозмутимо закурил.

— Ладно, мужики, хорош вам, — помолчав, сказал он. — Ты, Виталик, не дергайся, и ты, Петька, кончай на парня наезжать. Сам три раза был в магазине, а блатуешь, будто все триста.

Игорь Одиноков (1953–2013) — окончил математико-механический факультет Уральского государственного университета. Жил в Екатеринбурге. В 1987 году написал повесть «Наблюдательная палата», которая была напечатана в журнале «Урал» в 2006 г. (Премия им. П.П. Бажова). В «Урале» также публиковались повести «Осточертевший», «Килька пряного посола» и рассказы.

— Так я ничего, просто...

— Замяли. Итак, завтра встаем на рассвете. Предлагаю заночевать у меня.

...В эту ночь, лежа на низкой поскрипывающей койке, Виталик долго не мог уснуть. Как быстро потекли события. Сегодня днем он впервые приехал в этот город, спросил у сидящих на лавочке парней, как добраться до магазина, завязался небольшой разговор, и вот уже завтра утром он едет туда. Виталик долго лежал, широко открытыми глазами смотрел в потолок, размышляя то о своих новых случайных знакомых, то о предстоящем походе в магазин, то о прошлом, а сердце гулко колотилось в груди в предчувствии неизведанного. Потом вспомнилась родная деревня, покойный дед Кондратий. Седой, костлявый, сморщенный, как сухофрукт, полулежал дед на старенькой русской электропечи и, попыхивая мундштуком, говорил слабым, хрипловатым, печальным голосом:

— Да, внучек-внучек... Чую, помру скоро. Ноги не ходють, спина не гнется, да и сами дохтура давно помирать советуют. И жаль мне тебя, ой как жаль. Один останешься. Но пуще того жалею, что счастьица тебе попробовать не судьба.

— А какое оно, дед, счастье?

— О-о-о... Счастье... Словами разе ж это растолкуешь. Да я и не писун какой-нибудь гениальный, чтоб красочно-то говорить. А только скажу, давным-давно все это было. Я тогда молодше тебя был. И продавалось счастье, почитай, на каждом углу. Стоило недорого, не веришь, вот те крест, — почти что даром давали. Водкой оно звалося, счастьице-то наше. Кажинный день, почитай, я счастливый ходил, кажинный день божий!

— А какой она была, водка?

— Водка... Белая, как водица. А скус горький, ой горький скус. Мне б хоть разок ишшо скус ее попробовать — хоть завтра за это помереть согласен. Выпьешь, бывалоча, ее, родимую, — и все меняется. И сам себе хорошим кажешься, и вокруг все хорошие, и вся жизнь-то такая хорошая-хорошая. Милая жизнь... Одно слово — счастье!

— Дедушка, а куда же водка пропала тогда? Месторождения иссякли?

— О-о-о... Ничего ты не знаешь. Запретили счастье нам... Те, что у власти. Попервоначалу-то водка только дорожать стала. То б еще полбеды. Но все меньше и меньше становилось водки. И за какие грехи покарал нас господь? На моих глазах магазины закрывать стали. Один за другим, один за другим. А какие магазины работали ишшо — там водка в драку. И не осудишь ведь людей, всем счастья хочется, а на всех перестало хватать. Скотов из людей сделали, так-то, внучек. А которые доступ к водке имели, так те втридорога торговали. Сперва по 20 рублев, потом по 50, по 100. Наживались на горе. Но и это потом кончилось. Все кончилось...

— И что, дедушка, совсем нигде не осталось счастья?

— Не знаю... От одного проезжего слыхал намедни, есть, мол, такой город, где остался магазин водочный. Один на всю страну. Последний. Но там такое, говорят, деется, что не приведи господь... Эх, Виталичек, зазря я тебе, старый, голову морочу. Но жалко мне тебя. Я-то счастья вдоволь хлебнул, а ты опоздал родиться. Поздно уже! Да вставай же ты, елкин свет!

Виталик вздрогнул и открыл глаза.

— Хорош дрыхнуть, пора! — у кровати стоял Петька. В окна вползал мутный рассвет холодного осеннего утра. Виталик медленно поднялся с койки, потянулся.

— Так, брат, — увидев его, кивнул Шура, — я пока картошки разогрею, а ты разомнись, гантельки вон подергай — полезная штука, — тут он резко ткнул Виталика кулаком в живот. — Молоток! Пресс держишь!

Виталик растерялся — обижаться ему или нет, но, видя, что Шура больше не обращает на него внимания, молча взялся за десятикилограммовые гантели.

— Давненько я не был в магазине, — натягивая на себя плотно облегающий тело комбинезон, нервно усмехнулся Петя. — Давненько косточки не разминал. Ты, кстати, завещание-то черканул, вьюноша? Зря, между прочим, хорошая примета. — Он вложил в набедренный кармана выкидной нож и, застегнув карман на молнию, вновь посмотрел на Виталика. — А ты что, в этом клифте и в магазин собрался? С костями же обдерут, елкин свет!

— М-да, — критически оглядев одежку Виталика, сказал Шура, — об этом я забыл. Одежда должна быть обтекаемой, чтоб в любую щель проскользнуть, а застрянешь — хана. Ладно, дам я тебе мой старый комбинезон. Сам оборудовал. Счастливый комбинезончик, между прочим, я в нем в магазин раз сорок ходил, и только однажды ребро поломали. Так, мужики, пойдемте хавать пока, что ли.

С удовольствием поев рассыпчатой картошки с маслом, Виталик надел комбинезон и придирчиво оглядел себя в зеркало.

— Как по тебе пошит, — одобрительно заметил Шура. Петя тем временем достал с полки три запыленных мотоциклетных шлема.

— Да оставь ты эти балдахины, — сказал Шура, — тяжело в них.

— Ага! А по башке если вдарят?

— Хорошо если вдарят, то и шлем не поможет. Я, коротышка, в шлеме и в дверь-то не пролезу, и тебе, Виталя, надевать не советую. Это раньше народ изощрялся — шлемы, бронежилеты. Конечно, не больно, когда в толпе тебя начнут расплющивать, а чуть равновесие потерял — и крышка. Не вывернуться, так и задохнешься в доспехах. Налегке надежней.

— А, смерть не обманешь, — махнул рукой Петька, — присядем на дорожку-то?

— Это дело святое, — кивнул Шура и, опустившись на табурет, неторопливо закурил. Виталик тоже достал сигарету. В тишине было слышно нервное тиканье стенных часов.

Во дворе было безлюдно, лишь черный, как юмор, кот куда-то осторожно пробирался по кромке газона. Под ногами похрустывал ледок, где-то шуршали шинами редкие пока автомобили.

— О, и не спится ведь, — проворчала попавшаяся навстречу старушка с помойным ведром. — Спозаранку вылезли, смертники. Скорей бы всех вас там передавили, сволочей!

— Айда с нами, бабуся! — крикнул ей Петька. — Потолкаемся, старая!

— А что, народ не любит тех, кто ходит в магазин? — спросил Виталик.

— На-род, — протянул Петька, брезгливо сплевывая, — трусы все. Небось поставь перед ними водку, так не откажутся, а чтоб в магазин сходить — слабо.

— Ну, этой-то, положим, до магазина-то не добраться, — заметил Шурка, — дай бог от помойки до дома свои кости доволочь.

— Так и нечего варежку разевать! Небось пожила в светлые времена, попила без всякого труда водки, а что мы теперь тоже хоть чуть-чуть пожить хотим в удовольствие — так сразу сволочи!

— Мне дед тоже любил про старые времена рассказывать, — вдруг неожиданно для себя разоткровенничался Виталик. — А вот скажите, как это бывает, ну, когда выпьешь?

— О таком не расскажешь, — улыбнулся Шурка, — надо самому распробовать.

— Я первый раз выпил, думаю, ну и пакость, ну и горечь, — с увлечением заговорил Петька, — за что я жизнью рисковал, елкин свет? А потом вдруг хорошо мне стало, как никогда. Радостно-радостно, тепло так... Эх, лучше не говорить об этом — слюнки текут!

— По науке это зовется состоянием опьянения, — сказал Шурка, — ни с чем не сравнимая штука. Эх! Ладно, кончаем базар. Автобус!

Несмотря на ранний час, автобус был полон. Ехали исключительно мужчины средних лет, их заспанные лица были угрюмо-сосредоточенны.

— Все туда, — сказал Шурка Виталику.

— И все местные?

— Почему. Со всей страны люди съезжаются, вроде тебя. Не зря в городе на каждом углу гостиница. Денежек за год поднакопят, в отпуск выйдут и катят сюда счастья попытать.

— До магазина-то далеко еще? — спросил стоящий у окна лысоватый мужчина.

— Минут сорок езды. Да пешкодралом с полчасика.

— Додумались построить у черта на рогах!

— Скажи спасибо, что на Луне не открыли.

Автобус остановился, впуская в себя новую партию людей, почти все были в спецодежде, кое-кто держал в руках мотоциклетный шлем.

— Шурка! — толкнул Шурку в плечо высокий, коротко стриженный рыжий парень с веснушчатым скуластым лицом. — Куда едешь, змий?

— За грибами, — нехотя буркнул Шурка.

— Да? А я было подумал, уж не в магазин ли часом? — оскалил зубы Рыжий. — Вместе веселее было б. Позавчера-то из Альбертика там кишки выпустили — вот смехота-то была! Как в гирляндах, все в кишках запутались. Я тоже дяденьку одного перышком в животик ткнул — да там и оставил на память, иначе б руку вывернули.

Шурка молчал, не глядя в веселые, нагловатые глаза Рыжего. Кое-кто в автобусе, прислушиваясь к разговору, понимающе посмеивался.

— А мне сегодня снилось, что из тебя, Шурка, в магазине барельеф сделали, — продолжал паясничать Рыжий. — Не хочу тебя огорчать, но у меня что ни сон — то в руку, имей в виду. Да не падай духом, мне еще батя-покойник говорил, мол, хоть сто раз в магазин войди, выйдешь, один черт, девяносто девять.

— Не устал каркать-то? — раздраженно поморщился Шурка.

— И что ты такой занудный. Едем, можно сказать, отдохнуть, развеяться, а он нервничает. Видали? У всех нервы! Моего брата в том месяце в магазине растоптали, так я так распсиховался, что одному дяденьке нос откусил. Потом вышли из магазина, он говорит: «Ну, объясни, зачем ты это сделал?» А я говорю: «Да черт его знает... Так, от безысходности». Ну, и выпили с ним в тот день вместе, чтоб без обиды. Сейчас он домой укатил, в Хабаровск, сюда-то в отпуск приезжал, кайф попробовать. Вот жене сюрприз-то будет, а?

Так, за скучноватой болтовней незаметно выехали за город, по обе стороны дороги замелькали сосны, а вскоре автобус и вовсе остановился на конечной. Никакого магазина видно не было, все бодрым шагом шли по широкой тропе. Тянуло холодноватым ветерком, и Виталик изредка поеживался.

— У, ладно, Шурка, ладно, Петька, — подмигнул Рыжий, обгоняя приятелей, — может, в магазине встретимся. Хо! Да вы никак новобранца с собой привели! — присвистнул он, увидев Виталика. — В первый раз в первый класс, ага?

— С чего ты взял? — вызывающе бросил Виталик.

— Так ведь, ха-ха, написано же все на морде твоего лица. Идешь, таращишься, как девочка-невесточка на брачную раскладушку, мол, что ж день грядущий нам готовит. Не бойсь! Ну, вначале, может, будет немного больно, но потом ты уже ничего не почувствуешь. Счастливо! — И Рыжий широкими шагами заспешил вперед.

— Придурок какой-то, — вполголоса обронил Виталик.

— Да уж, — согласился Шурка, — неприятный тип. Хотя и смел, и ловок, как черт, но от души, по-моему, одна плесень осталась. Кто из знакомых ни погибнет, — ему, похоже, только ржачка. Я б с таким в магазин не пошел. А вон он, кстати, магазин, видишь?

Сразу же за группой сосен с обгорелыми стволами взору приятелей открылось приземистое железобетонное здание магазина. Магазин представ-

лял собой подобие гигантского бункера с черными металлическими воротами, возле которых стояли и сидели уже сотни и сотни людей. Чуть поодаль от магазина народ рассеивался, многие сидели кучками вокруг костров. Виталик поймал себя на мысли, что ожидал увидеть большее, и тут же спросил себя: а что, собственно, большее? Это, конечно, не ботанический сад, но ведь и не Освенцим же.

— С ночи ждут, — заметил Петька, кивнув на народ. — Тысячи три собралось, попотеем сегодня, елкин свет!

— Не так страшен магазин, как его малюют, — афористично проговорил Шурка. — О, давайте-ка к тому костерку подсядем. Знакомые рожи.

У костра сидели четверо парней и, пожевывая печеный хлеб, изредка косились в сторону магазина.

— А, вот и Шура!

— Привет.

— Ха, ну как же, без Шуры и магазин не магазин.

— И ты, Петя. Здорово!

Виталик тоже присел к костру, достал сигарету и прикурил от дымящейся ветки. Вокруг мерно гудел народ, временами то тут, то там вспыхивали короткие перебранки, слышался смех, у одного из костров звучали фальшивые переборы гитары. Во всем и во всех ощущалось напряжение ожидания, быстро передававшееся и Виталику.

— А что, магазин еще не открыт, что ли? — спросил он, с интересом разглядывая большие черные двери, на которых были отлиты изображения хохочущих чертей и зловещих скелетов с косами.

— Что, парень, чердак поехал? — хохотнули сидящие у костра.

— Не обращайте внимания, — улыбнулся Шурка, — первый раз у магазина человек. А открывают в два часа, Виталик.

— Сейчас-то ерунда ждать. Еще не холодно. А вот зимой — бритва. Врежет под сорок градусов, а люди все равно спозаранку съезжаются, позже двенадцати подъедешь, так и в магазин не влезешь. Постоят так часиков пять-шесть, глядишь, к открытию половина обмороженных, а кое-кто и окочурится у входа. Так-то, брат...

— В морозы, верно, не столько от давки, от булавок, от ножей, сколько от стужи народ мрет, — вздохнул Шурка. — Я зимой раз пальцы ног сам не заметил, как отморозил. И в магазин в тот день не вошел, и три пальца потом отняли.

Виталик молча курил, пытливо вглядываясь в лица собеседников. Его с самого утра мучил один вопрос, но он все медлил спрашивать, зная, что наверняка подымут на смех. Но наконец любопытство победило.

— Я в первый раз, ребята, — заговорил он, — мало что знаю о магазине. Но вот вы говорите, убивают там, все с ножами и прочее. За это ведь и посадить потом могут, да?

— Ну, темнота, елкин свет, — Петька только покачал головой.

— Ты серьезно ничего не знал? — Шурка тоже удивился. — В магазине разрешено использовать все, кроме огнестрельного оружия. Убить человека в магазине не считается преступлением, и трупы из магазина не выдают родственникам, не хоронят, а сжигают. Был человек, вошел в магазин и исчез — будто никогда и не было.

— М-да уж, — тяжело вздохнул кто-то. — Бог создал водку, черт — магазин...

— Что на черта валить, — с неожиданным озлоблением сплюнул Шурка, — не хотят власти, чтоб нормально пил народ. А продают в таких условиях, чтоб мы, самые упорные, здесь друг друга сами постепенно поистребляли. Все четко, все продумано!

— Особенно западло, если новичка кокнут. Мы хоть водку попробовали, знаем, за что рискуем, но ведь обидно, если, водки не пригубив, сразу же в печь.

— Все правильно! Жили раньше без водки — ну и дальше живите, нечего сюда соваться. Это уж нам, кто попробовал, без этого дальше и жить-то глупо.

— Ты так говоришь, будто с колыбели водку пил, — возразил Шурка приятелю. — Все мы когда-то сюда впервые пришли, так что теперь из себя корчить?

За разговорами время шло быстро. Толпа росла, густела, вскоре уже все потушили костры, поднялись на ноги, гул голосов становился громче, возбужденнее. По крыше магазина, сварливо перекаркиваясь, бродили сытые вороны.

— Гляди-ка, опять амазонки притопали, — сказал Петька, кивнув на стоящих поодаль двух крепко сбитых девчат в синих комбинезонах. Пожалуй, среди толпы это были единственные представительницы прекрасного пола. — Неймется лошадкам!

— Что ты хочешь, тоже ведь люди, — пожал плечами Шурка. — В прошлом году они втроем ходили, одну раздавили не так давно. Кстати, видишь эту троицу, — Шурка кивнул на троих парней в шлемах и легких кольчужках, — болтают, каскадеры они. Да и по виду чувствуется, что не пьют.

— Каскадеры? — не понял Виталик.

— Да-да. Ах, ты ж не знаешь. Каскадерами зовут тех, кто берет водку не для себя, а на продажу. Рискнув жизнью, купят бутылку по госцене за 130 рэ — гроши, в сущности. А потом продают толстосумам тысяч за 20–25. Те выкладывают денежки, зато без всякого риска.

— Богатым всегда хорошо жилось, — резюмировал Петька.

— О! Шурка! Мы опять рядом, — к приятелям пробирался Рыжий. — Я слышу, чей-то голос гугнявый — ну до чего знаком! Скоро начнется веселье... Гляди, — он вынул из кармана узкий нож с изящной рукояткой. — Кореша на заводе выточили. Хорош, а? Нравится? Хотел бы на нем повиснуть, а?

Шурка закурил, демонстративно не отвечая на болтовню Рыжего.

— Зря ты дуешься. Смешно это близко к сердцу воспринимать. Я ж тоже не со зла базарю. От безысходности, обстановку разбавляю и т.д. и т.п. Это уж завсегда так водилось: в жизни друзья, а в магазине соперники. Можно подумать, ты меня ножом не пырнешь, если мы у окошечка столкнулись, а водка на исходе?

— Может быть, — нехотя вздохнул Шурка, — но зачем лишний раз зубоскалить?

— А зачем мне быть скрытным? Гласность — основа демократии. А что может быть демократичнее магазина? В нем-то все равны, и по-настоящему, а не на бумаге. О! Гляди, братва! Везут!

По толпе прокатилась волна возбужденных выкриков, все как один повернули головы направо. По дороге в сторону магазина ползли два танка — за ними три огромных бронированных грузовика в окружении вооруженных мотоциклистов. Замыкал колонну еще один танк, а в воздухе низко над дорогой кружил военный вертолет.

— Везут! Везут! — неслось по толпе.

— Водку везут, да? — догадался Виталик.

— Икру кабачковую! — заржал Рыжий. — Ну, парень, веселишь ты меня. Живыми останемся, так пойдем ко мне пить, еще что-нибудь этакое поспрашиваешь.

— Что-то конвой стали слабоватый посылать, — заметил один из мужиков, — забывать стали про банду Кролика...

— Года три назад это было, — видя вопросительный взгляд Виталика, заговорил Шурка. — Собралось отчаянных ребят человек двадцать, ну, и напали они на конвой, когда водку к магазину везли. Танки из гранатомета зажгли, солдат очередями положили, а машины с водкой куда-то в глушь угнали. А руководил всем этим некто по кличке Кролик — отчаянная голова. Где-то в деревушке в погребе окопались и пили водку день за днем напропа-

лую. Больше недели их искали, нашли, целый батальон село окружил, ну и положили всех. Говорят, отстреливались парни до конца, и каждый в одной руке автомат держал, в другой руке бутылку — стрелял да прихлебывал.

— Зато попили ребята, так попили, — заметил кто-то.

— Но говорят, — продолжал Шурка, — что Кролик-то этот самый не погиб, якобы успел еще раньше несколько ящиков водки в машину загрузить и смылся. Бутылку даст где-нибудь — и все двери для него открыты, все его так спрячут, что никакая собака не найдет. Но мне что-то слабо верится. Погиб, наверное, как и все, — ведь сколько войск было поднято!

— Что? Что ты там мелешь? — возмутился Рыжий, и стоящие рядом тоже неодобрительно загудели. — Это Кролика-то убили? Кишка у них тонка Кролика взять! Он сейчас небось сидит где-нибудь да посмеивается. Или среди нас в магазин пришел. А что? Кто его в лицо знает. Одна кличка — Кролик.

Виталику подумалось, что для всех этих людей Кролик был нечто вроде Робин Гуда, и всем хотелось верить в бессмертие и неуязвимость человека, хоть раз отобравшего водку у властей. Тем временем боковые ворота бункера-магазина приоткрылись, машины с водкой проехали через КПП. Конвой, передохнув, двинулся обратно в город. А толпа у дверей все уплотнялась, взгляды становились решительнее, голоса громче, общее дыхание учащенней.

— Время-то сколько?

— Начало второго.

— Скоро уже...

— Эх, пан или пропал, — шумно вздохнул Петька, — скорей бы уж, что ли...

Виталик заметил, как побледнело Петькино лицо. Смертельная тоска затаилась в самой глубине его возбужденно бегающих глаз. Над толпой нависло болезненно-мутное небо, но никто не смотрел вверх.

— И ублюдки, смотрите, подъехали! — выкрикнул кто-то.

— Ну а как же без них...

Виталик повернул голову и увидел черную грузовую машину, что, съехав с тропы на обочину, остановилась невдалеке от магазина. В кабине ее сидели двое мужчин в черных спецовках, один дремал на руле, другой, полноватый, в очках с роговой оправой, покуривая, скучающе поглядывал на толпу.

— Ублюдки, — повторил Виталик, вопросительно взглянув на Шурку.

— Ублюдки, — кивнул тот, — их так все зовут. Вот уж погань так погань. Работают по уборке магазина после закрытия. Очищают помещение от трупов.

— И хорошо платят?

— Прилично. Но, главное, все из карманов убитых тоже им в карман идет — полуофициальная надбавка за грязный труд. Думаешь, в ублюдки всякая уголовщина идет? Ошибаешься. Вот тот, очкастый, видишь? Преподавал русскую литературу в университете, кандидат наук. Но решил, видно, что его место здесь, ушел в ублюдки. Ладно, Виталик, готовься. Держись за нас с Петькой. Нож пускай в ход в крайнем случае. И еще: берегись в магазине оказаться у стен, в них булавки, ну, то есть пики металлические торчат, моментом проколят насквозь, понял?

— А продавщица открывает дверь ровно в два?

— Ха-ха, елкин свет! Продавщица! — нервно рассмеялся Петька. Виталик еще раз взглянул в толпу, бурлящую у черной двери, и понял всю глупость своего вопроса. Кто бы ни открыл дверь — будь то хоть взвод каратистов, — все за секунду были бы сметены и раздавлены людской лавой. Конечно, двери открывались автоматически.

— Главное, не струсь, — продолжал наставлять Шурка, — растеряешься — пропал. Из магазина два пути: или с бутылкой через боковой выход, или на носилках ублюдкам в печь. Третьего не дано. Хотя... Еще не поздно уйти.

— Я не за этим сюда полстраны добирался!

— Многие едут, да не все решаются потом... Ладно. Я все сказал.

— Без пяти два, — громко возвестил голос сзади. Толпа колыхалась, гул нарастал с каждой минутой. Кто-то безобразно ругался, кто-то отпускал нелепые шутки, некоторые стояли молча, стиснув кулаки и напряженно вглядываясь в готовую разверзнуться пропасть черной двери, — каждый подбадривал себя как мог. Нервное нетерпение передалось и Виталику. Больше ничего не слыша и ни на кого не глядя, он пожирал глазами дверь и ждал, ждал, что вот сейчас, вот-вот будет...

И вдруг по толпе прокатился сдавленный рев. Он начался у дверей магазина и в несколько секунд охватил все колышущееся людское скопище. Сзади напирали, Виталик почувствовал, как больно стиснули грудь, и тоже заревел от боли, от страха, от ярости, так, бросаясь в смертельную драку, ревет раненый зверь, заглушая страх. Черные двери магазина медленно, словно нехотя, разъезжались в разные стороны, толпа подалась, будто в узкую воронку, засасываясь в образовавшийся проход.

— Иии-гого-го-го! — перекрикивая всех, идиотски заголосил Рыжий. Словно на гребне волны он стремительно несся к дверям, ловко отбрасывая впереди стоящих кого за шею, кого за волосы.

— И какой черт занес нас в этот магазин! — вдруг услышал Виталик смех Петьки и расхохотался в каком-то диком экстазе. В этот миг толпа резко бросила его вперед, он потерял равновесие, но падать было некуда. Едва касаясь ногами земли, Виталик плыл к дверям магазина. Вот двери совсем рядом. К косяку был притиснут плешивый пожилой мужчина, он жалобно выл, пытаясь освободить прижатую сломанную руку. У дверей мелькнул Рыжий, секунда — и нож чиркнул плешивого по горлу. Убитый плавно оседал, словно в пульсирующей трясине, утопая в людском скопище. Еще несколько секунд, и Виталика с очередной волной спрессованного человеческого месива внесло вовнутрь магазина.

Сперва он едва не ослеп, вдруг со светлой улицы оказавшись в кричащем, толкающемся душном полумраке — лишь две тусклые красные лампы горели под потолком магазина да у противоположной стены была освещена небольшая решетчатая дверца. «Пики на стенах!» — вспомнил Виталик слова Шурки и увидел у стены труп мужчины — он висел, проколотый пикой, как кузнечик на булавке в коллекции. А где же Шурка, Петька? Ничего не разобрать.

— Ну что, Виталик, как, держишься? — послышалось рядом тяжелое дыхание Шурки. — Ничего, нормально влезли. Петя! Теперь по центру, главное, по центру держаться — и вперед!

— А скажите, п-п-пожалуйста, кто п-п-п-последний, — задыхаясь в истеричном смехе, простучал зубами Петька, он был из числа людей, которых в экстремальных ситуациях охватывает бурный приступ черного юмора. Внезапно Виталик почувствовал легкий, пришедшийся вскользь удар по голове и обернулся. Слева маячило потное небритое лицо, в руке этого типа Виталик заметил нечто вроде кастета: давка помешала ударить как следует. Виталик растерянно смотрел, как небритый, тоже рвущийся к центру, замахивается вторично, смотрел, даже забыв про свой нож, даже не пытаясь отклониться. Но вдруг мужик сдавленно охнул и пополз вниз, а из-под его руки вынырнула растрепанная голова Шурки.

— Чего рот раззявил?! — заорал он, беспорядочно ругаясь. — Еще б немного — и труп, мать твою, японский... Ну, вперед же, мать, осторожней, не отрывайся ты, блин... Булавки, мать...

Виталик задыхался, пот ручейками тек по лицу, по шее. «Только бы не потерять сознание», — вертелось в мозгу. Тем временем Шурка, качаясь от толчков со всех сторон, медленно, но протискивался вперед, Виталик шаг за шагом пробирался вслед за ним. Потом случилось настоящее столкновение. Кучка притиснутых к стенам людей, почуяв близость «булавок» и смерти,

вдруг разом с удвоенной яростью поперла на центр. Виталика резко мотнуло в сторону, он наступил на что-то мягкое, еще шевелящееся, и едва не потерял равновесие. Он увидел, как Петька, стараясь не поддаться напору сбоку, лихорадочно работал кулаком и ножом, но вдруг, получив удар в висок, качнулся и стал заваливаться на спину.

— Шурка! — не помня себя, вскрикнул Виталик, пытаясь прорваться к падающему приятелю. — Шурка! Сюда!

— Стой! — перед ним возникло перекошенное Шуркино лицо. — Стой! Ты что, куда?

— Петька же, видишь!

— Вижу. Назад!!! Подохнешь, ублюдок сучий, назад!

Шурка схватил Виталика за руку, что есть силы рванул на себя. Толпа качнулась в другую сторону, и человек пять, не выдержав напора, с размаху ударились о стену с пиками. Стены, обрастая пропоротыми трупами, с каждой минутой становились все менее опасными. А Петькина голова последний раз мотнулась в полумраке и исчезла из виду. Полный ненависти взгляд Виталик бросил на Шурку — тот неукротимо рвался вперед, к решетчатой дверце, будто ничего больше не видя, не слыша, не чувствуя. «Безумие, — стучало в мозгу Виталика, — кошмарное, кровавое безумие. Ничего не понимаю. Если водка действительно стоит того, чтоб пройти через этот ад... А она стоит этого, ведь не сумасшедшие же все эти люди. Но какое изуверство: дать попробовать людям счастья, а потом принудить их в драке за него убивать друг друга... Нет, сегодня я должен взять водку, я должен попробовать, должен любой ценой!!!»

Сзади больно ударили локтем в плечо. Виталик вытащил из кармана нож и с полуразмаха ткнул его в бок прижатому... Нет, прижатой, это была одна из «амазонок», краем глаза он успел заметить ее исказившееся в гримасе боли лицо. Так. А теперь вперед! После всего этого не купить водку невозможно. Вперед! В руке нож. Раз, раз! Пусть даже придется убить Шурку, да, надо его непременно убить. Убить! Вперед! Выжить и купить, только бы выжить. Вперед! Вперед, вперед!

Сколько прошло времени? Трудно было ответить. Может, пять минут, может, два часа. Виталик потерял из виду Шурку, он вообще перестал видеть людей, вокруг было лишь враждебное жаркое месиво, а впереди дверь, и надо было прорваться. И он рвался. Нога часто ступала на трупы. Чьи-то пальцы скользнули по горлу. Удар ножа! Хрип сзади. Впереди решетчатая дверца!

И Виталик оказался около нее, и решетка резко поднялась к потолку, впуская несколько человек, и вновь автоматически упала, отрубив полруки кому-то сзади. Темнота, жар, давка и вой были позади. Здесь несколько тяжело дышащих людей дрожащими руками отсчитывали деньги. Виталик достал приготовленные загодя 130 рублей, протянул их в окошечко и, получив в руки пол-литровую бутылку с прозрачной жидкостью, шатаясь, двинулся на выход через боковую дверь.

На улице в глаза ударил свет, на миг ослепив так же, как ослепил поначалу полумрак магазина. Виталик почувствовал, как слабеет с каждой секундой. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать, напитавшаяся потом одежда плотно прилипла к телу, тошнило, кружилась голова. Сделав несколько шагов, он, обессиленный, сел на траву. Рядом сидели и лежали, приходя в себя, другие люди. У одного ножом была рассечена щека, другой, морщась, прижимал к телу вывихнутую руку, третий с закрытыми глазами пил водку из горлышка. Виталик закрыл глаза. Вскоре он услышал, как кто-то подошел и присел рядом.

— Молодец, — услышал он тихий, усталый голос Шурки. — Я сначала думал, все, ты сломался, что в шоке, а ты не растерялся, нет... Молодец. Хочешь курить?

Виталик молчал.

— Ты что? Из-за Петьки? Но пойми, ему нельзя было помочь. Мы погибли бы все. К этому, Виталик, тоже надо привыкнуть.

Виталик так же молча взял сигарету и долго разминал ее дрожащими пальцами.

— Что теперь делать, — вздохнул Шурка, — Петька, он... Да что говорить! Я терял в магазине людей подостойнее. Нельзя об этом думать долго.

— В магазине я хотел убить тебя, — медленно выговорил Виталик.

— Это бывает. Первые разы мне было так страшно, так дико, что всех хотелось убивать. Ну что, передохнем и ко мне пить поедем?

Виталик молча кивнул.

— Опа, знакомые все лица! — из боковой двери в перепачканном кровью комбинезоне вышел Рыжий. — Отоварились? Примите поздравления. А Петька где?

— Там, — тихо ответил Виталик.

— Все там будем — сказал Рыжий и, увидев покуривающих на обочине рабочих по уборке магазина, задорно крикнул: — Эй, ублюдки, кондратий бы вас, сердечных, обнял! Засучайте рукава — работенки нынче навалом.

— А мы работы не боимся, — показывая золотые коронки, усмехнулся бывший преподаватель русской литературы, — и тебя, конопатый, скоро в печку свезем.

— Благодарствую за заботу, отребье человечества. Но я не спешу. Я сегодня лучше водочкой погреюсь. Как, Шурка, пойдем втроем долбанем, а?

— Отвяжись. Тоску навеваешь.

— Надо же! Я такой веселый парень, и вдруг... Парадокс. Ну ладно, мне вообще-то больше пить в одиночку нравится. Адью! — И Рыжий бодро зашагал прочь.

...Назад ехали на автобусе. Город поразил Виталика своей оскорбительной обыденностью: люди скучающе прогуливались по улицам, стояли в очередях в столовые, выходили из кино — будто и не существовало нигде и никогда кровавого жаркого месива в темном чреве магазина. Виталик предложил было, срезав путь, пройти по дворам, но Шурка пояснил, что надежнее будет идти по центральной улице, ведь по одежде сразу понятно, кто возвращается из магазина, а любителей попить задарма хватает — ударят из-за угла молотком по голове и скроются вместе с водкой. Подобные происшествия в городе не редкость.

У Шуркиного подъезда их ждали двое парней лет двадцати пяти и светловолосая девушка, на вид ей было не больше восемнадцати.

— А мы, Шура, к тебе. Ты из магазина?

— Да.

— Взял?

Шурка кивнул на оттопыренный карман.

— А Петька где?

— Петька... Петька все, — только и сказал Шурка. — Знакомьтесь, это Виталик. Димка, Женька и Света. У вас есть?

— Одна на двоих у нас с Димкой. Так посидим?

Минут через десять вся пятеро сидели за столом. На столе стояли рюмки и три бутылки водки. Шурка достал ножик, откупорил свою бутылку и бутылку Виталика. Димка открыл свою, налил из нее себе и Женьке, Шурка из своей бутылки наполнил свою рюмку, и Виталик, глядя на них, тоже налил себе из своей. Света включила проигрыватель, и негромкая музыка наполнила квартиру миром и уютом.

— Ну что, выпьем?

— Давай, — кивнул Шурка, — за то, чтоб не в последний раз...

Все взяли рюмки. И Виталик тоже бережно поднял свою, краем глаза следя за остальными. Ведь он раньше никогда не пил водки, мог опять сделать что-нибудь не так, а быть посмешищем за день надоело, а сейчас, под грустным взглядом карих глаз Светы, тем более. Все, кроме Светы,

выпили. Виталик проглотил водку, с изумлением ощущая во рту жгучую, отвратительную горечь. Да что ж такое? Счастье — говорил дед. И за это сегодня умирали? Тут Виталик вспомнил, что Петька, впервые попробовав водку, тоже поначалу был ошарашен. Это вселяло надежду, и Виталик стал ждать.

Вскоре он почувствовал, что лицо как будто становится горячим, тело отяжелевшим, а мысли слегка беспорядочными, даже странноватыми. Выпили еще по рюмке, теперь водка показалась Виталику не столь противной.

— Когда, Шурка, по новой в магазин пойдешь? — спросил Женька.

— Не знаю точно. Наверное, послезавтра. А вы?

— Мы не так скоро. Денег надо подкопить.

Виталик молча смотрел на лица новых приятелей, которые на его глазах становились умиротворенными, такими приветливыми, даже родными, и явственно ощущал: с ним что-то происходит. Что-то ранее неизведанное, ни на что не похожее, огромное. Хочется говорить, хочется улыбаться, хочется петь, хочется любить. «Так вот за что лилась кровь, — понял он, — за это ни с чем не сравнимое чувство, за это... счастье. Да, словами такое не передать».

— Шура, — наконец заговорил он, — Шура, мне так сейчас здорово... Шура, спасибо тебе! Спасибо, что ты в меня поверил, что взял в магазин, что помог мне познать... Как бы это все выразить...

— Не надо, — дружелюбно улыбнулся Шурка, — и так все понятно.

— А ты, Шура, давно ходишь в магазин?

— Я-то... Почти три года. Я везучий. И буду ходить до конца, пока не прибьют.

— Это-то ясно, — кивнул Виталик и вдруг рассмеялся. Как легко стало на душе. — А ты возьмешь меня в следующий раз?

— Конечно. Так как, еще по одной?

— Конечно, еще! — возбужденно подхватил Виталик и, налив себе водки, вдруг встретился взглядом с печальными, кроткими глазами светловолосой девушки. Внезапный порыв нежности захватил его, отодвинув на второй план даже наслаждение от выпитой водки.

— А почему не наливаете Свете? — удивился он.

— Чтоб налили, надо пройти через магазин, — пожал плечами Шурка.

А Света все продолжала смотреть на Виталика, в ее карих глазах светилась надежда. Виталик улыбнулся ей.

— Выпей, Света. Хочешь? — просто сказал он, пододвинув к девушке свою рюмку. Все — Шурка, Димка, Женька, а главное, сама Света воззрились на него с недоуменным восхищением. До этого никому в жизни не приходилось видеть, чтобы кто-то кого-то угощал с кровью и потом добытой в магазине водкой. Это можно было, наверное, сравнить лишь с ситуацией, когда кто-то, увидев голодного, отрезает для него от себя кусок мяса. Света благодарно взглянула на Виталика и, прошептав нечто вроде «спасибо», выпила рюмку. Виталик налил себе, выпил сам, взглянул в Светины глаза. Она тоже смотрела на него, смущенно улыбаясь. Играла музыка, разливали по рюмкам водку, разговоры за столом становились все оживленнее, вечер продолжался, но их глаза уже не разлучались.

...Теплое дыхание Светы на лице, ее щека прижимается к плечу, а тонкие пальцы тихонько гладят грудь. Тишина, опьянение, покой. Блаженство. Виталик лежит, полуоткрытыми глазами глядя в темный потолок.

— Виталичек. Любимый мой, любимый, — шепчет Света. Губы находят друг друга в темноте, и поцелуй длится вечность.

— Виталик... А ты правда снова пойдешь в магазин?

— Да, — тихо отвечает Виталик.

— Нет, не надо, не ходи, прошу тебя, миленький, — Света тревожит его порывистыми объятиями, — я не пущу тебя... Там убивают!

Виталик нежно целует девушку в глаза.

— Да. Убить могут, я знаю. Видел... Но разве жизнь имеет хоть какой-то смысл, если после того, что я испытал сегодня, жить дальше без водки?

Молчание длится долго. Слышно глубокое, взволнованное дыхание Светы. Веки Виталика смыкаются — после испытанного, пережитого за день адски хочется спать.

— Тогда я пойду с тобой, — твердо говорит Света, — мы пойдем в магазин вместе!

Она вновь настойчиво прижимается к Виталику всем телом, но он больше не отвечает на ласки. Спать... Но прежде чем провалиться в небытие, Виталик успевает увидеть огромную черную дверь магазина. Он знает, что обязательно войдет туда снова. И будет входить до конца...

Опасные хобби

Ни одна экстремистская организация не торопилась брать на себя ответственность за теракт, жертвой которого пал Игорь Ильич Бабушкин, министр экономики, за каких-либо полтора года ощутимо оздоровивший то, министром чего являлся. Лев Саныч Шмурыгин, министр безопасности страны, знал, что причина молчания экстремистов вовсе не в ложной скромности, ибо они действительно не ударили палец о палец для результативно завершившейся трагедии. Шмурыгин думал, что более опасно в сложившейся ситуации. В очередной раз ему пришло в голову, что название министерства попахивает черным юмором. Бе-зо-пас-нос-ти. Ведь по роду службы он занимался сплошными опасностями, словно журнал «Здоровье», специализирующийся на смаковании симптомов всевозможных болячек. Пресса толпилась в вестибюле, ожидая официального заявления. Шмурыгин не торопился. Утопая в огромном кресле своего кабинета, он перебирал листки с донесениями, курил, обдумывал и взвешивал.

Практика медицинской обработки мозга граждан, назначенных на высокие правительственные посты, процветала в стране не первый год, но плоды принесла столь же положительно ощутимые, что отказываться от нее было бы не просто глупо, в более крутые времена это посчитали бы за вредительство. Конечно, с точки зрения прав человека это выглядело несколько щекотливо, но с точки зрения здравого смысла проблем не возникало. И когда Игорь Ильич Бабушкин давал первую пресс-конференцию в своем новом министроэкономическом качестве, ему и в голову не могло прийти, что сутки назад голова его уже прошла спецобработку по системе Адама Шнейдерсона, профессора гомонейропсихологии. Незначительные структурные перестройки в мозгу позволяли при полном сохранении, а возможно, даже некоторой стимуляции интеллекта получить личность, главной и всеподавляющей жизненной ценностью которой становилось дело, доверенное ей государством. Это обеспечивало не только полную отдачу творческой и всей другой энергии на пользу ДЕЛУ, но и гарантировало от саботажа, коррупции и прочих нехороших деяний, столь распространенных в эшелонах власти.

Первые опыты по корректировке жизненных установок были неудачны. По прошествии двух-трех месяцев подопытные, охваченные, как и полагалось, одной, но пламенной страстью, вдруг проявляли симптомы нервного истощения, предынсультного состояния и даже, стыдно сказать, двоих пришлось увезти в психушку. Мозгу требовался отдых, но отдых не в обывательском смысле слова — безделье, пьянство и прочее, — а отдых активный, переключающий мозг со сверхзадачи на невинную, но занимательную для подопытного мелочь, на то, что в просторечии именуют хобби. Мозг — хозяйство сложное, пока один отдел мозга работает, другой приходит в себя, и наоборот. Все пошло как по маслу.

При обработке, проведенной, ясное дело, инкогнито, в мозг новоиспеченного министра экономики внедрили установку на любительское рыбо-

ловство. То, что Игорь Ильич Бабушкин в жизни не держал удочки в руках, никого из медиков не смутило.

После долгого напряженного совещания с руководителями отраслей министр экономики возвращался домой. Облокотившись подбородком на свой набитый важными бумагами портфель, Игорь Ильич прикрыл усталые глаза и задремал в автомобиле. Перед ним поплыли вдруг большие, красивые темно-синие рыбы. Они покачивались в пространстве, а Бабушкин жадно вглядывался в них, но не как бесстрастный созерцатель. Ему хотелось схватить, поймать рыбину, вцепиться обеими руками в жабры, чтобы она, упругая и сильная, забила хвостом, моля о пощаде. Машина притормозила у подъезда, но Игорь Ильич не спешил вылезать. Министр некоторое время рассеянно осмысливал увиденное во сне, потом встретился взглядом с водителем и осмелился спросить, якобы невзначай:

— А слушай, как тебя, Алик, да? Рыбу-то где обычно ловят? Знаешь?

Шофер персональной машины еще очень плохо знал Бабушкина. Он слышал, что Игорь Ильич — человек серьезный, работоспособный, порядочный, — но что подобные обтекаемости могут сказать о человеке? Водитель растерялся. Что мог значить такой вопрос: намек, ловушку, иносказание?

— Где? В воде, — осторожно и кратко ответил Алик.

— Ну да, конечно же, — заулыбался министр, — совсем заработался, знаешь ли...

«В воде, в воде, — размышлял Бабушкин, неторопливо раздеваясь в своей тихой, уютной холостяцкой квартире, — мог бы и сам догадаться. Ведь говорят же про того, кто в чем-то хорошо разбирается: он в этом как рыба в воде. С воды и надо начинать!».

И министру вспомнилось, что когда-то давно он видел чеканку, на которой, как ему пояснила сожительница, был изображен рыболов. В руках рыболов держал длинную тонкую палку, к концу которой была привязана веревка, а на другом конце веревки, привязанная за пасть, трепетала большая искрящаяся рыбина.

В воскресенье Игорь Ильич инкогнито, дабы не вызывать ажиотажа, посетил рыболовный отдел универмага и вынес оттуда не только необходимые снасти, но и некоторые сведения на уровне рыбацкого ликбеза. Теперь он знал, что палка именуется удилищем, веревка — леской, ближе к концу которой цепляется свинцовая дробилка — грузило, а на самый кончик лески привязывают крючок. На крючок цепляют наживку — какую-либо съедобную вещь, чтобы рыба захотела ее скушать и в процессе питания, осуществляемого у рыб через рот, вместе с наживкой втянула бы и крючок в свою ротовую полость. К леске крепился также поплавок — маленькая легкая фиговинка, плавающая на поверхности воды и являющаяся индикатором для рыболова: движения либо погружение поплавка свидетельствовали о том, что рыба ест наживку — клюет на рыболовном жаргоне, и надо резко дергать удилище — подсекать, дабы крючок проткнул рыбью губу или, если рыба чересчур голодная и жадная, рыбью глотку.

В качестве наживки Бабушкин решил использовать хлебный мякиш — то, что оказалось под рукой, а в качестве удилища приспособил лыжную палку. Искать удилище подлиннее не было ни малейшего резона, вода ведь была совсем рядом. И холодная, и горячая. Министр наполнил ванну и, устроившись на табурете, закинул удочку. Игорь Ильич был в курсе даже таких тонкостей, что на рыбалке нельзя шуметь, и предусмотрительно выдернул телефон из розетки. Как рыболов, пусть пока начинающий, министр ощутил в душе своей ростки суеверий, тем паче что народная примета — первый раз должно повезти — в данном случае играла ему на руку. Потянулись минуты, десятиминутки, двадцатиминутки, часы. От долгого сидения на табурете у Бабушкина затекли и заболели внутриягодичные кости, в спине проснулся и заныл остеохондроз. Министр терпел эти лишения, ибо от-

четливо видел темно-синие бока крупных, неповоротливых рыбин, величаво покачивающихся в прозрачной воде. Не клевало. Игорь Ильич рыбачил до темноты. Лишь в начале первого ночи, так и оставшись с пустыми руками, он вынужден был выдернуть затычку из ванной. Ванна опустела, не стало и рыб. Оно и понятно: рыба водилась в воде, и откуда же было ей появиться в емкости, в которой вода отсутствует.

Работы в министерстве было невпроворот. Бабушкин, тренированный в вопросах рационального распределения сил и времени, вынужден был констатировать: иногда и его на все не хватает. Встречи, консультации, рекомендации, совещания, анализы и многое другое легло на плечи министра экономики. Далеко не каждую неделю удавалось выкроить пару часиков, чтоб вечерком или на утренней зорьке наполнить ванну и посидеть с удочкой. Тем досаднее было Игорю Ильичу — сколько бы он ни кроил, рыба не клевала, как зареклась. Хотя и кругозор рыболовецких знаний министра неуклонно расширялся.

— Рыба — капризная тварь, — как-то раз разоткровенничался с Бабушкиным поддатый мужик, торгующий опарышами возле «Зоомагазина», — первое дело — прикормить надо. Хлеба, каши, навоза накидать, чтоб подошла она, паслась чтобы. Говоришь, не клюет? Ну, так не только на хлеб, насадки всякие надо пробовать. Не берет на хлеб — цепляй малинку или опарыша. На червя тоже надо пробовать. А еще на перловку белая рыба хорошо идет иногда. На манку тоже. А ежели, скажем, налим или судак в водоеме безобразит, так на них самое лучшее рыбье мясо на крючок цеплять, пусть подтухшее даже. Падальщики они, понял?

Теперь Игорь Ильич ходил на рыбалку плотно экипированный, одних удочек у него было пять штук. Пускай частенько путались лески, зато министр мог широко варьировать насадки. Выбор у рыб был теперь богатейший. Иногда поклевывало. Бабушкин дергал как сумасшедший, но удача ему не сопутствовала. Ни одна из благородных темно-синих рыб так и не была поймана.

Шли месяцы, кварталы, полугодия. Из раза в раз остававшийся без улова министр не отчаивался, но черная досада набухала в груди. Часто, собираясь утром на службу, Игорь Ильич забрасывал в ванну перемет. Тридцать крючков крепилось на толстой леске. Кроме традиционных наживок Бабушкин пробовал ловить на морковь, сыр, колбасу, макароны и прочие экспериментальные предметы питания. Возвращаясь домой, министр нетерпеливо врывался в ванную комнату, проверял перемет и... Хоть ты тресни! На одних крючках насадка оказывалась склеванной, на других — нетронутой, но ни разу, потянув за леску, Игорь Ильич не ощутил вожделенных упругих толчков пойманной рыбы.

Работа в министерстве спорилась. О спаде производства не заикались даже самые оголтелые критиканы, инфляция споткнулась, будто выдохлась наконец от своего многолетнего галопа. Забот от этого не убывало, скорее даже наоборот, но это не печалило Бабушкина. Он любил свое дело, был предан ему и был счастлив, конечно, по-своему. Приходилось много колесить по стране, по отраслям и ведомствам, случались и зарубежные командировки для обмена опытом и заверениями. И вот на этом деловитом, плодотворном фоне министр экономики, возвращаясь в свою тихую, уютную холостяцкую квартиру, вновь и вновь набирал полную ванну воды, закидывал удочки, а потом сидел часами, с тоской, недоумением и глубоко затаенной надеждой глядя на большие, но безжизненные поплавки. Ванная комната сделалась ложкой дегтя в меде побед и успехов Игоря Ильича.

— Бывает, — сказал ему как-то поддатый торговец опарышами возле «Зоомагазина», куда Бабушкин заглядывал всякий раз, когда выпадало свободное время, — бывает, такие водоемы есть, где сытая рыба со своим рационом. Хрен когда клюнет. Но вот в сеточку, в сеточку залетит, как миленькая залетит. Кстати, у меня есть сорокаметровочка. Возьмешь?

— Большая больно авоська, — подумав, сообразил Игорь Ильич.

— Бредень есть, — не отставал поддатый торговец опарышами.

— Мне бы маленькую сетку... Метра два — больше не надо.

— Так бы и говорил, что «телевизор» нужен! За литр водки отдам. Лады? Вот и ладушки!

«Телевизор» представлял собой аккуратную квадратную сеть размером два на два метра. Видимо, за геометрическое подобие с экраном она и получила столь вычурное название. В тот же вечер Бабушкин наполнил ванну и забросил сеть. Вынимать он решил на рассвете, а может, даже и попозже. Непринципиально: ежели рыба запуталась, то уже никуда не денется, а ежели... Никаких ежели! Куда деваться ей от такого тотального браконьерства? Некуда. Спал Игорь Ильич неспокойно. Совесть пару раз слабо екнула в его груди и затихла. Министр экономики ворочался с боку на бок и потел в предвкушении долгожданного богатого улова.

Сеть оказалась пуста. И на другой день, и на третий Бабушкин выбирал из ванной «телевизор» с аналогичным результатом. Нечто мистическое чудилось ему в столь затянувшемся фатальном невезении. То ли темно-синие обитатели ванной были заговоренные, то ли ему подсунули никуда не годную сеть, то ли, не исключено, он просто законченный дурачина.

Жизнь выдвигала веские доводы не в пользу последней версии. Экономика выздоравливала, да так успешно, что Игорь Ильич в четвертую годовщину подавления пятого мятежа был представлен к государственной премии. Самым ярким доказательством подъема производства стала для Бабушкина не статистика по отраслям, не данные опросов общественного мнения и даже не одобрительные отзывы зарубежных экспертов. Когда министр экономики, в очередной раз оказавшись возле «Зоомагазина», увидел, что цены на опарышей снизились, он понял, что с экономикой все в порядке и ему не будет мучительно больно за мучительно прожитые годы. Игорь Ильич стиснул зубы. Теперь, когда он осознал, что он отнюдь не ноль в этой жизни, острейшее чувство несправедливости от рыбацких неудач толкнуло его на решительные действия.

— Знаешь что, братец, — гневно посапывая, заявил он поддатому торговцу опарышами, — я забыл уже, сколько раз пробовал, и ни черта не ловит твой телевизор.

— А что ж, бывает, — невозмутимо пожал плечами поддатый торговец. — Рыба — тварь хитрая. А сеть — это ж тоже ведь не панацея. Какое дно, какое течение, вода какая в смысле прозрачности, какая рыба, наконец. Много то бишь нюансов...

— На удочку не клюет, в сеть не путается, — продолжал Бабушкин на повышенных тонах, эмоционально жестикулируя. — А рыба-то есть, я вижу их темно-синие спины! Скажи, есть такое средство, чтобы рыбу стопроцентно поймать? Скажи, не бойся, я куплю, даже если дорого, куплю. Только чтоб без обмана!

— Конечно, есть такая снасть, — встрял в разговор здоровенный лоб, торгующий у магазина бамбуковыми удилищами. — «Пес Барбос» смотрел? Заряд динамита — и никаких проблем. Взрыв глушит. Вся рыба кверху брюхом всплывет, только собирать успевай. В стоячей воде надо, потому если быстрое течение...

— Вода стоячая, — перебил министр экономики, — ты скажи только, где его купить можно, этот, как его...

— Далеко ходить не надо, — недвусмысленно усмехнулся Лоб.

Бабушкин, не торгуясь, приобрел у него два килограмма динамита, получил краткую инструкцию по пользованию и заторопился домой на рыбалку.

— Но если обманешь... — прошипел он вместо прощания. С динамитом за пазухой, шустро не по годам министр экономики вскарабкался на свой пятый этаж, вошел в свою тихую, уютную холостяцкую квартиру, заткнул ванну пробкой и до отказа вывернул оба крана. Руки Бабушкина подрагива-

ли от близости развязки. «Прости, Нептун, — бормотал Игорь Ильич, — но ты — свидетель. У меня очень долго не получалось по-честному, поэтому отнесись с пониманием моего крайнего шага. Эти темно-синие бестии... Я так долго ждал улова, и вот теперь... Если, конечно...»

Нет, Лоб не обманул. Громыхнуло качественно. Взрывом выбило стену соседской квартиры, проковыряло и провалило потолок, а с чердака посыпались голуби.

Министр безопасности закурил очередную сигарету и задумался в очередной раз. За долгие годы службы Лев Саныч Шмурыгин сформировал в своем организме полезный условный рефлекс: стоило ему закурить, как он волей-неволей задумывался. Вот и теперь... Как опытный, ушлый служака, Шмурыгин, конечно же, был в курсе невинной причуды министра экономики. Невинной до вчерашнего дня. Но кто же мог предсказать, что все обернется столь трагично, а главное, столь скоропостижно. О том, чтобы сделать правду достоянием гласности, не могло быть и речи. Как сложившуюся ситуацию использовать с максимальной эффективностью — вот что занимало министра безопасности.

— Лев Саныч, пресса в вестибюле, — напомнил по селектору секретарь. — Шумит. Требует. Будет сегодня официальное заявление?

— Да, — тяжеловесным тоном отозвался Шмурыгин. — Значит, происки ультралевых. Покойный стоял у них поперек горла, потому что... Потому что... Потому... А, вот, выступал против разгосударствления промышленности группы «А». Правильно? И вот они, наплевав на интересы народа, про народ обязательно, покусились, противопоставили и... И получат. На всю катушку. Схватил мысль? Оформи их фразами покруглее, ты умеешь, и огласи. Все.

В следующие секунды Шмурыгин снял трубку прямого телефона, соединившего его с замом по беззаконию и провокации.

— Митрич. Слушаешь? Лидеры левых ультра взяты? Хорошо. И Барабанов попался?! Очень хорошо. Отрицают? Суки. Он-то понимает, Барабанов, что не отпереться, что стенка его ждет, он только и думает теперь о побеге. Терять-то ведь нечего. Уверен я. Побег мы допустить не имеем права, так что все попытки решительно пресекать и там «стой, стрелять буду» сюсюкать нечего с ним. Не та ситуация. Все понял, Митрич? Ну, занимайся... Удачи тебе!

Министр безопасности положил трубку и расслабленно откинулся на спинку кресла. Рабочий день закончился, но Шмурыгин не торопился покидать свой тихий, уютный холостяцкий кабинет. Да и какой смысл покидать его действительно? Все необходимое для отдыха здесь было. Жизнь продолжалась, и Лев Саныч ощутил в душе легкие позывы к творчеству. Вот удивилась бы страна, узнав, что министр безопасности на досуге пописывает стишата! Шмурыгин и сам был удивлен, когда пару лет назад его обуяла тяга к рифмам. Ведь даже в годы желторотой юности он предпочитал гонять футбол и тасовать карточные колоды. И вот поди-ка ты, в такие-то годы, на таком посту. Лев Саныч регулярно посылал свои произведения в газеты и журналы и столь же регулярно получал вежливые и, чего греха таить, не вполне вежливые отказы. Стоит ли уточнять, что подписывался он псевдонимом? Шмурыгин хотел пробиться в литературу, как все, на равных, самоценностью созданных им стихов, ибо какой редактор упустил бы возможность ознакомить публику с пикантной причудой самого страшного человека в государстве? Лев Саныч трезво оценивал планку своей гениальности. Понятно, что стихи он пишет лучше всех ныне здравствующих халтурщиков рифмачей, но ведь был еще Хлебников, Блок и, страшно сказать, сам Александр Сергеевич. Творчество министра безопасности не всегда дотягивало до их уровня. Генеральную тему поэзии Шмурыгина можно было упрощенно представить в виде такой цепочки: безопасность — как мать порядка, порядок — как отец справедливости, а справедливость — как мать

опять-таки благоденствия. Копать глубже Лев Саныч пока не дерзал. Разве что только... От специалистов министр безопасности слышал, что наркотики способны встряхнуть бездны подсознания, что служит немалым подспорьем при творении произведений высокого искусства. То, что цель оправдывает средства, для Шмурыгина, в силу специфики его служебных обязанностей, было аксиоматично. «Конечно, наркотик — это яд, но ведь и я не мальчик», — рассуждал Лев Саныч, приступая к творческим экспериментам. Гашиш не произвел на него впечатления: после косяка сочинилось мало и не высокоталантливо. Сегодня Шмурыгин решил попробовать кокаин, благо конфискованных наркотиков в органах безопасности было накоплено с избытком.

Нанюхавшись, Лев Саныч открыл толстую общую тетрадь в темно-синей обложке. Тренированное чутье не обмануло министра безопасности: легкокрылая муза, из тех, что диктовала Данте страницы «Ада», бесшумно проникла в кабинет и сейчас стояла у него за спиной. Шмурыгин схватил шариковую ручку темно-синего цвета. С минуту он прислушивался к себе.

Пусть дети хулиганят в детской,
А мертвецы сидят в мертвецкой, —

услышал министр безопасности голос музы и стал лихорадочно фиксировать все это на бумаге. Будто протокол вел. Сегодня ему строчилось легко, обильно и весело.

ДЕТСКАЯ

Мария Гербер

По вагонам!

Повесть

1. В густой лесистой местности

Вот вы скажете, что хорошо жить недалеко от гор. А поверите, что Ян никогда их не видел? Да-да, за все свои девять лет ни разу в горах не был. А почему? Так некогда. Вот честно! То школа, то шахматный кружок, то к бабушкам едет… Они, бабушки, в одном городе жили, на одной и той же улице у моря. Удобно, можно сразу обеих навещать. Летом Ян с семьёй тоже уезжали к морю. Мама до смерти любила моря и пляжи. Хоть загорать ей нельзя — кожа у неё белая и тонкая, как папиросная бумага. А папе всё равно было куда ехать, лишь бы выдавался шанс читать тяжеленные книги и писать длиннющие лекции. Иногда папа работал и на выходных. Да что там выходные! Он трудился даже по праздникам.

А вот самого Яна почему-то никто никогда не спрашивал, куда бы ему поехать хотелось. Вот прямо так пришли бы мама с папой и поинтересовались:

— Ян, а куда бы тебе хотелось поехать на каникулах?

Он бы им сразу ответил, что в горы. Бабушки ему рассказывали, будто есть там один чудесный городок со сказочным названием, что означает «В густой лесистой местности». Старые-престарые домики окружены холмами, на которых по утрам дремлют облака. А сквозь вековой лес едет тяжёлый дымный паровоз и тянет на снежную Вершину красные вагончики. Больше всего на свете Ян мечтал прокатиться на этом паровозе! Но никто его не спрашивал. И Ян молчал.

Однажды утром, когда апрельское солнце старательно топило последние снежные островки, папа сообщил, что они с мамой приготовили сюрприз — поездку. И не куда-нибудь, а в горы. Представляете себе?! В горы!

Папа так и сказал:

— Едем в горы.

— Правда, всего на три дня, — добавила из кухни мама.

— Ну и ладно, зато в горы! — обрадовался Ян. — Я так о них мечтал!

— Да? А почему никогда не говорил? — Папа оторвался от газеты, вскинул брови и посмотрел на сына поверх очков. — Любопытно.

Мария Гербер — родилась в Подмосковье, в г. Раменское. Окончила муниципальный институт г. Жуковского по специальности «иностранные языки». Работала учителем английского и немецкого, переводчиком. Пишет стихи и прозу для детей и взрослых. Публиковалась в журналах и альманахах «Кот в мешке», «Добрые записки» и «Серебро слов». Финалист Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина (2023), лауреат премии журнала «Урал» в номинации «Детская» (2023). С 2009 г. живёт в Берлине.

Ян поводил указательным пальцем по стене, пожал плечами. И правда, почему он ни разу не рассказал о своей мечте? Это показалось ему странным. Особенно теперь, когда папа глядел на него как на интереснейшую статью в историческом журнале с мелованными страницами.

Вот уже не первый год папа выписывал такой. Журнал приходил ежемесячно. И всякий раз его доставка почему-то попадала на момент, когда папы не было дома. Яну доверяли ответственное задание — получить журнал, пронести его через прихожую и гостиную, подняться на второй этаж и положить на папин письменный стол целёхоньким. Это сейчас Яну девять, и такое поручение — легкотня! А вот когда ему было пять, толстенный журнал не раз вываливался из маленьких Яновых рук, и уголки страниц кое-где мялись. Папа этого терпеть не мог. Он поджимал губы, шумно втягивал воздух, ноздри его при этом почти приклеивались друг к дружке, на мгновение закрывал глаза и говорил:

— Спасибо, сынок! Ты молодец. В следующий раз постарайся быть аккуратнее.

Ян кивал и в следующий раз обязательно старался. По мере того как он подрастал, журнал казался ему менее тяжёлым, а путь до папиного кабинета — совсем не длинным. Чем аккуратнее Ян становился, тем охотнее папа позволял ему листать те журналы с цветными картинками. Так мальчик узнавал об археологических находках, древних империях, чудесных открытиях… Он видел чёрно-белые фотографии каких-то площадей, указателей и железнодорожных станций. И цветные, современные, фотографии Тадж-Махала, Московского Кремля, Великой Китайской стены…

Самые важные статьи папа закладывал блокнотным листом, на котором собственноручно делал пометки: «Для лекции», «Дискуссия с А.В.», «Уточнить» и тому подобные. Ян гадал, какую заметку на нём сейчас написал бы папа. Он продолжал разглядывать сына так, будто тот набедокурил. А потом кашлянул и сказал:

— Собирай-ка поскорее вещи.

Через десять минут Ян был умыт, одет и собран. Да и много ли надо на три дня!

Завтракали в спешке. Мама разливала по чашечкам кофе, собирала в дорогу бутерброды и яблоки, жевала на ходу булочку. Папа теперь раскрыл дорожную карту и внимательно изучал маршрут. Он что-то отмечал карандашом, снова покашливал и приговаривал «так-так». Иногда его голова выглядывала из-за карты, отпивала кофе и снова пряталась за развёрнутым листом со множеством линий и надписей. Папа часто вёл себя так, будто на самом деле жил в прошлом веке, но случайно переместился в этот.

— Я уже загуглила, — мама сунула ему под нос смартфон с картой, по которой жирной полосой тянулся их маршрут.

— Не люблю я всё это, — папа нахмурился и отодвинул мамину руку со смартфоном.

— Вот же мамонт! — рассмеялась мама.

Потом она подкрасила губы и надела пальто и полусапожки. А папа накинул куртку, выгнал машину на лужайку и перенёс вещи в багажник. Ян разместился на заднем сиденье. И хотя у него и самого уже был смартфон, ему нравилось быть, как папа, — читать журналы по истории, писать в блокноте, а не в «заметках» телефона и изучать карты в бумажных буклетах для автолюбителей. Ян достал из кармана блокнот и карандаш и написал:

«День первый. Едем в горы. Апрель. Светит солнце. Снег почти растаял, хотя в горах, думаю, его ещё много. Очень хочу поскорее увидеть город «В густой лесистой местности». И паровоз. Вот бы поехать на нём до самой горной вершины!»

Хлопнули автомобильные дверцы, щёлкнули ремни безопасности, двигатель проснулся и заворчал. Отправились в путь, который казался бесконечным! Так всегда бывает, когда очень хочется поскорее добраться до места. А Яну как раз очень хотелось. Он старался не отвлекать папу от дороги, потому что папа так и просил:

— Ян, не отвлекай меня от дороги.

Но не просто было сидеть молчком и совсем ни о чём не спрашивать. Вопросов-то было ого-го сколько! И задавал их Ян вообще-то маме. Но мама сомневалась в ответах и всякий раз переспрашивала папу. Вот спросит Ян, сколько лет тому старому городишке, куда они едут, а мама поразмыслит, пожмёт плечами и папу спрашивает. Папа долго не думает, потому что много знает. Он профессор истории в университете. Его такими вопросами в калошу не посадить. И он отвечает, что…

— …первые упоминания о городе относятся к двенадцатому веку.

— Ого! — переглядываются мама с Яном.

— Да. А теперь, пожалуйста, не отвлекайте меня от дороги.

Папа часто повторял фразы, потому что в университете, где он работал, студенты часто переспрашивали, чем сильно утомляли его. Вообще папа хорошо вёл машину, но сильно переживал, когда приходилось ехать по магистрали на высокой скорости.

— За себя-то я отвечаю, — папа крепко держался за руль, будто боялся, что его выбросит наружу потоком ветра в приоткрытое окно. — Но «а» — за других водителей не могу, и «б» — всегда есть риск попасть в непредвиденные обстоятельства. Так что не отвлекайте меня от дороги!

И мама с Яном снова замолкали, глядя в окна. Пейзаж в них не менялся вот уже целый час. И тут Яну в голову пришла страшная мысль. А вдруг на самом деле никаких гор-то и нет! Приедут они, а там всюду ровно, как на их лужайке. Однажды к ним пробрались кроты и нарыли ям и кочек. Папа тогда долго возмущался и даже сказал:

— Живём, как в горах!

«Если кротовые кочки папе горами показались, что же нас ждёт «В глухой лесистой местности?» — подумал Ян.

А вслух сказал:

— Скорее бы увидеть горы!

Он всё вздыхал и ёрзал на месте, вглядываясь в абсолютно ровный горизонт. А потом мама предложила перекусить, и они остановились на парковке. Несколько машин выстроились рядком вдоль тротуара. Их хозяева тоже что-то жевали, расположившись в паре метров друг от друга на зелёном газоне. Мама с папой шуршали пакетами и щёлкали термосами так, будто цель их поездки была достигнута. Будто они и не в горы ехали, а на эту самую парковку. Мама улыбалась весеннему солнцу и подливала папе чаю в железную кружку. Папа пить не торопился и просто наблюдал, как клубы пара поднимались над кружкой и растворялись в весеннем воздухе. Но Ян ещё никогда не ел так быстро, даже тем утром, когда в считаные минуты ему удалось собраться в дорогу.

— Не торопись, бутерброд не убежит, — улыбнулся папа и протянул Яну яблоко.

Да разве до яблока ему было! Он обкусал его со всех сторон, набил полные щёки и стал похож на хомяка. Мама с папой только улыбнулись.

— Горы твои тоже никуда не денутся. Прожуй как следует. Не глотай кусками, иначе живот заболит, — сказала мама.

Ян и не думал глотать целые куски. Ему же девять, а не три. Но в целях экономии времени прожевать «как следует» можно было и в машине.

Наконец снова по местам и в путь. Дорога тянулась, как скучный урок, когда кажется, будто конца ему не будет. Но Ян терпеливо ждал и только вздыхал от волнения. Он даже попытался подремать, как посоветовала мама.

Но как тут уснуть, когда вот-вот должны были показаться горы! Во всяком случае, Ян на это надеялся. Даже когда погода резко испортилась, а на лобовое стекло автомобиля друг за другом шлёпались то ли дождевые капли, то ли снежинки. А небо стало серым и низким, будто собралось улечься и вздремнуть часок-другой на полях, что тянулись по обе стороны от дороги. Солнечный день быстро превращался в пасмурный. Пойди тут разгляди хоть одну гору, когда на горизонте такие каскады туч и облаков. Ян уже совсем отчаялся, когда вдруг папа сказал:

— Гляди-ка, сынок! Горы.

— Где? — Ян подался вперёд, изо всех сил вытянул шею и уставился в лобовое стекло. Никаких гор видно не было. — Да где же?

— Вооон там, — протянула мама, пальцем рисуя в воздухе силуэты.

И тут Ян раскрыл рот от удивления. То, что он принял за облака, оказалось цепочкой горных спин и вершин. На сером небе они были едва различимы для тех, кто никогда прежде их не видел. Но теперь Ян знал, это были горы. Чем пристальнее он всматривался в каменные громадины, тем выше они ему казались. Больше он никогда не перепутает их с облаками!

— Мы почти на месте, — сообщила мама, глядя в телефон и улыбаясь.

— Ищем старый замок на холме, — бесстрастно скомандовал папа, — и съезжаем с дороги.

Мама всматривалась в правое окно, а Ян — в левое. Он сощурил глаза и старался не упустить из виду ни одного холма на пути. Справа на вершине показалась каменная постройка. Мама подпрыгнула на месте и ткнула пальцем в стекло.

— Вон там что-то! Наверное, замок.

— Нет, — папа взглянул на мамину находку. — Это руины старой крепости. Туда, кстати говоря, я бы как-нибудь тоже заглянул.

«Только бы не проглядеть!» — думал Ян, прислонясь лицом к стеклу.

Из туманной дымки одна за другой выплывали навстречу новые вершины. Но вот на одной из них показалась одиноко стоящая башня, напоминающая маяк. Маяки Ян видел не раз, когда они уезжали к морю. Но бывают ли маяки в горах?

— Нет, — папа замотал головой так, будто рядом с ним летала оса. — Маяки бывают «а» — береговые и «б» — плавучие, если берег далеко от пути, по которому идёт судно. А в горах строят сигнальные башни. Ты увидел как раз одну из них.

Ого! Настоящая старинная полуразрушенная сигнальная башня! Наверное, ещё викинги её использовали. И Ян представил, как древние короли отдают приказ развести сигнальный огонь и призвать на помощь войско соседнего государства. А потом папа сказал:

— Такие башни чаще всего служили для наблюдения за землями. Всё ли в порядке, не идут ли враги…

Конечно, с сигнальным огнём было бы куда интереснее. Но и просто наблюдать с такой высоченной башни, наверное, тоже здорово. Ян снова прислонился к стеклу, и как раз вовремя. Вдали показались очертания замка. Он стоял на холме и макушками башенок цеплялся за самые облака.

— Замок вон там!

— Да, это он, — кивнул на это раз папа.

На следующем светофоре они повернули направо и, описав полукруг, оказались на шоссе, серой змейкой ведущем в город.

Мама сделала, наверное, штук двадцать фотографий замка, который теперь хорошо было видно в лобовое стекло автомобиля.

— Он будто вафельный! Смотрите, ну ведь правда. Я просто влюблена! — мама не могла оторвать от замка глаз.

«Наверное, представляет себя королевой в нарядном платье», — подумал Ян. Ведь всем известно, что мамы любят наряжаться и повелевать, совсем как королевы.

Ян сразу заметил, как сильно этот старинный город отличался от большого и шумного, в котором они жили. Замок и правда был цвета вафли. Он величаво стоял на холме, откуда открывался чудесный вид на близлежащие окрестности.

— Замки строили на самом высоком месте в городе, чтобы «а» — вовремя заметить приближающегося врага, и «б» — напоминать простым людям, что они в подчинении у правителя, — пояснил папа.

Ян всё глядел по сторонам. У подножия холма, словно маргаритки на поляне, стояли десятки белых домиков в один и два этажа. Их каменные стены украшали чёрные деревянные балки. Некоторые из них были расположены по диагонали. Другие очерчивали узкие окна. На дверях висели почтовые ящики, а вдоль забора зацветали лимонно-жёлтые форзиции.

Дом, который они сняли на время отпуска, нашли быстро. Интернет — штука полезная. Хоть папа его и не жалует. Написал, куда хочешь попасть, он тебе тут же выдаёт: «Езжайте по Липовой аллее, через триста метров поверните на улицу Ветров, затем выезжайте на улицу Кошачий пруд. Вы на месте». Да, улицы здесь назывались так же необычно, как и сам городок.

Пока родители распаковывали дорожные рюкзаки, Ян сделал новую запись в блокноте:

«Приехали. Дома в городе так похожи друг на друга! Мама влюбилась в местный замок. Она всегда во что-то влюбляется. Мы видели сигнальную башню. И горы! Вот бы скорее взобраться на Вершину!»

2. Дым над черепичными крышами

Только взрослые умеют так медленно раскладывать вещи по шкафам и ящикам, будто приехали в отпуск именно для этого. Да какая разница, как они там лежат!

— Давайте уже пойдём гулять, — простонал Ян. Уборки ему и дома хватало.

— Ладно, закончим позже, — сжалилась мама, чем очень обрадовала Яна, но разочаровала папу.

Папа не выносил беспорядка. Все его вещи и даже скрепки на письменном столе лежали на своих местах ровно, будто по линейке. Ох как непросто было ему оставить посреди комнаты раскрытую сумку, как монстра с распахнутой пастью! Ян покрепче взял папу за руку, словно тот мог вырваться и вернуться к уборке, и они отправились на прогулку по городу, куда вела узкая мощёная дорожка.

— Это вход в Старый город, где были построены первые здания, — папа указал рукой на высокую каменную арку впереди. — Чаще всего таких входов было четыре, по сторонам света. На ночь они запирались, как громадные ворота. Не все сохранились до наших дней. Пройти сквозь них теперь может любой, они всегда открыты.

Папа прошёл под аркой и оказался в Старом городе. Он даже лицом изменился. Заулыбался, будто увидел что-то,скрытое ото всех, кто ещё находился на территории Нового города. «Может, арка — это портал?» — подумал Ян и тоже прошёл под ней. Нет, но всё же ощущение было удивительным. Каменные стены в два метра толщиной тянулись высоко и смыкались над головой, превращаясь в каменный потолок. Мощённая булыжником улочка, как река между берегов, разделяла два ряда домов, глядевших друг на друга, и, плавно изгибаясь, вела к центральной площади.

— Если к городу подступали враги, — продолжал папа тоном экскурсовода, — такие построения помогали держать оборону. От ворот по обе стороны шли высокие стены. Сейчас их, конечно, убрали. То есть город находился как будто «в домике». Если посмотреть на него сверху, видно даже,

как дома выстраиваются в почти ровный круг, представляешь себе?

Да, Ян представлял. Защитная стена — как кольцо. Внутри всё испещрено улочками, ведущими к площади. Он внимательно разглядывал папины журналы и часто видел аэроснимки и просто рисованные карты старых городов-крепостей.

— Замри, я тебя сфотографирую, — сказала мама, направляя на Яна телефон.

Щёлк!

По длинной улице с кафе и магазинами они вышли к площади, а на ней старинный колодец Желаний и Ратуша. Мама щёлкала телефоном, папа выбирал кофейню, а Ян озирался по сторонам. Неужели в этих крошечных домах до сих пор живут люди?! Да, живут, отмечают дни рождения, делают ремонт…

Солнце сумело проложить путь сквозь тяжёлые облака. Ян жмурился на яркий свет солнечных зайчиков. Они скакали между домами, отталкивались от окон и слепили прохожих. Взбегали по красным черепичным крышам и по солнечным лучам поднимались прямо в лазурное небо.

— Как здесь хорошо! — пропела мама, кружась на месте и оглядывая всю площадь.

И тут раздался звук паровозного гудка. Мальчик замер и прислушался к ритмичному металлическому грохоту. Такое ни с чем не спутаешь. Это был поезд. Ян заозирался, но состав грохотал за чертой Старого города. Вдалеке над черепичными крышами поплыли клубы дыма.

— Скорее! Мы его догоним!

Ян схватил родителей за руки и семимильными шагами припустил назад к каменной арке. Они торопились на стук колёс, сверяясь с полотном дыма, что тянулся вдоль линии железнодорожных путей. Прохожих ничуть не удивили трое людей, несущихся по улице. Они-то привыкли к чудесам своего города, поэтому поезд больше не вызывал в них особого восторга. Никто и ухом не повёл, когда снова послышался протяжный, со свистом гудок. А Ян прибавил ходу. Когда ворота Старого города остались позади, мама остановилась, едва переводя дух.

— Вы как хотите, но я… больше не могу… бежать, я… сейчас… задохнусь, — просипела она, согнувшись пополам и уперев руки в колени.

Папа тоже остановился, взял маму под руку и сказал, что поезд им всё равно не догнать. Ян увидел, как последний красный вагончик исчез в клубах дыма.

— Не успели? — послышался голос позади. Ян обернулся. К ним шёл пожилой господин в пальто, в руке он нёс букетик белых тюльпанов. — Ну, ничего! Он через полчаса обратно поедет. Только не забудьте купить билеты.

— А где касса? — озирался папа.

— Вон там, идите на дым, — старичок махнул рукой поезду вслед, улыбнулся и свернул в улицу.

И они отправились туда, где в воздух поднимались серые дымные тучи. По дороге им встречались группы людей. «Наверное, пассажиры, с Вершины приехали», — думал Ян. Путь к зданию кассы лежал через сувенирный магазин. Внутри было пусто и тихо, слышался только стук каблуков маминых полусапожек. На стенах застыли нарисованные красные вагончики и сам паровоз, чёрный и с серыми клубами дыма из трубы. Яну он показался суровым и неприветливым.

— Давайте купим билеты, — предложила мама. — Два взрослых и один детский. Туда и обратно. И ещё подарочный набор открыток, пожалуйста, — мама указала на карусель с открытками. — Вот этот, с видом на замок и Старый город.

Ян разглядывал открытки с паровозом и переминался с ноги на ногу.

— Что-то захотел, сынок? — папа неожиданно оказался у Яна за спиной.

— Нет, — сразу ответил Ян и замотал головой.

— Уверен? Ты же рассматриваешь открытки. Хочешь подписать кому-то? Может, Майе?

Ян пожал плечами, не сводя глаз с крутящейся карусели в углу комнаты. Писать однокласснице Майке?! Ещё не хватало, чтобы папа решил, будто Ян влюбился.

— И всё же давай возьмём несколько. Вот эту и эти две… — Папа стал набирать открытки с видом на гору, по которой тянулся длинный состав из красных вагончиков. — Посоветуй мне ещё парочку, какие бы ты взял?

На станции в ожидании поезда папа присел на скамейку и поманил Яна рукой.

— Скажи-ка, почему ты стесняешься попросить о том, чего тебе хочется?

— Я не стесняюсь, — Ян замотал головой.

Как неприятно, когда окружающие видят нас будто насквозь! Яну тоже стало не по себе. Он старательно делал вид, будто папе показалось, что его сын стеснительный. Он даже сел рядом, попросил ещё раз взглянуть на открытки и выбрал одну, чтобы таки подписать Майке.

— Просто знай, — продолжал папа, — «а» — обязательно нужно рассказывать о своих желаниях. Тем более нам с мамой. И «б» — нельзя молчать, если происходящее причиняет тебе неудобства.

— Почему?

— Потому что никто не должен терпеть неправильное отношение, это тебе так, на будущее, — папа похлопал Яна по плечу, достал пакетик солёного арахиса и угостил орешками.

— Смотрите, во-о-он там! — мама указала на столб дыма, поднимающегося из-за каменных одноэтажных домиков.

Вскоре показался поезд. Он не спеша двигался к станции, выпуская из трубы белый и чёрный дым. Он смешивался и превращался в серые облака. Из правого окна будки высунулся седобородый машинист. Ян видел, как он трижды потянул за рычаг паровозного гудка, и раздалось троекратное «У! У! У-у!».

На платформе собрались люди, а Ян и не заметил. Внутри него летали и трепетали крыльями сотни бабочек. Ноги от волнения размякли, как варёные макаронины. Пассажиры тоже волновались. Взрослые доставали билеты, щёлкали камерами смартфонов. Мама тоже достала телефон, сделала несколько фотографий и видео подходящего поезда. Дети размахивали руками, подпрыгивали на месте и верещали не хуже паровозного гудка.

Когда поезд достиг платформы, Ян увидел два столба белого пара, выходящих снизу по обе стороны от состава.

— Это называется продувка цилиндров, — объяснил папа Яну в самое ухо, чтобы перекричать шум приближающегося поезда и гул толпы.

Ян не понимал ни что это за цилиндры такие, ни зачем их нужно продувать. Он лишь смотрел на Паровоз, когда вдруг Паровоз заметил Яна и мигнул ему фонарём.

3. На Вершину

«Не может быть, мне показалось», — думал Ян. Он был уверен, что видел, как Паровоз покосился на него.

— По ваго-онам! — раздалось позади. Ян обернулся и увидел колонки, прикрученные к станционным фонарям. Из них вырывался и летел по воздуху хрипловатый мужской голос.

— Скорее, сынок! Нужно занять места, — папа потянул Яна к вагону.

— Ваши билеты, пожалуйста, — женщина в синей жилетке и такой же синей шапочке протянула руку с перфоратором. На шее у неё, наподобие бус, висел шнурок с именной карточкой и свистком. Она сделала прокол на всех трёх билетах и впустила маму, папу и Яна внутрь. Места им достались

чудесные — обитые красным бархатом деревянные сиденья у окна, а между ними — столик.

Когда пассажиры разошлись по вагонам, женщина в синей жилетке дунула в свисток и махнула рукой. Состав грохотнул и тронулся с места, раздалось протяжное «У-у-у!».

Поехали!

Пока дорога шла через город, в окно выглядывать было не особенно интересно. Вид такой же, как из окна автомобиля. Город «В густой лесистой местности» сменился населённым пунктом под названием «Каменный бег».

— Странное название, — задумался Ян.

— Здесь нередко случается камнепад. Отсюда и название такое, — папа зачарованно смотрел в окно на людей с походными рюкзаками.

— А куда идут эти люди?

— До Вершины можно добраться и пешком.

— Я слышала, это непростой путь часов в семь, — мама снова щёлкала телефоном.

— Зато можно увидеть валуны ледникового периода, ручьи и вековые деревья.

— Это при условии, что ноги не отвалятся. Ведь ещё же назад, об этом ты забыл?

Паровоз шёл быстро. Тянул вагоны, гудел и выпускал облака белого пара. Особенно хорошо их было видно на повороте. Ян тогда прислонялся к окну и видел, как состав изгибался дугой, а из труб поднимался кудрявый дым.

— Хотите перекусить? — мама достала из рюкзака пластиковую коробку с фруктами. — Только сперва возьмите салфетки и продезинфицируйте руки.

Продезинфицируйте. Надо же было придумать такое длиннющее слово! Ян заметил, что почти все пассажиры что-то жевали. Шуршала блестящая фольга, и в ход шли бутерброды, вафли, печенье… Крошки сыпались на коленки жующих пассажиров, а потом на пол. На столиках появлялись термосы с чаем, порционные пакетики с соком, бутылки лимонада. Бананы быстро скидывали солнечно-жёлтую кожуру. Совсем скоро мусорный бак в начале вагона забили доверху.

— В дороге всегда вкуснее! — сказала мама и откусила яблоко.

Спустя некоторое время вид за окном преобразился — состав пошёл через холмы. На одних рос лес, другие были совершенно лысые, как мамин начальник. Как-то раз Ян заглянул к маме на работу в больницу. Она расставляла на полках склянки с лекарствами, когда дверь открылась и на пороге показался тучный человек с абсолютно лысой головой. Ни единого волоска! Мама представила друг другу Яна и начальника. Они пожали руки и сказали: «Очень приятно познакомиться!» А потом Ян ещё долго размышлял о жизни с блестящей лысиной вместо волос.

Родители всегда говорили, что на одну и ту же ситуацию два человека могут смотреть по-разному. Кто-то рад жить за городом у озера, удить рыбу и смотреть, как в водной глади отражается закат. Другой же станет жаловаться на не замолкающих лягушек, комаров и долгий путь до города. И так во всём. Даже с лысиной. Судите сами. В жару лысому человеку не сладко, солнце припекает. А в холод непременно нужна шапка. Зато ветер никогда не спутает волосы, так что причёска в полном порядке. И если в магазине расчёсок станет грустно, можно вспомнить, что лысую голову мыть куда быстрее, чем волосатую. И если бы в мире проводились соревнования по мытью головы, лысые люди регулярно занимали бы все призовые места, не оставляя волосатоголовым ни единого шанса.

Покатые холмы сменялись горными спинами. Вот они, горы! Настоящие! У Яна дух захватывало от вида, открывающегося из окна вагона. Он глядел вниз на долину, и В глухой лесистой местности казался ему горсткой деталек из его конструктора, рассыпанных на полу детской. Внутри у маль-

чика снова будто бабочки вспорхнули. Он улыбался и не мог глаз отвести. Оказалось, смотреть на горы издали было не так интересно, как оказаться среди них.

Всё чаще попадались на пути огромные серые валуны. Папа зачарованно смотрел на древние каменюги, а мама фотографировала. Тут и там появлялись островки снега, между ними бежали ручьи. Кое-где можно было разглядеть людей, что шли к Вершине пешком.

— Лес что, вырубают? — Ян прильнул к окну и разглядывал рабочих вдалеке. Они собирали в ровные пирамиды десятки одинаковых голых стволов.

— Возможно, — папа тоже придвинулся к окну. — Вероятнее всего, это санитарная вырубка.

О санитарных работах Ян не раз слышал от мамы. Особенно если наступал период гриппа и простудных заболеваний. Тогда приходилось обрабатывать в больнице все поверхности специальными дезинфицирующими средствами, устанавливать в палатах кварцевые лампы — они уничтожают вредные бактерии, и пациенты быстрее идут на поправку, даже руки нужно было мыть специальным мылом, а потом смачивать санитайзером. Мама и дома частенько устраивала «санитарную атаку», так она называла уборку со всякими специальными аэрозолями.

— Санитарная вырубка нужна для того, чтобы улучшить состояние леса. Ну, вроде как полечить его, — объяснил папа. — Деревья же тоже болеют. Если вылечить их не получается, их вырубают, а на их место сажают новые, понимаешь?

Яну было жалко деревья, которые заболели так, что спасти их не удалось. Что теперь из них сделают? Табуретки? Карандаши? Опилки?

Каждой весной папа покупал огромный мешок древесных опилок и рассыпал их под кустами смородины, под розами, что росли у калитки, между кустиками клубники. Ян задумался. Какими деревьями раньше были опилки на их огороде? Может, они росли здесь, на горных склонах? Наверное, им нравилось ловить макушками облака и качаться на ветру.

«У-ууу!» — раздалось вдруг снаружи. Ян вздрогнул. Поезд тревожно затарахтел. Мальчик приложил руку к стене вагона и почувствовал, как состав дрожит и гудит. Даже ногам передалась вибрация карданного вала. Ещё бы! Тащить на гору такую тяжесть! Снега здесь было намного больше, и мама заёрзала на месте, уронив взгляд на свои полусапожки.

— Приехали! — закричала какая-то девчонка лет пяти. И все дети в вагоне запрыгали и загалдели. Пассажиры открывали окна и высовывались почти по пояс.

— Никогда так не делай, — сказала мама Яну. — Это очень опасно! Можно вывалиться.

Ян кивнул. Он и не думал делать такую глупость.

Снова и снова раздавались паровозные гудки. Чёрный дым тянулся за поездом густым шлейфом и оседал на снег угольной пылью. Поезд замедлил ход, зафырчал, будто пытался перевести дух после долгой дороги, и остановился. Из вагонов люди выходили ещё быстрее, чем забирались в них. Ведь на Вершине были кафе, отель и сувенирный магазин. А ещё с неё открывался такой вид на окрестности, который невозможно было забыть!

— Нам очень повезло с погодой, — обрадовался папа, жмурясь на солнце. — Был бы туман, ничего б не увидели. А так перед нами во все стороны почти по сто километров леса, полей и деревень.

Ян ощутил себя птицей. Орлом! Он стоял высоко и видел весь мир. Ветер толкал его, худенького, прямо в живот. Но Ян твёрдо держался на месте. Он развёл руки в стороны, и ему казалось, будто он летит. А под ним лоскутным одеялом расстилались леса и поля, и мальчику казалось, будто он — крошечная песчинка на лужайке перед домом.

— Идёмте поищем, где перекусить, — мама шагнула вслед за толпой.

Ян шёл вдоль вагонов и косился на Паровоз. И вдруг опять! Нет, ему не могло показаться, он точно видел, как большая круглая фара снова подмигнула ему. «Может быть, это было какое-то замыкание?» — подумал Ян. Когда он гостил у бабушек, то часто видел, как лампочки мигали сами собой. Обе бабушки жили в старых домах на морском побережье. Воздух там почти всегда сырой. Папа говорил, это одна из причин замыкания электричества. Вдруг и фару замкнуло?

Но когда Ян поравнялся с Паровозом и обернулся, он заметил, как обе фары глядели на него, на мальчика. Ян вздрогнул. А поезд грустно моргнул.

— Мама, папа, вы идите вперёд, я вас догоню, — Ян остановился. — Хочу посмотреть, как грузят уголь.

Родители переглянулись.

— Один? — брови мамы взметнулись вверх, а папины поползли вниз.

— Да. А что? Я же хожу один в школу и за хлебом.

— А как же кафе? Разве ты не проголодался?

— Н-нет, просто купите мне булочку или шоколадку. А я найду вас позже.

Родители снова переглянулись. Папа взял маму за руку и сказал Яну:

— Ну-у… Ладно. Пообещай не выходить на рельсы, не залезать в вагоны и обязательно возвращайся через пятнадцать минут.

Ян кивнул. Что за глупости! Зачем ему, взрослому человеку, выходить на рельсы и лазать по вагонам!

Ян и папа сверили часы и разошлись в разные стороны. Родители отправились вперёд по уклону, где на самой макушке горы находилось уютное кафе. Мама скользила в полусапожках, и папа крепко поддерживал её под руку.

А Ян обернулся на Паровоз. Тот будто ждал, пока мальчик наконец подойдёт ближе и чуть слышно скажет:

— П-привет.

Паровоз тяжело вздохнул, моргнул и ответил:

— Приве-е-ет, старина.

Глаза Яна стали такими же круглыми, как паровозовы фары. А брови его поползли вверх, совсем как у мамы.

— Ты… говоришь? — прошептал он и покосился по сторонам.

— Как и ты, — ответил Паровоз.

— Да, но я — человек. А ты… Я просто не знал, что паровозы тоже умеют разговаривать.

— Мы умеем мно-о-ого всего, — Паровоз снова моргнул. — Хотя должен сказать, что ты — еди-и-инственный мальчик, который услышал меня. Другие дети не поняли ни сло-о-ова, когда я говорил с ними.

Рабочие грузили уголь и не слышали, как Ян поздоровался с Паровозом. Мальчик подошёл ближе.

— А что ты им говорил?

— «Приве-е-ет», как и тебе. А ещё спрашивал, понравилась ли им поездка на Верши-и-ину.

— И фарами мигал?

— Мигал, — ответил Паровоз и снова мигнул фарой. — Но всё без толку.

Он вздохнул.

— Как тебя зовут, старина?

— Меня? Ян. А тебя?

— Хм, — Паровоз задумался. — У меня есть серийный но-о-омер, но не думаю, что тебе будет удо-о-обно называть меня по номеру.

— У тебя нет имени? — Ян никак не ожидал, что Паровоз окажется безымянным.

— Получается, нет.

— Тогда можно мне называть тебя «дружище»?

Паровоз опять задумался, посмотрел налево, направо… и сказал:

— А что, «дружище» звучит хорошо-о-о. Мне нра-а-авится!

Ян улыбнулся.

— Ты приехал с родителями, верно?

Мальчик кивнул.

— Ты очень похож на па-а-апу, старина. Он такой же кареглазый, как и ты. А мама ваша ни на кого из вас не похожа.

— На самом деле у меня мамины уши, — заверил Ян.

— А ну-ка повернись.

Ян повертел головой из стороны в сторону, чтобы Паровоз рассмотрел его уши как следует.

— Да-а-а, пожалуй, что и правда уши у тебя мамины. Хотя на них я особенно не смотрел. А вот на её сапожки… Разве мо-о-ожно по сугробам в такой обуви разгу-у-уливать?

— Мы не думали, что на Вершине снег глубокий окажется. Да и мама любит помодничать. Привезла вот эти сапожки, а пока сюда ехали, волновалась, что замёрзнет.

— Ну коне-е-ечно! Вон смотри, какие у меня сапожищи!

Ян взглянул на огромные Паровозовы колеса.

— В других сюда не проехать. Сегодня ещё с погодой повезло, а ведь, бывает, выезжаешь — до-о-ождь, едешь — тума-а-ан, на гору взбираешься — мете-е-ель снежная! Нет, старина, в полусапожках здесь тя-а-ажко.

Паровоз любил растягивать слова. А Ян не мог понять, как же так, ни один ребёнок не услышал его, не заметил, как тот мигал фарой.

— Расскажи мне о себе-е-е, старина. Ты, конечно, ходишь в школу? Нравится тебе учиться? Наверное, и оценки у тебя хорошие?

— Ну да, в школу хожу. А учиться не то чтобы нравится. По-разному. Я люблю историю, чтение и физкультуру. И терпеть не могу математику. А когда что-то не любишь, как можно делать это с удовольствием? — Ян нахмурился. Математика была его больной темой. Об этой несправедливости он мог говорить долго. А больше всего его злило, что делать было нечего. Математику в школе не отменят, оценки ставить не перестанут.

— Самое обидное, — продолжал Ян, — что к самой математике у меня претензий нет. Важная наука. Может, даже интересная. Но вот мучилка!

— Мучилка?

— Ну, учительница наша по математике. Мучилка. Так мы её называем.

— И что с ней?

— Никак не хочет понять, что есть способные дети, те, что математику обожают. А есть те, что через силу делают, потому что нельзя не делать. Есть даже такие, которым нужно больше времени. И не надо их подгонять. Они просто быстро думать не могут. Но ведь в принципе-то думать умеют! Люди же все разные!

— Хм-м-м, ты пра-а-ав.

— Я уже ей говорил, не слушает она меня. А как можно договориться, если тебя не слушают?

Паровоз помолчал, покосился на вид, что открывался с Вершины, а потом сказал:

— Понима-а-аю. Я вот тоже пассажирам говорю-говорю, прошу-прошу… А толку? Эх!..

— А о чём ты их просишь? — Ян совсем не ожидал этого услышать.

— Да о самом просто-о-ом. Не шуметь, не хлопать окнами, не бегать по вагонам и не сыпать кро-о-ошки. Знаешь, как тяжело вести состав на гору, когда по тебе детвора-а-а носится и из стороны в сторону расшатывает? А как начну-у-ут верещать, дверьми и окнами хлопать, голова-а-а раска-а-алывается. Я ведь уже не молод. А кто об этом думает? Никто-о-о.

Паровоз вздохнул.

— Уж об огрызках и о запихнутых между кресел салфетках я и говори-и-ить не буду. И знаешь, старина, что меня всегда удивляет? Ведь в своих

домах люди так не делают, му-у-усор выносят, за порядком следят. А что же тут случилось?

Ян молчал. Он думал о яблоке, которое грызла мама, пока они ехали на Вершину. Огрызок они, конечно, выбросили в мусорное ведро. Неужели же есть те, кто бросает мусор на пол или оставляет его на сиденьях?!

— Расстро-о-оил я тебя? Извини, старина. Ворчу по-стариковски. Наше дело паровозное, привезли — увезли. Не грусти! Ступай, тебя родители заждали-и-ись.

Ян глянул на часы и заметил, что до встречи с родителями оставалось всего несколько минут.

— Мне и правда пора, дружище! Но я обязательно приду к тебе позже, обещаю! — сказал Ян и припустил вверх по уклону.

Паровоз глядел ему вслед, моргая фарами.

4. Разговор по душам

В кафе было людно. Родителей Ян нашёл быстро. Они, конечно, сели у окна. Мама всегда любила смотреть в окно, даже если вид из него открывался на шумную дорогу или каменную стену. Так ей лучше думалось и мечталось.

— Ян! — она замахала рукой.

— Мы подумали, ты тоже захочешь яблочного пирога, — папа придвинул мальчику тарелку с десертом и чашку чая. — Как там наш состав? Уголь загружен?

Ян и забыл об угле. Всё, о чём он теперь думал, были лишь две круглые фары и толпа досаждающих пассажиров. Неужели у паровозов тоже может болеть голова? Ян, конечно, не с дерева слез. Родители с малых лет учили его «ставить себя на место другого», а ещё «относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Его учили не ломать ветки, не бродить по лужайке — ведь там цветы и насекомые! Ему даже маленькому не разрешали залезать на скамейку с ногами, чтобы не испачкать её. Ян хорошо знал, что беготня по салону автобуса отвлекает водителя, а еда в общественном транспорте может сильно мешать другим пассажирам. Не всем же хочется оказаться заляпанными мороженым или всю дорогу нюхать бутерброды с ветчиной. Эти правила казались Яну такими очевидными! Он просто не понимал, что сложного в том, чтобы их соблюдать.

— Ешь скорее, — папа вернул его в реальность. — Мама ещё хочет успеть в сувенирный магазин.

Ян взял вилку и отломил от пирога кусочек.

— А куда бы ты хотел пойти? — мама заглянула Яну в глаза.

Больше всего на свете он хотел бы вернуться к Паровозу. А что, если так и сказать родителям? Ян доел пирог и признался, что ему хочется пойти к составу. Родители помолчали, а потом папа сказал:

— Кажется, у нас подрастает машинист.

Мама улыбнулась и коснулась Яновой щеки.

С холма он не бежал, летел! Едва успевал переставлять ноги. Солнце, как из лейки, заливало всё вокруг жёлтым светом и топило снежную дорожку, укатанную сотнями ботинок.

— Не поскользнись! — раздался низкий голос позади.

Ян обернулся. За ним шагал с холма машинист поезда. Мальчик уже видел его в окне состава, а потому сразу узнал. Высокий, большущий и с седой бородой, он был похож на Деда Мороза. Только не в привычной шубе и с посохом, а в форменных брюках на подтяжках, куртке и кепке на седой макушке. Тяжеленными ботинками он будто специально старался втоптать следы поглубже в снег, а в руках нёс огромный бумажный стакан с кофе, булочку с маком и сардельку, от которой валил пар.

— Ты уже пообедал? — спросил он. Мальчик кивнул. — А куда так спешишь?

После сладкого пирога и от быстрого бега во рту у Яна пересохло. Он сглотнул и кивнул в сторону поезда. Паровоз слушал их разговор и мигал фарами.

— А-а-а, ну тогда не буду тебя задерживать, — улыбнулся машинист.

Мальчик упёрся ладонями в коленки и перевёл дух.

— От тебя пахнет яблочным пирого-о-ом, — сказал Паровоз.

— А от тебя углём, — ответил Ян.

— Обед пропускать нельзя. Где твои родители?

— Они ещё гуляют.

— А почему ты не с ними?

— Я… я захотел к тебе.

Паровоз мигнул фарами и еле заметно улыбнулся.

— У меня из головы не выходит эта история с пассажирами. Неужели все они такие?

— Каки-и-ие?

Ян задумался. Каким нужно быть, чтобы не уважать чужой труд и не замечать тех, кто старается для тебя? Ведь Паровоз каждый день старательно трудится! А как называется тот, кто не убирает за собой? Мальчику пришли на ум самые разные обидные слова, но он знал, как называется тот, кто говорит гадости о других.

— Понимаешь, старина, они же не со зла-а-а. Просто не видят меня так, как ты, — сказал Паровоз.

— Значит, надо им объяснить!

— Думаешь, я не пытался? Выпущу чёрный дым, думаю, ну сейчас угомоня-а-атся. Или вообще встану и стою на месте. И никуда не еду. Куда там! Ещё быстрее по вагонам носятся, в окна высовываются, фотографи-и-ируют.

— Да?

— Угу. А порой как включу гудок! А им в ра-а-адость. Визжат, смеются! Думают, мне нравится гудеть на всю округу.

— А тебе разве не нравится?

— Не особо. Голова потом тоже так гуди-и-ит, — признался Паровоз.

«Что же делать?» — думал Ян. Нельзя молчать, если происходящее причиняет неудобства. Никто не должен терпеть неправильное отношение. Так сказал папа. Даже если ты паровоз, какая разница! Нельзя бездействовать. Так сказал Ян.

Родители вернулись слишком быстро. Или просто время незаметно пронеслось…

— Какой исполин! — папа осматривал паровоз с восхищением. — Силач!

— Красавец! — подхватила мама и сделала несколько фотографий.

Паровоз расплылся бы в довольной улыбке, но он был очень скромным. А потому лишь покосился в сторону Яна и его родителей. Потом важно выпустил струйки белого пара и содрогнулся. Пора было возвращаться. Машинист скомандовал: «По ваго-онам!», и пассажиры поспешили вниз по склону к станции, где ждал поезд.

— Скорее займём места у окна, — позвала мама.

— Иди, старина, не то останешься без ме-еста, — Паровоз мигнул круглой фарой.

В вагонах было почти пусто. Вниз с Вершины ехали не все. Погода стояла прекрасная, и многие предпочитали вернуться в город пешком, по лесным тропинкам. Лес этот был вполне пригодным для таких прогулок. Всюду указатели и скамейки для отдыха.

— В следующий раз и мы так пойдём, — папа провожал взглядом группу людей с рюкзаками и специальными палками для нордической ходьбы.

— Ну уж нет, — заявила мама. — Это без меня.

— Тогда мы с Яном, да, сынок? — папа кивнул сам себе и потрепал Яна по голове. — А что? Рюкзаки у нас есть, фонарик, карманный ножик, термос. Ботинки нужны специальные, с твёрдой подошвой. Купим!

— Ну-ну, — мама вскинула бровь. — Кому охота семь часов лезть через бурелом, когда поезд идёт?

— Так это ж совсем другие эмоции, понимаешь ты или нет? Чувствуется расстояние. И потом, ну какой бурелом? Это же не просто лес, а Национальный парк. Здесь есть дикая тропа, она короче, но сложнее. Там тебе и валуны, и коряги всякие. А есть та, что длиннее. Она приспособлена для велосипедов, например. Вон, гляди, люди даже с детской коляской идут.

— Тоже мне авантюристы, — буркнула мама и достала пудреницу.

— Эх, ничего ты не понимаешь, — усмехнулся папа.

Путь обратно показался Яну вполовину короче. Он ещё и задремал. А когда проснулся, они уже въехали в город. А ведь он так не хотел расставаться с Паровозом!

— Давайте поужинаем в итальянском ресторанчике? — предложила мама и провела по губам перламутровой помадой.

— С удовольствием съем пиццу, — согласился папа.

Ян вынужден был признать, что проголодался. Пицца — это то, что надо! Наверное, и Паровоз сейчас будет отдыхать. И пока родители на затёкших ногах не спеша выходили из вагона, Ян спрыгнул на платформу и поспешил в начало состава.

— Не-е-ет, старина, у меня ещё одна поездка на Вершину и назад, — сказал Паровоз, выпуская из трубы белый пар.

— Ещё одна? Это ведь будет четвёртая за день! Разве ты не устал?

— Пожа-а-алуй. Зато потом так сладко спится! — Паровоз мечтательно прикрыл глаза.

— Ян, — позвал папа. — Идём, пора поесть.

— Ступа-а-ай, старина, тебя ждут. И мне пора в путь, — сказал Паровоз, протрубил «У! У! У-у-у!» и дал ходу.

5. Замкнутый круг

Итальянский ресторанчик, куда так хотела пойти мама, находился на центральной площади Старого города, как раз напротив Ратуши. И прямо в одном из старинных белых домиков, по диагонали обитых чёрными досками. У входа продавалось мороженое навынос. Ян как раз выхватил взглядом грушевое с корицей, но мама сказала: «Сначала нормально надо поесть, а потом и десерт можно. Договорились?» С Яном договориться было не сложно. Он и сам знал, что в пустой живот нельзя было взять и бросить шарик мороженого. Того гляди станет нехорошо, весь вечер пойдёт наперекосяк. Поэтому он согласно кивнул.

Входная дверь ресторана была выкрашена зелёным. По обе стороны от неё стояли бетонные вазоны. А в них важно сидели нарциссы в парадных белых блузках с жёлтыми воротничками-жабо. Они глядели по сторонам и зазывали посетителей. Ведь после зимы нельзя пройти мимо весеннего букетика и не склониться над ним! Вдыхаешь цветочный аромат, улыбаешься, а тут из распахнутых дверей потянуло базиликом, петрушкой и лавровым листом. Принюхиваешься и распознаёшь уютный запах свежего хлеба, поджаренной колбасы и чеснока. А спустя несколько минут ёрзаешь на тонконогом стуле и заглядываешь в проплывающие мимо тарелки — твой заказ несут? Нет. Вздыхаешь и снова ждёшь.

Папа с Яном тоже ёрзали и ждали. А официанты метались по залу с такой скоростью, будто были не в ботинках, а на роликах.

— Перестаньте вертеться, неужели вы так проголодались! — удивлялась мама.

— Конечно, проголодались! Смотри, вон та семья заказала позже нас, а им уже что-то принесли, — папа не мог смириться с такой несправедливостью и нахмурился.

— Им принесли приборы и салфетки, — хихикнула мама. — Не волнуйтесь, о нас не забудут.

Ян и не волновался. А даже если и забыли бы, ничего страшного. Можно ведь напомнить, войти в положение. Вон сколько народу натолкалось, и все есть хотят. Упомни тут, кому что принести! Да и вообще Яну было о чём подумать. Ведь на город опускались сумерки, а где-то там по горному склону старый Паровоз тянул длиннющий состав. Девять вагонов! Ян считал. Перед глазами у него стояли две круглые фары и толпа пассажиров. Они сыпали крошки и вылезали в окна.

Наконец один из официантов на полной скорости пересёк зал и приземлил на их изящный столик огромные тарелки. Папа заметно подобрел и склонился над гигантской пиццей с анчоусами. Мама отрезала кусочек овощной лазаньи. А Ян уплетал макароны-пружинки в белом соусе.

Правду говорят, что итальянская кухня располагает к приятной беседе. Все в ресторане болтали и смеялись так громко, что гул стоял, как в пчелином улье. Мама и папа тоже смеялись над шуткой, которую им рассказал официант. Ян не понял, что в ней смешного, тем более что она почти полностью прозвучала на итальянском. Может, родители смеялись из вежливости? Да и ладно, если так. Официант был очень доволен. Трудно, что ли, посмеяться и сделать приятное человеку, который весь вечер простоял на ногах ради того, чтобы все эти люди теперь улыбались и отдыхали?!

С Паровозом ведь так же. Он старается изо всех сил, а никому и в голову не придёт, что он всё понимает и тоже умеет грустить.

— Ты чего такой тихий? — мама заглянула Яну в глаза. — Спать хочешь? Сейчас пойдём, только расплатимся.

— Нет, я просто… Думаю.

— Да? А о чём?

— Да так, о разном.

— Не расскажешь нам с папой?

Ян пожал плечами. А что, может, и правда рассказать родителям о Паровозе? Они бы дали дельный совет, как ему помочь.

— Давайте пойдём на улицу, здесь слишком шумно. Купим по шарику мороженого и поговорим по дороге, — предложил папа, взглянул на чек за ужин и оставил деньги в зелёной кожаной книжечке. Позже за ней вернётся официант и обрадуется хорошим чаевым.

Снаружи смеркалось, и над входом в ресторан теперь сияли гирлянды. По центральной улице небольшими группами прогуливались туристы. Отличить от горожан их было несложно. Они подолгу разглядывали витрины уже закрывшихся на ночь магазинов и никуда не торопились.

— Так о чём ты там задумался, сынок? — первым спросил папа.

Ян поглубже вдохнул. Воздух больше не пах травами и соусами, а был одновременно свежим и отдавал углём. Интересно, здесь всегда пахнет паровозным дымом?

— Я кое с кем подружился, — начал Ян. — И этому кое-кому нужна помощь.

— Ясно. А какого рода помощь нужна этому твоему другу?

— Скажем так, есть то, что сильно огорчает его на работе, но никто не слышит его, поэтому ничего не меняется.

— А ты, получается, слышишь?

— Получается, да, — Ян кивнул.

— Сколько, ты сказал, этому твоему другу лет?

— Не знаю, но он уже старый.

Мама с папой переглянулись.

Вся его надежда сейчас была только на родителей. Мама всегда обнаруживала выход даже из самой сложной ситуации. Она говорила, что иногда достаточно всего лишь посмотреть на вещи под другим углом, и они засияют новыми красками. А папа был таким умным и предприимчивым, что обязательно придумал бы, как помочь Паровозу.

— Когда меня не устраивают условия труда, — начал папа, — я «а» — пишу письмо директору университета и прошу его принять срочные меры. И «б» — даю понять, что в противном случае сменю место работы. Твой друг может так сделать?

— Нет, он… он не умеет писать.

Родители снова переглянулись. Папа нахмурился, а мама пожала плечами.

— К тому же другую работу ему не найти. Он тот, кто он есть.

— А что, если твоему другу просто не делать то, что он не хочет? — предложила мама.

— Нельзя. Это же его работа.

— А-а-а… — мама понимающе закивала. — А если поговорить с теми, кто ему досаждает?

— Они его не слышат, говорю же!

— Да, да, верно.

Город со сказочным названием быстро пустел. Жители его сворачивали в косые улочки и вскоре терялись из виду в домах, напоминавших кукольные. Один такой стоял у Майки в детской, когда она была младше. Правда, в окнах Майкиного кукольного дома свет не горел, а в этих, настоящих, зажигался тёплый, оранжевый.

Мамины полусапожки глухо постукивали по длинной улице, вымощенной булыжником.

— Послушай, а как тебе такая идея, — снова предложил папа. — Пусть твой друг рассердится не на шутку. Я однажды провернул такой фокус со своими студентами. Они прогуливали и ленились. И я разозлился на них и влепил всем «незачёт». С тех пор они мои лекции не пропускают.

Ян только вздохнул. Паровоз уже сердился — гудел, выпускал чёрные дымовые тучи и даже останавливался на месте. Только ничего из этого не срабатывало.

— Да, непростая ситуация, — признал папа и кивнул сам себе. — Но я обещаю тебе, что подумаю об этом завтра с утра, на свежую голову. Идёт?

Вдалеке послышалось протяжное «У-у-у!». Паровозный клич перекатывался в густом тумане и эхом плыл по улочкам Старого города. Ян сжался, вглядываясь в фиолетово-синие холмы.

Когда они поравнялись с железнодорожными путями, шлагбаум начал медленно опускаться. Светофор замигал красным, и раздался предупредительный сигнал. Движение остановилось. Несколько машин с местными номерами затормозили на перекрёстке.

— Давайте подождём? — предложила мама и послала взгляд туда, откуда плыли звуки идущего состава. — Дух захватывает, когда старый поезд проходит так близко!

И они подождали. Прошло несколько минут, прежде чем тишину апрельского вечера нарушил металлический стук колёс и звук паровозного гудка. У паровозов, кстати, есть характер! Какие-то гудят так, что уши хочется закрыть. А этот, конечно, тоже гудел, но как-то особенно. С тёплым бархатным свистом. Будто бы играл на гигантской флейте, баюкал лес и горы.

«Хоть бы вагоны были пустыми! Хоть бы вообще никто не ехал с Вершины, не запихивал салфетки между сиденьями и не хлопал форточками», — просил про себя Ян.

Паровоз шёл, как идут те, кто отработал весь день и хочет поскорее добраться до дома. Круглые фары устало вглядывались в сумерки. В вагонах горел свет, а на скамейках, затянутых красным бархатом, сидело всего несколько человек.

Ян вскинул руку и замахал Паровозу, но тот даже не заметил мальчика.

— Он, наверное, очень устал, — догадалась мама и приобняла сына. — Давай и мы пойдём отдыхать.

— Нет, мне необходимо поговорить с ним! Прошу, пожалуйста, давайте сбегаем в депо всего на пять минут!

— Ничего себе «сбегаем», — папа проследил взглядом дорогу до депо.

— Но он будет ждать меня, — Ян закусил губы. Неужели родителям непонятно, что поговорить с Паровозом для него сейчас было важнее любого отдыха!

Мама с папой в последний раз переглянулись и слабо закивали.

— Только я больше никуда не побегу, не в такой обуви.

— Завтра купим тебе удобные ботинки, — папа бросил взгляд на часы на запястье. — Идёмте, депо на ночь закроют, и твой друг отправится спать.

Теперь, когда родители знали о Паровозе, Яну было проще делиться с ними переживаниями. Поэтому всю дорогу до депо они разговаривали. Родители хвалили Яна за внимательность к чужой беде, за желание помочь. Папа даже вспомнил, как мальчишкой всегда старался заметить тех, кто нуждался в помощи: в холодное время года по дороге в школу подкармливал птиц. Поэтому в его карманах всегда были какие-нибудь зёрнышки и семечки. А на обратном пути обязательно подсказывал кому-нибудь, как пройти на «такую-то» улицу, или показывал, где останавливался двадцать восьмой автобус.

А маленькая мама то переводила через дорогу какую-нибудь старушку, то успокаивала рыдавших из-за двойки первоклашек… И как знать, не сделай она тогда этого, вдруг те дети перестали бы стараться в школе и не стали бы хорошими врачами или полицейскими. А не корми папа птиц, они бы замёрзли зимой, и какой-нибудь поэт весенним вечером не вдохновился бы их птичьими песнями, не написал бы прекрасные стихи, которые потом кто-нибудь не прочитал бы в школе на «отлично», и ревел бы, теряя к образованию всякий интерес.

Замкнутый круг. И Ян не хотел, чтобы возник ещё один. Он всё представлял себе, как Паровоз терпит и терпит нерадивых пассажиров, а те даже не пытаются услышать его. А потом он вообще перестаёт подниматься на Вершину, стоит себе один-одинёшенек в ангаре депо, грустит, стареет… И люди, те, кто не мусорит и не шумит в вагонах, тоже грустят. Потому что они мечтают под мерный стук колёс отправиться на Вершину, посмотреть на прекрасные одеяла из лоскутков полей, лесов и деревень и представить себя птицами, парящими в небе.

Когда Ян с родителями подошли к зданию депо, почти все работники уже разошлись по домам. Папа осматривался, мама фотографировала, а Ян… Он сразу заметил своего друга. Паровоз стоял на рельсах, рядом с ним суетилась женщина в медицинской форме и с чемоданчиком в руке. Паровоз выглядел подавленным.

— Нельзя так перенапрягаться! Отдых нужен, — заключила она и даже пригрозила пальцем. — Сердце-то не железное.

Ян поджал губы. Паровоз уже не молод. Вот и врач говорит, что нужно отдохнуть. Мальчик решил ничем не огорчать друга. Он дождался, когда женщина с чемоданчиком скроется из виду, и шагнул вперёд.

— А-а-а, это ты, старина, — прохрипел Паровоз и откашлялся.

— Мы решили пожелать тебе спокойной ночи.

— Кто «мы-ы-ы»? — Паровоз покосился из стороны в сторону.

— Я и мои… — Ян обернулся. Чуть позади его родители разговаривали с машинистом. Мама кивала и улыбалась, а папа засунул руки в карманы и теперь оттягивал их едва не до колен. Родители нервничали. — Наверное, они решили спросить машиниста о том, как у тебя дела.

— Со мной всё в поря-а-а-адке, старина. Мне нужен сон, только и всего-о-о…

«Храбрится, не хочет говорить о враче», — подумал Ян и сменил тему.

— А как там вечером на Вершине?

Паровоз тяжело вздохнул, задумался.

— Тума-а-анно.

Ян заглянул в поблёкшие фары. Паровоз засыпал.

— Я лишь хотел сказать, что обязательно придумаю, как тебе помочь. Даю слово! А теперь спи, дружище. Сладких снов.

Паровоз провожал мальчика взглядом, притворяясь, что спит всякий раз, как Ян оборачивался. Иначе бы ему стало неловко за капли на круглых фарах. «Это дождь», — подумал Паровоз, глядя, как в ясном небе зажигались первые звёзды.

По пути домой папа первым начал разговор:

— Какие на завтра планы?

И правда, какие? Ян собрался помочь Паровозу, а в голове идей — чистый ноль. Будто налетевший с гор ветер ему их через уши выдул. Потому что уши у Яна были холодные-прехолодные. А идей по-прежнему не было никаких. Он пожал плечами.

А дома папа достал из кармана сложенный пополам рекламный лист и протянул его Яну. На нём была фотография какой-то разрушенной крепости, а надпись гласила, что прежде она принадлежала викингам и была открыта ежедневно с девяти утра до шести вечера. Посетителей просили не устраивать пикники на территории крепости и её земляных угодьях, не бегать по каменным лестницам и воздержаться от посещения в сырую или ветреную погоду.

— Может, поедем туда? Руины старинной крепости, что может быть лучше! — предложил папа, хлопнул в ладоши и развёл руки в стороны, как в каком-нибудь танце. — Купим маме подходящие ботинки и рванём.

— Я думал, мы вместе поможем моему другу, — Ян вздохнул и ссутулился.

— Видишь ли, мы с мамой не уверены, что ему нужна помощь.

— Как это?! Разве вы не говорили с машинистом?

— Говорили…

— И он рассказал вам о враче?

— Да-да, он всё нам рассказал, — пришла на помощь мама. — Но нам правда не кажется, что ему нужна наша помощь. Да и что бы мы могли для него сделать?

— Но ведь он совсем старый, слабый уже, и… он мой друг.

Родители посмотрели на Яна, потом друг на друга, потом снова на Яна. Вечно они переглядываются, будто знают какой-то секретный язык! А Яну с кем, скажите на милость, секретничать?

— Он сам просил тебя о помощи?

— Пап, да нет же, — отмахнулся Ян. — Он из тех, кто никогда не попросит. Будет молчать, терпеть и… Неужели ты не понимаешь?!

— В таком случае ему необходимо превозмочь себя и переступить через свою слабость, — сказал папа и сплёл руки на груди.

— Да он силач! Сам посмотри, как ему удаётся поднимать в гору целый состав в десять вагонов. Просто отчаялся. Разве у вас с мамой так не бывает?

Папа задумался. Он вспомнил, как порой приходил домой совершенно без сил, совал ноги в тапки, садился в кресло, включал телевизор и смотрел футбол. Но когда Ян спрашивал, какой счёт, папа не мог связать и двух слов, будто только что проснулся. А потом, когда Ян уходил спать, папа жаловался маме на ленивых студентов, нерадивых коллег и даже на погоду жаловался.

Мама тоже задумалась. Она нередко возвращалась из больницы абсолютно раздавленной. Так и говорила: «Я абсолютно раздавлена». В мультиках иногда показывают, как на кого-нибудь сваливается шкаф с книгами или

булыжник с горы. И этот кто-то лежит с высунутым языком, а над головой его чирикают и наматывают круги жёлтые канарейки. А потом он встаёт целёхонький и продолжает заниматься своими делами. Вот и мама тоже иногда весь вечер лежит на диване, молчит или рассказывает папе об угрюмых пациентах и о строгом начальнике, том, что с блестящей лысиной. Потом папа заваривает ей мятный чай, и они снова долго разговаривают. А наутро мама, целёхонькая, встаёт и опять идёт на работу.

Паровозу тоже необходимо было выговориться, узнать, что он не один на этом свете. Что у него, например, есть Ян.

— Сынок, мы понимаем, почему тебя так тянет к этому твоему другу, — мама взяла Яна за руку. — Он ведь тоже старенький, а бабушки, конечно, не могут…

— Мам, да при чём тут бабушки! Завтра в вагонах опять будет стоять шум, как в курятнике, а все сиденья снова засыплют фантиками! И вы предлагаете мне остаться в стороне?!

Уши и щёки у Яна вспыхнули, как газовые конфорки. Что-то внутри него колотилось, стучалось и подпрыгивало. Ян решил быть твёрдым, как никогда прежде.

— Завтра я должен быть рядом с ним, — сказал он и упёрся взглядом куда-то между родителями.

По комнате разливалось молчание, густое и липкое, как малиновое варенье, какое варят Яновы бабушки. Папа косился на маму. Мама на него. Делать нечего.

А перед сном Ян записал в блокнот:

«Не знаю, чем помочь Паровозу. Как сделать, чтобы пассажиры больше не огорчали его? Да и как вообще можно изменить кого-то. Бабушки говорят, что всегда нужно начинать с себя. Я ведь не мусорю в вагонах. Что же мне делать?»

6. «Внук машиниста» и попытка № 1.

Наутро все трое встали пораньше, спешно позавтракали, и, как только небо над Густой лесистой местностью просветлело, Ян с родителями вышли из дома. Никакого особенного плана по спасению Паровоза им придумать не удалось, поэтому они просто отправились в депо. Ночью иней ущипнул деревья, кусты и красные крыши домов, и теперь они казались такими же седыми, как борода машиниста. Жители города просыпались, и из печных труб тут и там поднимался жидкий дымок.

В депо ни Паровоз, ни машинист почему-то совсем не удивились гостям в такую рань.

— У паренька огонь в глазах. Я и не сомневался, что он вернётся, — сказал машинист и подмигнул Яну.

Ян следом подмигнул Паровозу, а тот в свою очередь мигнул ему круглой и ещё сонной фарой.

— Вставать в такую ра-а-ань уже не для меня, — признался он. — Но я рад тебе, старина-а-а!

— И я тебе рад, — Ян приложил ладошку к железному боку Паровоза и ощутил дрожащее тепло.

— А вот твои родители, похоже, не особенно радуются, — усмехнулся Паровоз, и из трубы его выпрыгнул клочок белого пара.

Папа неприкрыто зевал, что позволял себе крайне редко и только в минуты глубокой усталости. А мама, похоже, дремала на его плече. Ян спать не хотел, хоть и лёг за полночь, а проснулся ещё до рассвета. А теперь украдкой посматривал в круглые фары и не знал, совсем не знал, как быть. Как вдруг из окошка выглянул машинист и пробасил так, что мама с папой подпрыгнули на месте:

— А что, если парнишка поедет с нами? Отпустите? Ему вон как охота! Есть такие мальчишки, их пустите хоть понюхать, как поезд пахнет. Вот и будет мне помощник, а? А я за ним пригляжу, вы не сомневайтесь.

Ян мог с закрытыми глазами описать всё, что сейчас происходило в нескольких метрах от него. Мама и папа переглянулись, пообщались на секретном языке взглядов и вздохов, пожали плечами и, была не была, согласились.

— Обязательно поезжайте к руинам той крепости! — Ян прощался с родителями до вечера.

— Ты уверен, что нам не нужно поехать с тобой? Я как-то волнуюсь…

— Пап, всё будет хорошо! Мне «а» — пора взрослеть, «б» — моему другу нужна помощь, и «в» — вам с мамой тоже полезно погулять вдвоём. Представь, что я уже вырос и иду на работу, как и каждый день.

Ян сказал это так запросто, что по спине у папы пробежал холодок. Вырос! Ну вот ещё… «Совсем недавно, — думал папа, — он журнал не мог до стола донести. А тут «иду на работу», вы подумайте!»

И всё же папа радовался, что Ян так загорелся желанием помочь этому старому, одинокому…

— Уууу-у-у! — раздалось вдруг, и мысли папины рассыпались, как снежок, брошенный на асфальт.

Ян махал родителям всё время, пока поезд выезжал из депо и медленно направлялся к повороту. Он шёл к станции, на которой уже ждала толпа туристов. И чего им не спится в такую рань! Ян вжался в спинку сиденья, когда из колонок на станционных фонарях раздалось знакомое «по ваго-онам!», и толпа взрослых и ребятишек ворвалась внутрь. Румяные и шумные, они топали, толкались и занимали свободные места. Паровоз едва успел тронуться, а пассажиры уже зашуршали фольгой и пакетами.

Несколько остановок Ян наблюдал, как на сиденья сыпались крошки от бутербродов и чипсов, а налипшая на сапоги грязь оставляла на полу густые следы. Паровоз грозно гудел всякий раз, как какой-нибудь любопытный пассажир просовывал голову в форточку, но только Ян понимал, что это значило. И тут он догадался! Нельзя ожидать, что люди сделают то, о чём они и понятия не имеют.

Он закусил нижнюю губу, вдохнул поглубже и медленно встал с места.

— Пропустить тебя, мальчик? — спросил мужчина в вязаной шапке с красным помпоном. — А где твои родители? Ты что, едешь один?

— Нет, я… не один… — замялся Ян. — Меня машинист позвал с собой.

— Машинист? — переспросил голубоглазый мальчишка в очках и откусил яблоко.

— Угу, — Ян неуверенно кивнул и добавил: — Он… он — мой дедушка. Вообще-то в вагонах есть нельзя. Крошки.

Мальчик в очках смерил Яна оценивающим взглядом с головы до ног и закатил глаза.

— Какие крошки? Это же яблоко.

— Ну и что! От бутербродов — крошки, от яблок — огрызки.

— Ха-ха, было бы странно, если б наоборот, да, ребята? — хохотнул мужчина, пытаясь разрядить обстановку. Помпон на его шапке забавно покачивался.

Но голубоглазый мальчик демонстративно откусил от яблока огромный кусок и сжевал его с сочным хрустом. У Яна даже слюнки потекли. Но он не мог закрыть глаза на такое поведение. Больше всего на свете он хотел бы влепить мальчишке, но в его семье драками проблемы не решали. Потому что «а» — это варварство, во всяком случае, так считал папа Яна, и «б» — можно было покалечить и себя, и обидчика. Поэтому Ян вдохнул поглубже и вышел на середину вагона. Загородив собой и без того узкий проход, он нахмурился и огляделся.

Пассажиры не сразу заметили худенького кареглазого мальчика, который теперь совершенно не знал, что говорить. Ян, как улитка, всё сильнее сжимался под любопытными взглядами. На него глядели дети, как он, и дети помладше. Их папы и мамы, дедушки и бабушки. Даже охотничья собака породы бигль, что ехала на Вершину, подняла морду с пола, на котором мирно дремала, и застыла так, будто приметила утку или зайца.

— Уважаемые пассажиры, — начал Ян своё нехитрое обращение. — Пожалуйста, не мусорите в поезде, не высовывайтесь в окна и не стучите форточками.

Переглянувшись между собой, люди продолжали внимательно слушать.

— Не разрешайте детям бегать по вагонам и шуметь. Всё это очень отвлекает Паровоз от работы, — Ян вдохнул поглубже.

Ему вдруг показалось, что он был очень похож на папу, когда тот читал лекцию студентам. А ещё папа говорил, чтобы те и думать забыли появляться на экзамене, не выучив билетов. Поэтому для пущей уверенности, что его слова воспримут всерьёз, Ян заявил:

— А если вы не будете соблюдать эти правила, лучше выходите и идите до Вершины пешком.

— Ты что, начальник поезда? — мальчик с яблоком в руке выступил вперёд. Ян поджал губы. — Вот и не выступай!

— Не могу, я обещал помочь другу, — еле слышно ответил Ян.

— Какому ещё другу?

— Паровозу.

— Паровоз — твой друг? — мальчик в очках вскинул бровь, как если бы Ян признался, что прилетел на драконе из волшебного леса.

— Ты не поймёшь, — отмахнулся Ян.

И всё же он заметил, что люди вокруг притихли. Малышу в красной курточке родители запретили стоять ногами на сиденье, пожилая женщина спрятала шоколадное печенье в карман рюкзака. Даже мальчишка в очках теперь откусывал от яблока крошечные кусочки и проверял, не капает ли на пол сок. Ян вдруг почувствовал себя сильным и счастливым одновременно. Но счастье его было недолгим. На станциях, что были ближе к Вершине, заходили новые пассажиры, и нужно было объяснять всё сначала. Пока паровоз ехал, Ян несколько раз прошёл по вагонам, чтобы рассказать о правилах поведения в поезде.

— Мальчик, где твои родители? — снова спросил кто-то.

— Я… я с дедушкой, он — машинист, — ответил Ян, уставившись в пол, и уши у него тут же вспыхнули.

Так он проездил целый день. На Вершину Паровоз тянул состав бойко, хоть и не без труда. Ян чувствовал, как дрожал железный корпус поезда. Обратно в город ехать было куда легче. И поезд шёл медленнее, чтобы не разгоняться под уклон. Пассажиры дремали, пили кофе из термосов и жевали бутерброды. Тут-то Ян и нависал над ними, как плохие новости в радостный час. Он так настойчиво требовал не есть в вагонах, что никто с ним не спорил. Хотя, глядя на недовольные лица пассажиров, Ян начинал побаиваться, что его и самого скоро попросят убраться вон из поезда.

К вечеру Ян так устал, что едва не засыпал на ходу. Родители ждали его в депо и ужасно гордились сыном. А Ян вынужден был признать, что план его провалился. Ведь местные жители ездят на Вершину очень редко, чего они там не видели! Поездка на старом Паровозе — это аттракцион для туристов, которые ежедневно сменяют друг друга. И если сегодняшним пассажирам Ян пусть и надоел, но всё же рассказал о правилах поведения в паровозном составе, завтра придут другие. Ян мог бы и снова проездить весь день, следя за порядком в вагонах. Да хоть бы и каждый день! Но столько времени у него не было. Послезавтра родители увезут его назад в город. Там его ждали школа… и Майя.

Про неё Ян и вовсе думать забыл. А ведь надо подписать ей открытку. Это была их любимая традиция. Куда бы один из них ни отправился, обя-

зательно присылал открытку. Так у Яна скопилась целая стопка Майкиных открыток из разных городов и даже некоторых стран. А у Майки — Яновы, с морского побережья. Эх, если б только она оказалась здесь, обязательно бы придумала что-нибудь. Она такая идейная, Майка эта, хоть и не отличница. Только поверила ли бы она в то, что Паровоз для Яна — самый настоящий, говорящий и всё чувствующий?

— Уууу! — выдохнул Паровоз и прикрыл глаза-фары, над которыми выступила испарина.

— Как ты, дружище? — подошёл к нему Ян.

— Уста-а-ал. А ты?

— Я в полном порядке, — ответил Ян и широко зевнул. Так же, как утром папа.

Паровоз хохотнул, из трубы выскочило последнее белое колечко пара, и машинист скомандовал отбой.

По пути из депо родители расспрашивали Яна о его приключениях. Но их было немного, и они принялись рассказывать о своих. Мама похвасталась новыми ботинками, удобными и подходящими как для прогулки по лесу, так и по мощёным улицам. А папа рассказал о Крепости Викингов, которая произвела на него невероятное впечатление своей старинностью и размерами.

— А ещё, только представь себе, она стоит на отвесной скале! — папа округлил глаза, и они напомнили Яну фары Паровоза.

— Ну, не то чтобы на скале. Скорее, это была гора, — добавила мама, но папа уже не слушал. Он даже под ноги не смотрел, так увлечённо рассказывал о Крепости.

Ян слушал вполуха. Все его мысли занимал Паровоз. Ещё утром мальчику казалось, что он знал, что делает. А теперь внутри него будто установили таймер. И с каждой уходящей секундой в голове тикало: «Остался один день».

— Думаю, мы все заслужили вкусный ужин, — сказала мама, и Ян вдруг ощутил, насколько он проголодался. — А Ян заслужил ещё и подарочек!

Мама достала из рюкзака альбом и новенький набор фломастеров.

— Вдруг захочешь отвлечься и немного порисовать, — сказала она.

В ресторанчике подавали отменные стейки. Так, во всяком случае, говорила вывеска над входом. Родители выбрали уютный столик, сделали заказ и расплылись в довольных улыбках. Папа держал маму за руку, когда Ян вдруг заметил знакомое лицо в конце зала за деревянной балкой. Мальчик в очках, тот самый, что грыз в поезде яблоко, кивнул Яну и скользнул за балку.

— Я… мне надо… Я сейчас, — промямлил Ян и не спеша зашагал в конец зала.

Не спеша, потому что не понятно было, чего хотел тот мальчишка. Вдруг он сейчас ка-а-ак влепит Яну с размаху за то, что тот привязался к нему сегодня с этим несчастным яблоком!

— Чего тебе? — Ян сунул руки в карманы.

— Про деда-машиниста ты, конечно, соврал?

Ян не ответил, уставившись на свои ботинки.

— Короче, есть идея, как помочь Паровозу, — заявил мальчик, и в стёклышках его очков отразился тёплый свет бра.

Спустя пару минут Ян вернулся за стол.

— Тот мальчик, вы что, знакомы? — спросил папа.

— Да, познакомились сегодня в поезде. Он предложил завтра погулять вместе. Вы же меня отпустите?

Родители переглянулись.

— Мы с папой думали, ты захочешь провести день с нами, — мама нахмурилась. — Что это за мальчик такой, и где вы будете гулять?

Ян всегда знал, когда мама собиралась сказать «нет». А потому сделал ход конём и приукрасил историю. Ради маминого спокойствия. Так Ян решил.

— Мальчик как мальчик. Ехали вместе на Вершину, познакомились. Он угостил меня… яблоком. Они с папой идут завтра в краеведческий музей и позвали меня с собой, — соврал Ян.

— А где его родители? — мама развернулась на стуле в поисках семьи незнакомого мальчика.

И Ян развернулся, но быстро нашёл мальчишку. Тот что-то рассказывал своим родителям. Наверное, тоже врал про завтра. Ведь никакого музея в планах не было. Но тут мамы и папы заметили друг друга, улыбнулись, перемахиваясь, и согласно закивали. На этом тайном языке говорят все родители, что ли?

— Может, нам пойти с тобой? — предложил папа.

— Не на-а-адо, — Ян старался говорить спокойно и даже небрежно. — Проведите ещё один день вдвоём. В городе вы так много работаете!

Мама застыла в одной позе и вскинула бровь. «Ну всё, — решил Ян, — догадалась!»

— Ты вдруг так повзрослел, — улыбнулась она.

А потом принесли стейки. И семья приступила к ужину, думая, что завтра их сын проведёт время с новым другом и его родителями. О том же самом думала и вторая семья. Ведь мальчик в очках рассказал своим родителям такую же историю.

7. Попытка № 2 и самая главная сплетница

С утра Ян места себе найти не мог. Им с мальчишкой предстояло изменить судьбу Паровоза. Ян с трудом позавтракал — есть совсем не хотелось. Но мама настояла.

— На голодный желудок собрался? Хочешь там в обморок упасть?

Уж на что, а на обмороки у Яна сегодня времени не было. Он доел булочку с маслом и мёдом, надел куртку, сунул в карман шапку и перчатки. Позже и то и другое ему пригодится, по улице сегодня придётся ходить ого-го сколько.

Ян уже зашнуровал ботинки и собирался попрощаться с родителями, как вдруг папа сказал:

— Я тебя провожу, заодно познакомлюсь с этим мальчуганом и его семьёй. Как его, кстати, зовут?

— Эм-м-м…

«Вот же балда, — пронеслось в голове у Яна, — собрался на такое дело и даже имени его не спросил!»

— Его зовут… М-Марк.

— Отлично, познакомлюсь с Марком.

Краеведческий музей находился всего в десяти минутах от дома, который родители Яна сняли на время поездки. День начался с солнца, поэтому прогулку до музея можно было бы назвать чудесной, если бы не одно «но». Ян собирался обмануть родителей. Собственно говоря, он уже их обманывал. Он даже смотреть на папу не мог, чтобы внутри у него не холодели жилы. Поэтому глядел себе под ноги и послушно мычал в ответ на папины наставления:

— Будь вежливым и послушным, не доставляй людям неудобств, договорились?

— Угу.

Перешли дорогу, оставляя позади железнодорожные пути.

— Если тебя будут чем-нибудь угощать, обязательно поблагодари, понял?

— Угу.

Свернули направо, прошли вдоль улицы и подошли к каменной арке — входу в Старый город.

— Закончите, сразу позвони, мы тебя встретим.

— Я же не маленький, — ответил Ян, всё ещё не решаясь поднять на папу глаза.

— А кто сказал, что дело в этом? Просто мама «а» — и так переживает, что ты второй день без присмотра гуляешь, и «б» — мы хотим пригласить родителей Марка на кофе.

— Зачем? — во рту у Яна пересохло.

— Так положено, они ведут тебя в музей. И мы хотим их отблагодарить, понимаешь?

— Угу.

— Ты чего-то сегодня неразговорчивый...

Только Ян собрался пожать плечами и сменить тему, как на площади показался мальчик в очках. Он размахивал рукой и шёл навстречу. Ян припустил к нему со всей скорости.

— Ты зачем папу привёл?! — зашипел на него мальчик.

— Меня одного не отпустили. А твой папа где?

— Дома. Я сказал, что твои родители за мной присмотрят.

— Он не должен догадаться, что ты пришёл один! — сказал Ян. — Папа с мамой вас ещё и на кофе пригласить хотят!

Янов папа приближался, выискивая взглядом родителей Марка. Ситуация выходила из-под контроля, и оба мальчика изо всех сил старались придумать новую ложь.

— Привет, Марк! Рад с тобой познакомиться!

Ян напрягся как струна.

— Эм-м-м… Здравствуйте, — мальчик в очках сообразил, что его теперь временно зовут Марком.

— Твои родители…

— Маме нездоровится, она осталась дома. А папа уже пошёл за билетами. Там такая очередь!

— Ой, как жаль, а мы хотели пригласить вас после музея выпить кофе с вафлями.

— Спасибо! Как вы узнали, что вся наша семья просто обожает вафли? Я передам маме, и она сразу же поправится.

Фальшивый Марк врал, как дышал. Папа Яна почему-то верил ему, кивал и улыбался.

— Ладно, мы пойдём, а то экскурсию начнут без нас, — сказал мальчик и потянул Яна за рукав.

— Ян! — окликнул его папа, оттопырил большой палец и мизинец и помахал ими у уха.

— Хорошо, позвоню, как закончим!

Мальчики поднялись по лестнице и вошли в здание музея. Выждав пару минут, снова выскочили за порог и со всех ног припустили к каменной арке. Им предстояло незамеченными выбраться из Старого города, дождаться автобуса, проехать на нём несколько остановок до улицы Горных лип и… Хоть бы только она была дома!

— Пока всё идёт неплохо, — заметил мальчик в очках, ища взглядом два свободных кресла в автобусе.

— Как тебя на самом деле зовут?

— Лука. А ты, как я понял, Ян?

— Угу. Извини, что придумал тебе имя. Нужно было что-то сказать, когда папа спросил…

— Всё нормально, я не против. Я вообще люблю придумывать, — сказал Лука и занял место у окна.

Ян сел рядом.

— Я надеюсь стать писателем. Ну, потому что легко сочиняю разные истории.

— Я думал, тебе просто нравится врать.

— Да? — Лука нахмурился и развернулся к Яну. — Думаешь, меня не волнует, что я вру родителям? Может быть, ты ещё скажешь, что я по жизни враль?

Ян пожал плечами. А Лука вконец рассердился.

— Я делаю это, чтобы помочь тебе и твоему Паровозу!

— Тогда лучше подумай ещё раз, потому что твой план хоть и блестящий, но не надёжный. И скорее всего, нам никто не поверит.

Лука посмотрел на Яна так же, как когда тот прицепился к нему из-за яблока.

— У нас от силы пара часов, чтобы добраться до места, никому не попасться на глаза, убедить её и вернуться в город, пока родители не пронюхали, в чём дело. Или у тебя есть идея получше?

Мальчики отвернулись друг от друга и ехали молча. Ян всё думал, почему Лука ввязался в это сомнительное приключение. Мог бы просто пройти мимо. Но Ян тогда так старался помочь Паровозу, ещё и другом его назвал, про обещание что-то говорил, пассажирам правила зачитывал… Наверное, Лука тоже захотел быть полезным. А разве можно пройти мимо, если кому-то нужна помощь! Видимо, Лука не мог.

— Приехали, — буркнул Лука.

Мальчики вышли из автобуса. С ними вместе сошли ещё несколько человек и разошлись в разные стороны.

— Нам туда, — кивнул Лука и ускорил шаг.

Время поджимало. Ян торопился следом. Вскоре показалась улица Гордых лип. Мальчики пошли вверх по холму.

— Ещё пару минут. Она живёт в конце улицы. Немного странная, как все старушки, — сказал Лука.

— Не все старушки странные, — Ян сразу подумал о своих бабушках.

— Хочешь это обсудить, или займёмся делом? — спросил Лука без тени улыбки.

Мальчишки вышли на улочку, на которой ещё местами лежали рыхлые островки подтаявшего снега. Они блестели на солнце, и Ян не мог удержаться, чтобы не поддать по ним ботинком. Островки взрывались ледяными осколками и, блеснув на солнце золотым, рассыпались по земле, словно бисер.

Улица шла вверх, и там, на холме, показался двухэтажный дом с резными гребешками на крыше. Здесь город будто перевоплощался в лес — деревья и кусты стояли плотной стеной, словно отгораживая дом от путников.

«Уж не к ведьме ли он меня ведёт!» — подумал Ян и дёрнул плечами.

Лука деловито оттянул рукав куртки и, прищурившись, посмотрел на часы на запястье.

— Сейчас она, вероятнее всего, как раз собирается за покупками. Она обычно прямо с утра по городу ходит, сплетни собирает. То, что нам и надо!

Весенний день звал на прогулку. В ветвях ещё голых крон спорили о чём-то желтогрудые синицы. По васильковому небу плыли белые, как пломбир, облака! В воздухе пахло так, как бывает только ранней весной. Когда кажется, что и деревья, и птицы, и каждый человек в городе радуется солнечному свету и первым листочкам на кустах бузины и спиреи. Что сейчас надо было бы сделать, так это купить шарик мороженого и пойти гулять! Может быть, даже и правда посетить краеведческий музей… А потом зайти в кафе на главной площади и заказать горячих мягких вафель, присыпанных сахарной пудрой. И рядом сидели бы родители. Мама делала бы снимки мощёной площади, а потом восхищалась бы тем, как камешки похожи на узор на вафлях. А папа обязательно бы выяснил, в каком году построили кафе, кто из знаменитых исторических личностей в нём побывал, и тоже поел вафель, «потому что «а» — важно изучать историю своего края, и «б»…»

Лука тоже думал о чём-то. Он переводил взгляд с циферблата наручных часов на дверь дома на холме и излучал боевую готовность. Яну оставалось

только позавидовать ему, потому что сам он трусил, представляя старуху нелюдимой и злобной.

— Идёт! — прошипел Лука, и Ян успел бросить взгляд на старушку прежде, чем Лука схватил его за рукав и оттащил с дороги.

Невысокая, худенькая женщина семенила к калитке. По мере её приближения в глаза бросались чёрное пальто и ярко-красные ботинки на шнуровке и узком каблуке. На согнутой руке висела дамская сумка. А на голове красная шляпка-котелок.

— Она будто из прошлого века, — прошептал Ян.

— Никто точно не знает, сколько ей лет, но все жители города помнят её с самого своего детства, — пожал плечами в ответ Лука. — Говорят, она всегда была старой.

Ян передёрнулся. Лука глянул ему за плечо. Старушка подходила ближе. Слышался стук её каблучков по сырому асфальту.

— Начали! — скомандовал Лука.

И Ян, неестественно повысив голос, заговорил:

— Поверить в это не могу, просто ужасно! Как теперь быть!

Старушка встрепенулась, заметила ребят и прислушалась. Лука подмигнул, и Ян продолжил:

— Мы специально из города приехали, чтобы отправиться на Вершину!

— Да в такую погоду состав просто не выпустят из депо! — воскликнул Лука.

— Неужели на город идёт снежный буран?! И это в апреле! Ты уверен, что всё правильно понял?

Женщина поглядела по сторонам, вскинула бровь и засеменила к мальчикам. Ян слышал, как цокали каблучки её красных ботинок, и по спине у него побежал холодок.

— Уверяю тебя, информация о буране пришла из самого надёжного источника.

— Что здесь происходит? — раздался вкрадчивый, хрипловатый голос старухи. — О чём это вы галдите? Что за буран, погода стоит прекрасная!

Ян обернулся. Первое, что бросилось ему в глаза, это ярко-красные губы старухи, от которых к самому подбородку шли две глубокие морщины. Бледно-голубые глаза живо бегали от Яна к Луке и обратно, будто кто-то нажал на кнопку «ускорить». От старушки пахло чем-то сладким, и Ян едва мог вдохнуть, пока она находилась рядом.

— Здравствуйте, — начал Лука, и уважительно наклонил голову. — Диспетчер сообщил дедушке, что с Вершины идёт самый сильный за всю историю нашего города снежный буран. Поезд будет стоять в депо, и мы жалеем тех пассажиров, которые купят билеты, а поездка в итоге не состоится.

— Какой ужас! Буран?! В Густой лесистой местности? В апреле?!

— Да, да, — закивал Лука. — Я знаю, трудно такое принять. Но, к сожалению, через пару часов снежная буря заметёт нас по крыши. Но вы же понимаете, что информация конфиденциальна, об этом никому нельзя говорить, иначе можно посеять панику! Магазины опустеют, туристы кинутся из города вон…

— Да, разумеется, мой дорогой, — старушка задержала взгляд на Луке и закивала так, будто шея её была из железа, которое давно не смазывали маслом. — Никто ничего не узнает.

— Благодарю вас, — Лука снова кивнул. — А вы случайно не на автобус до Старого города идёте?

— Эм… Нет, я в булочную, за хлебом. Если на город надвигается буран…

— Не сомневайтесь!

— …то нужно закупиться продуктами.

— Предусмотрительно, — заметил Лука. — Ну что ж, до свидания, берегите себя!

Мальчики смотрели вслед старушке. Она семенила вниз с холма, оглядываясь на них так, словно они в любой момент могли отправить за ней свору собак.

— О каком дедушке ты ей там болтал? — подал наконец голос Ян и вдохнул полной грудью. В воздухе ещё стоял шлейф старухиных духов.

— Мой дедушка — машинист поезда.

— Правда? Ты что, местный?

— Конечно, иначе откуда я всё и всех здесь знаю, ты не думал? Ладно, идём. Сплетница наша, разумеется, поедет на первом же автобусе, нам нельзя с ней пересекаться. Подождём следующий, у нас минут двадцать.

Лука уверенно шёл вперёд. Ян топал за ним, разъезжаясь на апрельской каше из сырой земли и остатков снега. Но сладкий вкус победы сам собой начал сменяться разочарованием. Ян вдруг понял, что, если старухе удастся пустить сплетню, поезд простоит в депо день-другой. А потом… Нет, этот план оказался не таким уж блестящим. Мальчишки пустили ложный слух о непогоде, возможно, даже устроили переполох в городе, ещё и родителей обманули. Но самым мерзким было осознание, что врать им придётся вечно. Ведь не подойдёшь между делом и не скажешь: «Мам, пап, помните, мы ездили в горы? Так вот я тогда не в музей ходил, а втирался в доверие к одной бабусе, чтобы посеять панику среди горожан».

Пришёл автобус, подобрал двух нерадивых пассажиров и дал ходу. Дорога извивалась, как картофельная кожура. Она тянулась и заворачивалась в локон. А шофёр и не думал притормаживать на поворотах. Конечно, если годами ездишь по одной и той же дороге, знаешь каждый куст. Но всё же Яну хотелось видеть в водителе автобуса больше понимания к тем, кто ещё кустов по обочинам не запомнил. Его даже укачало. А Лука держался молодцом. Он то и дело поглядывал на часы и поджимал губы.

Сквозь арку мальчишки не бежали — неслись стрелой! Вон уже виднелось здание музея.

— Прибавь шагу! — крикнул Лука, запыхавшись. И Ян поднажал из последних сил.

Фух! Почти на месте. Ворвались на площадь, домчали до музея и… На центральной улице было неспокойно. Тут и там горожане собирались в группы и, размахивая руками, громко обсуждали что-то. Другие с полными сумками выбегали из одного магазина и торопились в другой. У Ратуши собралась целая толпа народу, из которой в воздух вылетали требования сию же секунду официально известить граждан города о надвигающемся буране. А по воздуху плыл приторно-сладкий и уже знакомый мальчикам аромат духов.

Такой реакции они не ожидали.

Увидев перепуганные лица родителей, а рядом с ними полицейскую машину и двух офицеров полиции, мальчишки вжали головы в плечи.

8. На площади у Ратуши

Следующие несколько секунд Яну казалось, что он оглох и ослеп одновременно. Он переводил взгляд с Луки на родителей, потом на полицейских и снова на родителей, но будто ничего не видел. Ноги точно в асфальт вросли. А когда офицер полиции обратился к нему по имени, Ян не шелохнулся. В уши будто ваты натолкали. В носу защипало, и стало тяжело дышать. Сквозь набежавшие слёзы всё теперь казалось размытым. Потом кто-то толкнул Яна в бок, и он очнулся.

— Эй, к тебе обращаются, — зашипел Лука и кивнул на полицейского.

А Ян глядел по сторонам и мечтал провалиться сквозь землю. Какой позор! Вся площадь уставилась на двух мальчишек, их бледных от ужаса родителей и полицейскую машину.

— Кажется, у мальчиков шок, — сказал офицер.

— Нет, мы в порядке, — подал голос Лука, схватил Яна за рукав куртки и на мягких ногах зашагал навстречу.

Полицейский поглядел на них, а потом сказал:

— Одна почтенная жительница утверждает, будто вы говорили что-то о снежном буране, который вот-вот обрушится на город. Это правда?

— Да, — кивнул Ян и рискнул на миг посмотреть в глаза офицеру. Голубые, как апрельское небо, они были добрыми, хоть сам офицер стоял с поджатыми губами.

Ян стрельнул взглядом в сторону родителей. Оба выглядели так, будто их сын получил позорное звание самого опасного преступника века. Мамины брови выгнулись дугой и забрались почти под чёлку. А папины — сползли до переносицы. Родители держались за руки, и казалось, вот-вот потеряют сознание. Мама и папа Луки выглядели не лучше.

— То есть вы признаёте, что пытались умышленно посеять панику среди горожан, чтобы нарушить работу железной дороги? — продолжил полицейский.

— Что?! Это неправда! — воскликнул Лука и поправил съехавшие на нос очки.

— Разве никто из вас ничего не говорил о секретной информации, полученной от диспетчера?

— Ну, допустим, это был я, — согласился Лука, не смея посмотреть в сторону родителей. — Но я просто сказал… Я же не имел в виду… Вы что, шуток не понимаете!

— А ну-ка! Не дерзи старшим! — пригрозил ему отец.

Лука замолчал и потупил взгляд.

— Мы не хотели сеять панику, — вступился за друга Ян. — План был другой. Мы просто хотели, чтобы люди посидели дома и не покупали билеты на поезд.

— Ого, вы подумайте, у них был план, — подал голос второй полицейский, записывая что-то в блокноте и даже не взглянув на мальчиков.

— Вопрос в другом, — подхватил полицейский с голубыми глазами. — Зачем вы обманули эту женщину?

Ян сглотнул. Из толпы вышла старушка в красной шляпке-котелке.

— Нам нужно было, чтобы как можно больше людей узнали о надвигающемся буране, — сказал Ян.

— А она — самая известная сплетница в городе, — подхватил Лука.

Старушка выпучила глаза, которые снова забегали от Луки к Яну, и оскорблённо вскинула брови.

— Кто сплетница! Я?! — она раскрыла рот от возмущения, хватая воздух, как рыба, выброшенная на сушу.

— Да бросьте, все знают, что вы любую новость за полчаса по городу разнесёте! — выкрикнул кто-то из толпы.

— Да, да! От ваших ушей ничего не скроется, — поддержал его другой.

Толпа горожан зашумела, и полицейским пришлось теперь защищать от них старушку в красных башмачках.

— Зачем вообще понадобилось распускать слухи о буране?! — воскликнула женщина в толпе. — Почему вы хотели задержать паровоз в депо?

— Надоели туристы, — безразлично заявил вдруг Лука, спасая Яна от ответа.

— Да как ты смеешь! — снова рассердился его отец.

— А что? В стране полно курортных городов. Пусть едут к морю или вон…

— А ну-ка! — от возмущения у отца Луки даже слова закончились.

— Лука не виноват, — сказал Ян.

— Теперь, значит, он Лука, а не Марк? — послышался родной голос. Ян посмотрел на папу и ощутил, как сердце его провалилось в живот.

— Пап, я не знал, как его зовут. Он просто предложил помощь.

— Что здесь вообще происходит? — спросил кто-то из родителей.

— Давайте-ка, ребятки, с самого начала. Только честно, — велел полицейский.

Тут на площади появился человек. Старый, с седой бородой и в тяжёлых ботинках, он ворвался в самую гущу событий. Ян обернулся и узнал в нём машиниста. Он подмигнул мальчишкам и сказал:

— Дело ясное. Ребятки хотели помочь. Этот мальчуган, — старик ласково коснулся ладонью Яновой макушки, — Паровозу помогал. А этот вот пострел, — машинист легко потянул Луку за ухо, — мой внук и помогал мне.

Мальчишки переглянулись.

— Думал, поди, состав встанет, — продолжал машинист. — И никто больше не будет в вагонах ни шуметь, ни мусорить. Так я говорю?

Ян кивнул.

— Эх, дружище, — вздохнул машинист, совсем как Паровоз. — Ну, допустим, постоит он день-два. И всё начнётся сначала, — машинист хохотнул в усы. — Тут с другой стороны подойти нужно, понимаешь?

Да уж, легко сказать. Советы-то давать все мастера. А вот на деле…

— А ты, бесёнок, решил, раз поезд встанет, дед на пенсию выйдет? Сядет в кресле, наденет тапочки и будет телевизор смотреть?

— Да, — огрызнулся Лука, — у других же детей именно такие деды. А мой с утра до ночи то на гору, то с горы! Мне тебя чтоб хоть издали повидать, приходится на станции торчать или тащиться на эту Вершину. А врач тысячу раз говорил, что тебе нужен отдых!

Машинист вздохнул и приобнял обоих мальчиков.

— Хорошие вы парни! Только больше не хулиганьте, слышите?

— И что, вот так их отпустим? — возмутился второй полицейский, который за всё время так и не отошёл от служебного автомобиля.

— А что ты предлагаешь, за решётку посадить их, что ль? — рассмеялся машинист.

— Деда все в городе знают, — прошептал Лука. — И очень любят.

Полицейские ограничились «строжайшим предупреждением». Так сказал второй, сердитый. А первый, с глазами апрельского неба, потрепал Яна по волосам и сказал:

— Думаю, вам нужно извиниться перед кое-кем ещё.

Ян кивнул и огляделся в поисках старушки в красном котелке. Но её уже и след простыл. Наверное, побежала дальше разносить новую сплетню о том, как двух мальчишек чуть не арестовали прямо на площади у Ратуши.

Теперь надо было идти к родителям. Ох и получит же он сейчас, наверное, от них! Но мама подошла первой и обняла Яна так крепко, что он едва мог дышать.

— Посмотри на меня, — попросила мама тихо. — Не бойся, я не сержусь. Мы с папой просто ничего не поняли и ужасно испугались. Посмотри мне в глаза. Всё хорошо.

Ян с трудом поднял на маму взгляд. Он всё повторял «прости меня» куда-то в мамину подмышку. А потом ощутил на себе взгляд папы. Тот умел смотреть так, что спиной можно было почувствовать. Ян развернулся к нему. Казалось, папа был напуган сильнее остальных.

— Ты нас обманул, — сказала папа ледяным тоном. — Ты никогда нам не врал. Мы плохо воспитали тебя?

Ян изо всех сил сжал губы, чтобы не разреветься. Так стыдно ему не было никогда. Теперь была очередь папиной подмышки выслушивать извинения.

Когда все наобнимались и наплакались, отец Луки таки попытался влепить ему подзатыльник, но тот умело увернулся.

— А ну-ка!.. — раздалось ему вслед.

А потом машинист сказал:

— Может, поедим вафель, пока у меня перерыв?

Конечно, повод для похода в кафе был так себе. Папа Яна так и сказал:

— Вас следовало бы наказать за то, что вы «а» — обманули нас вчера в ресторане и сегодня с музеем, «б» — уехали без спроса из города, «в»…

— Обманули доверчивую старушку и подставили деда! — ввернул папа Луки.

— Да! Это тоже никуда не годится. Дальше, «г»…

— Дорогой, — вмешалась мама Яна, — я думаю, что они и сами знают, за что их надо бы наказать. Но ведь это хорошие дети. Просто как-то так вышло, что мы неправильно научили их принимать решения. Вот они и делали, как умеют.

Все посмотрели на Яна и Луку. Они стояли с поникшими головами, ожидая своей участи.

— Эх, меня б в детстве за такое отлупили по первое число, — признался папа Луки. И взрослые понимающе закивали. — А им вафель! Пошли, закажем этим разбойникам вчерашних и с горчицей.

И все пошли есть вафли. Ян шагал рядом со своим новым другом и думал: «Иногда так бывает. Взрослые вроде бы сердятся, но как-то неумело. Хотят быть строгими, а получаются забавными. И всем смешно. Они почему-то думают, что раз они взрослые, то хоть иногда должны сердиться. Даже если на самом деле не хотят. А это вообще не так! И никто им не скажет, что если взрослый часто сердится, то ребёнок тоже вырастает сердитым. А если он часто смеётся, то из ребёнка вырастет человек, который будет уметь смеяться. Может быть, даже громче и счастливее других. А может, он будет заражать своим смехом тех, кто вырос сердитыми. И в мире с каждым днём будет всё меньше людей, которых смеяться не научили».

— Ян! Уснул, что ли? Держи, — сказал папа и протянул бумажную тарелку с вафлей в форме четырёхлистного цветка. Он был присыпан сахарной пудрой, а с краю по тарелке растекалось яблочное пюре.

Мальчики присели на бордюр. Перепачканные пудрой, они поглядывали друг на друга и улыбались. И хоть Лука иногда получал подзатыльники, вафлями его тоже кормили. Он сказал, что перепробовал уже все сорта. И с шоколадной пастой, и с нарезанными на кубики фруктами, и с корицей… А осенью можно купить такой вафельный цветок даже со сливовым вареньем или со сладким пюре из каштанов и тыквы.

— Приезжай осенью, — сказал Лука. — Надеюсь, дед тогда уже выйдет на пенсию и будет дома. Он столько историй знает!..

— Почему ты так хочешь, чтобы он сидел дома? Разве не лучше, когда пожилые люди активные, как твой дедушка? — спросил Ян и откусил вафлю.

— Он всю жизнь работает на железной дороге. И как ему не надоели эти рельсы! Я хочу, чтобы он иногда бывал дома. Мы бы гуляли вместе или вот хоть бы вафли ели.

— Но вот же он, ест с тобой вафли. Смотри!

— Это не то. Ты не понимаешь.

Ян посмотрел на машиниста. У него вся борода была обсыпана сахарной пудрой. Он ел вафли и причмокивал.

— Знаешь, у меня нет дедушек, — сказал Ян. — Я только родился, а они вскоре… Ну, в общем, у меня только бабушки остались. Поэтому мне, конечно, тебя не понять. Но если бы у меня был хоть один дед, я был бы самым счастливым на свете!

Он доел вафлю, промокнул рот салфеткой и добавил:

— А ещё мои родители говорят, что нельзя запретить человеку заниматься любимым делом. Это как запретить птице летать. Твой дед любит свою работу. А ты любишь деда. Неужели же нельзя что-нибудь придумать, чтобы всем было радостно?

Поздно вечером, когда Паровоз вернулся из последней поездки и уже собирался заснуть до утра, Ян потихоньку проник в депо. Он крался на цыпочках и старался не попасть на глаза машинисту.

— Я тебя слышу, старина-а, — сказал Паровоз. — И чую.

Ян на миг замер и подошёл ближе к поезду.

— Что ты делаешь здесь оди-ин в такой поздний час?

— Я хотел сказать тебе… Лучше, если ты узнаешь это от меня. Короче говоря, я сегодня обманул весь город, — признался Ян.

— М-да? — Паровоз задумчиво поднял глаза-фары к небу. — И как тебе это удалось?

— Да вообще-то не мне, а Луке, внуку машиниста. Мы просто хотели помочь тебе…

— Сочинив историю про буран?

— Ну да, — Ян посмотрел Паровозу прямо в глаза. — Тебе бы тогда не пришлось лазать в горы, ты смог бы отдохнуть!

— Отдохнуть? — паровоз задумался. — Но ведь я создан для того, чтобы тянуть соста-а-ав, в этих поездках смысл моего существования, моё призва-а-ание! Иначе заче-е-ем я нужен?

Мальчик смотрел на поезд, а тот — на него. Ян вдруг подумал о людях, что строили железную дорогу, о туристах, которые приезжают со всей страны, чтобы прокатиться на старом поезде. И о Паровозе, который, несмотря ни на что, всё же так любит свою работу. А вечерами, спускаясь с Вершины, играет на гигантской флейте и баюкает холмы, поросшие лесом.

Будто прочитав его мысли, старый Паровоз блеснул фарами и вздохнул.

— Эх вы, спаса-а-атели! Иди спать, старина. Завтра будет новый день и новый путь на Вершину.

Ян пожелал поезду доброй ночи и пошёл домой, повесив голову. Да. Завтра будет новый день… Последний его день в этом городе.

Дома Ян первым делом записал в блокноте:

«Мы с Лукой хотели всех обмануть, но ничего не вышло. Ну и хорошо, а то было бы совсем стыдно. Заставили родителей волноваться. Но вафли были вкусными. А завтра мы уезжаем. И я так ничего и не придумал. От меня совершенно никакого толку!»

А потом его позвал папа. Он протянул сыну телефон, развёл руками и вышел из комнаты.

9. Человек на пристани и попытка № 3

Бабушек у Яна было две. Первая — бабушка Рая, мамина мама. Очень суетливая, шумная и чересчур заботливая, она бы Яна с ложки кормила, если бы не вторая бабушка. Папина мама, бабушка Ада, жила в соседнем доме и, хоть тоже была заботливой, настоятельно требовала, чтобы Ян всё делал только сам.

Поднося телефон к уху, Ян гадал, которая из них ждёт его сейчас на том конце. А ещё обе бабушки любили звонить вместе. Придёт одна к другой в гости, и решат старушки, что пора бы позвонить деткам, узнать, как они поживают. Вот и теперь бабушка Рая перебивала бабушку Аду, а бабушка Ада требовала, чтобы бабушка Рая угомонилась и не кричала ей в ухо. Наконец старушки распределили силы и стали по очереди засыпать Яна вопросами. Он отвечал честно. Папа ведь всё равно уже обо всём рассказал. Да и не любил Ян обманывать. Поэтому признался и в побеге, и во лжи. Но бабушки, оказывается, позвонили не для того, чтобы ругать единственного внука. Вместо этого они стали увлечённо расспрашивать Яна о его друге:

— Этот твой приятель, он не может сделать что-то сам, да?

— Да, он не может достучаться до пассажиров, — объяснил Ян. — И бросать свою работу ни за что не хочет!

— Ещё бы, — усмехнулась бабушка Ада. — Пойди-ка заставь меня перестать варить варенье! Да нипочём не удастся!

— Однажды я встретила очень грустного человека, — сказала бабушка Рая. — Он стоял на пристани и глядел вдаль. И так каждый день, целую неделю. Сначала мне показалось, что он просто любит смотреть на море. Но однажды я заметила такую тоску в его глазах, что…

— Что? — встрепенулся Ян.

— Что просто не смогла пройти мимо. А потом он рассказал мне, что он — бывший моряк. Но по здоровью его списали, и теперь ему приходилось жить обычной жизнью. Он сказал это так, будто был рыбой и задыхался на суше без моря. Понимаешь?

Ян понимал. Без призвания жизнь не имеет смысла. Об этом и Паровоз ему сказал.

— И что ты сделала?

— Ну, мы познакомились и стали прогуливаться по набережной вместе. Он много говорил о морском деле, а я с удовольствием слушала его истории. А потом рассказала ему о школе в нашем городке. Туда требовался учитель географии. И хоть мой приятель учителем не был, географию знал блестяще, как большинство моряков. Ученики его обожали!

— Постой-ка, мой дедушка же был учителем географии! — сообразил Ян.

— Да-да, — засмеялась бабушка Рая. — Иногда мы теряем любимое дело, но не связь с ним. Понимаешь, к чему я веду? Если твой друг может сохранить своё увлечение, дай ему сделать это. А если нет, помоги не потерять с ним связь.

— Если уж человек что-то любит, ни за что с этим не расстанется! — добавила бабушка Ада.

— Это я уже понял. Я просто хотел сделать так, чтобы ему было легче работать. Как бы это объяснить… Вроде как улучшить условия труда.

— И что, только ты можешь это сделать? — спросили бабушки.

— Выходит, что да. Другие просто не воспринимают его всерьёз. Не слышат.

Бабушки задумались. Наверное, переглядываются и пожимают плечами, совсем как мама с папой.

— Ну что ж, тогда давай думать, как именно ТЫ можешь ему помочь. В чём твоя сила? Что ты умеешь делать лучше всего?

Умели же бабушки задавать каверзные вопросы. Откуда Ян мог знать, в чём была его сила! Он неплохо играл в шахматы и любил рисовать. Но как это могло помочь Паровозу?

До позднего вечера он не находил себе места.

— Пора спать, сынок, — сказал папа, показавшись в дверном проёме.

— Я не могу, мне нужно…

— Да-да, я знаю. Ты почему-то решил, что должен кому-то помочь. Но я тебе вот что скажу, — папа вошёл в комнату и присел на кровать рядом с Яном. — Иногда лучшая помощь — это не мешать кому-то тихо делать своё дело. У тебя доброе сердце, и это замечательно! Но ты не обязан отвечать за чьи-то несчастья, понимаешь? В конце концов, каждый из нас сам делает выбор. Твой друг решил…

— Стать Паровозом? Ничего он не решал, — буркнул Ян и отвернулся.

— Иногда мы всего лишь те, кем родились. И ничего с этим не поделать, — сказал папа, похлопал Яна по плечу и вышел из комнаты.

Ян задумался. Паровоз ни разу не сказал, что ему нужна была помощь. Выходит, Ян сам себе придумал важную миссию спасателя. А что, если папа был прав? Что, если Ян оказался в этом городке просто для того, чтобы провести три чудесных дня с родителями, погулять по мощёным улочкам, подписать открытки бабушкам и Майке…

Майка! Вот кто мог бы придумать способ помогать Паровозу даже тогда, когда Ян вернётся домой. Эх, её бы голову да Яну! Сейчас она, наверное,

уже видела десятый сон. Ему, кстати, тоже пора было спать. Ян оторвал ноги от пола и одним движением прилёг на кровать прямо поверх одеяла. Он не погасил свет и в пижаму тоже не переоделся. Лежал себе тихонько, будто впервые учился засыпать. Он всё думал над словами папы. Ян же всего лишь ребёнок, что он может! А потом, будто наушники в уши сунули, зазвучал голос бабушки Раи. И её рассказ о пристани. Сколько там, наверное, было народу! Но только бабушка заметила грустного человека и не прошла мимо.

Ян закрыл глаза, но пролежал так недолго. Не зная, как поступить, он обычно смотрел в окно. Так ему казалось, что выход найти проще, чем если смотреть в стену. Вот и сейчас он бросил взгляд на окно, в которое лунной ночью было бы видно Вершину, а теперь кто-то закрасил весь пейзаж тёмно-синей гуашью. Старый город и его жители, замок цвета вафли, краеведческий музей, железнодорожное депо, Паровоз и Яновы родители за стенкой — все спали крепким сном. И только девятилетний мальчик в свитере и джинсах глядел в синюю ночь, ему слышались бархатные звуки огромной флейты и далёкий мерный стук колёс.

Осторожно поднимаясь по ступенькам, Ян держал в руках папин исторический журнал. Только бы не уронить его с лестницы! Только бы не помять! В тот же миг журнал упал Яну под ноги и раскрылся на странице с чёрно-белой фотографией. Ян наклонился и увидел переполненную платформу, всюду цветы и огромный плакат с надписью «Открытие железной дороги». И Паровоз, он был намного моложе, блестел фарами и улыбался. Ян был уверен, что уже видел это фото прежде.

Он проснулся так внезапно, как если бы ехал на велосипеде и подпрыгнул на кочке. Некоторое время Ян лежал на кровати, вспоминал свой сон и чувствовал, как сердце колотилось где-то в горле. Он всё понял. Он знал, что нужно было делать! Такое даже Майка бы не придумала.

Одним махом он вскочил на ноги, в два прыжка оказался у письменного стола, на котором лежали альбом и фломастеры, что родители купили ему вчера. Ян аккуратно разделил альбом на листочки, уложил их друг за другом на полу и принялся рисовать.

— Что ты делаешь? — в двери показались родители. Сонные, в пижамах, они переглянулись, вошли в комнату и тоже сели на пол.

— Надо напомнить людям, как долго Паровоз служит им, — сказал Ян, не отвлекаясь от рисования.

— Верой и правдой, — добавил папа и вздохнул. — Дай-ка и мне пару фломастеров. Помогу тебе с платформой.

— А я сварю нам какао и вернусь, — сказала мама и вышла из комнаты, шурша по полу тапочками.

Спустя несколько часов длиннющий плакат в поддержку Паровоза был готов. Папа дремал на полу, подоткнув под голову Янов рюкзак. Мама обводила последние буквы красным. А Ян, перемазанный всеми цветами, с облегчением разглядывал полотно из склеенных альбомных листов. Он нарисовал платформу и молодого Паровоза, людей, что построили железную дорогу, Вершину, снег и туман, через которые бывает так трудно пробираться.

— Здорово ты придумал, будто Паровоз сам говорит с пассажирами, — сказала мама и надела на фломастер колпачок. — Готово!

Эта идея особенно нравилась Яну. Ведь именно этого и не мог сделать Паровоз — сказать так, чтобы все его услышали. И Ян записал его речь на бумаге.

Спать оставалось от силы пару часов. Но оно того стоило! Наутро папа позвонил родителям Луки и попросил их прийти на станцию. Мама аккуратно свернула бумажное полотно в рулон, убрала его в пакет и потихоньку вышла на улицу, как если бы они втайне выносили из Лувра портрет Моны Лизы. Такое, кстати, уже случалось. Ян узнал это из папиных журналов. Но они ничего не выносили втайне. Это был результат их многочасового труда, и его не стыдно было нести по улице и показывать горожанам и туристам.

Лука с родителями пришли на станцию первыми. Завидев Яна, Лука припустил навстречу. На синей куртке блеснули медные пуговки, а в стёклышках очков отразился новый день.

— Что случилось? Что вы придумали?

— Нам нужны «а» — помощь и «б» — стремянка, — сказал папа Яна.

— И разрешение станционного смотрителя, — напомнила мама.

— Станционный смотритель — наш сосед, — сказал Лука. — Я всё устрою!

Так и вышло. И когда спустя полчаса туристы вошли в здание станции, чтобы купить билет до Вершины, их встретил красочный плакат, растянувшийся через весь зал от одной стены к другой. Люди не спешили проходить к кассе, они внимательно изучали рисунки и читали надписи. Они были сделаны так, будто сам Паровоз рассказывал свою историю.

Кто-то подхватил новость о говорящем плакате да и понёс её в город, постукивая каблучками. И вскоре даже особенно занятые горожане побросали дела, чтобы лично поглядеть на самое длинное объявление в их городе. Для пущего эффекта Ян и Лука по очереди зачитывали речь Паровоза, обращённую к пассажирам:

«Друзья, давайте знакомиться! Я — Паровоз. Я родился и вырос в Густой лесистой местности, долгие годы служу на благо своему городу и всегда готов доставить вас в целости и сохранности на Вершину и обратно».

Родители мальчиков стояли поодаль и улыбались.

— Вы не слышите моих слов, только паровозный гудок, — прочитал Ян. — А между тем я постоянно пытаюсь заговорить с каждым из вас.

— Всё, о чём прошу, будьте осторожны во время путешествия, не сорите в вагонах и не высовывайтесь в окна во время поездки. Ведь это может мешать моей работе и быть опасным для вас! — чётко произнёс Лука.

Последний лист мальчишки озвучили вместе:

«Давайте будем внимательными друг к другу и миру вокруг нас!»

Когда они закончили, толпа собравшихся горожан и туристов зааплодировала.

— Хорошо придумали, — сказал появившийся из ниоткуда станционный смотритель. — Ведь этот плакат увидят все, иначе на станцию не попасть!

Мама Яна сделала, наверное, с сотню фотографий.

— Покажем бабушкам, — сказала она.

А потом раздались знакомые звуки, густые, как взбитые сливки, и бархатистые, как диванные подушечки в гостиной бабушки Ады. Выпуская белый пар, приближался к станции Паровоз. Толпа встречала его как героя! Седобородый машинист выглядывал в окошко и приветственно махал рукой Яну и Луке.

— Я тут подумал, — начал Лука, — ты прав, нельзя просить деда бросить любимое дело только лишь потому, что я так хочу.

— К чему ты ведёшь? — Ян сдвинул брови.

— Я вдруг понял, что своё желание быть с ним рядом я могу исполнить и сам. Если дед не может без работы, а я не могу без деда…

— По ваго-онам! — пропели колонки на станционных фонарях. — Добро пожаловать, и позвольте представить вам нашего нового проводника.

Только теперь Ян заметил, что на Луке была форменная тёмно-синяя куртка с начищенными медными пуговицами.

— Всего три дня в неделю разрешили. Думают, я ещё маленький, — Лука закатил глаза.

— А как ты будешь успевать, когда закончатся каникулы?

— Ну, после школы буду прибегать, уроки можно делать по пути на Вершину. И тебе спокойнее будет, что здесь всё под присмотром остаётся. Уж я-то им не позволю крошить яблоками!

И мальчишки расхохотались.

— Я буду приезжать на каникулах, — сказа Ян, глядя в круглые фары.

— Я буду жда-а-ать, — ответил Паровоз и просиял. — Знаешь, старина, имей я руки, обнял бы тебя кре-е-епко!

Ян хотел бы сказать, что он в общем не сделал ничего особенного, любой бы так смог, наверное… А Паровоз снова прочитал его мысли.

— Не за то, что ты сделал или не сделал. А просто потому-у, что очень ты мне стал до-о-орог, — заулыбался Паровоз.

Мальчик приложил тёплую руку к железному боку, кивнул и крепко поджал губы. Состав зашипел и тронулся. Он медленно пошёл вдоль платформы, оставляя позади станцию, смотрителя, горожан, высокого мужчину, женщину с фотоаппаратом и мальчика девяти лет.

Тот видел седой затылок машиниста, руку в синем рукаве форменной куртки — Лука махал другу на прощанье, а в окна вагонов — счастливых пассажиров.

— Нам пора собираться в дорогу, — сказала мама и положила руку Яну на плечо. — Идём, родной.

— Иначе «а» — поедем по пробкам и «б» — вернёмся затемно, — добавил папа.

— Ладно. Ещё минутку…

Вдалеке над красными крышами стояло тонкое марево. Дорога поднималась в гору. Вдруг из трубы вылетели густые клубы белоснежного пара, и гулкое «У-у-ууу!» прокатилось по лесу, оседая у Яна в самом сердце.

Он достал из внутреннего кармана куртки открытку, и родители краем глаза прочитали:

«Дорогая Майка, ты не поверишь, что со мной произошло…»

— Идём, — сказал наконец Ян, улыбаясь до ушей. — Только на почту заглянем.

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Сергей Боровиков
Запятая — 36
(В русском жанре —96)

”

Недавно услышал от сына про возможность искусственного интеллекта генерировать текст. Первая же проба ошарашила. Я дал задание в несколько слов о «Похождениях Невзорова» А. Толстого: как мелкий чиновник после революции делается успешным мошенником. ИИ мгновенно, хочется сказать, не раздумывая, представил, точнее, начал как бы *сочинять*…

«Мелкий и робкий петроградский служащий, Игнатий Петрович Сидоров, после семнадцатого года обнаружил в себе нечто, о чем прежде и не подозревал. Революция, словно бурный ветер, вымела привычные устои и порядки, обнажив хаос и беззаконие, но в этом хаосе Игнатий Петрович внезапно почувствовал себя… свободно.

До революции он был тенью, человеком-мебелью, растворяющимся в канцелярской пыли и страхе перед начальством. Теперь же, когда начальства не стало, а на его месте возникла пестрая смесь из комиссаров и самозваных вожаков, Игнатий Петрович, к удивлению своему, начал проявлять невиданную ранее смекалку». И т.д. и т.д.

Стало не по себе, едва представилось, как мимоходно исчезают сочинители прозы с их сочинениями, что уж говорить о диссертантах и их диссертациях и т.д. и т.п.

Первым делом я поделился открытием с первым и главным моим читателем, дорогим Лёшей Голицыным. Он сразу ответил: «Про ИИ не обольщайтесь: любая рекламная кампания склонна завершаться. Но эта да, особо неприятна, т.к. мы больше никогда не сможем гарантировать отсутствие ИИ».

Это было двадцать восьмого апреля. А тридцатого Лёши не стало.

Вечная ему память.

”

Постоянно читая Горького, даже одолев тягомотно построенный роман «Жизнь Клима Самгина», я неплохо знаю и написанное о нём, и связанное с ним. Поэтому без колебаний скажу, что ни о чьей-то смерти он не отзывался с такой горечью, как о самоубийстве Сергея Есенина. Читая его письма начала 1926 года, представляется, что он просто не в состоянии сойти с этой темы. Есенин что, был его любимым поэтом? Однако, судя по обширным спискам рекомендаций для чтения, какие он любил раздавать молодым литераторам, он редко кого-то предпочитал по личному вкусу. Он часто кого-то и навсегда невзлюбливал, как Марину Цветаеву. Негативные оценки её стихов

Сергей Боровиков (1947) — критик, эссеист. Автор множества книг. С 1985 по 2000 год — главный редактор журнала «Волга». Цикл «В русском жанре» публикует с 1995 года в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Урал». Живет в Саратове.

были вызваны чрезмерным, на его взгляд, словотворчеством. Вместе с тем высоко ценил Пастернака, причём прозу его ставил выше стихов. Но, повторяю, не могу разглядеть в его мнениях и оценках личные литературные пристрастия, просто в силу постоянного своего учительства он молодым словно преподносит хрестоматию.

В своём очерке «Сергей Есенин» Горький изложил общее соображение о причинах трагической кончины да и всей судьбы поэта, что так глумливо сформулировал Валентин Катаев:

Был я буйный, веселый парень,
Золотая была голова,
А теперь пропадаю, барин,
Потому — засосала Москва.

Эх, сглодал меня, парня, город,
Не увижу родного месяца,
Распахну я пошире ворот,
Чтоб способнее было повеситься![1]

Вот первое из писем, где он вспоминает о встречах с поэтом, которые спустя год он опишет в очерке «Сергей Есенин».

И.А. ГРУЗДЕВУ 9 января 1926, Неаполь

«Очень подавлен смертью Есенина, хотя давно предчувствовал и, пожалуй, даже был уверен, что мальчик этот кончит плохо. Предчувствие возникло после первой же встречи с ним в 14 году, когда он, в сопровождении хитроумнейшего Клюева, показывался литературному Питеру, как оживленный рисуночек Елизаветы Меркурьевны Бем: светленькие кудри, шелковая голубая рубашечка, лаковые сапожки и растерянная, счастливая улыбка именинника на лице херувима. Слушал я, как читал он хорошие, простенькие и наивные стихи свои, и, помню, задумался: где же и как будет жить этот херувим. Тогда уже начались подлые и жуткие дни европейской бойни. А второй раз видел я его в Берлине у А.Н. Толстого, была с ним старая, пьяная Айседора Дункан, он великолепно прочитал монолог Хлопуши, а потом ударил Дункан ногою в ее интернациональный зад и сказал ей: "Стерва". Я, человек сентиментальный, я бесстыдно заплакал при виде столь убийственного соединения подлинной русской поэзии с препрославленной европейской пошлостью. И вновь явилась та же угрюмая мысль: где и как жить ему, Есенину? Вы сообразите безумнейшую кривизну пути от Клюева к Дункан! Был в тот вечер Есенин судорожно, истерически пьян, но на ногах держался крепко, только глаза у него как-то странно дымились и все время его бросало в углы, где потемней. Да и пьян-то он был, кажется, не от вина, а от неизбывной тоски человека, который пришел в мир наш, сильно опоздав, или — преждевременно. И тогда же мне подумалось: какой удивительно ценный материал для повести о гибельной жизни русского поэта! Именно так: сам Сергей Есенин, со всем его хулиганством, превосходное художественное произведение, шутя и цинически созданное окаянной русской действительностью».

Горький собирает отзывы о гибели поэта комментирует их.

«Отвратительно написал о нем Ходасевич. Лучше всех — Троцкий».

Да, очень долго игнорировался некролог сталинского врага, да и само участие Льва Давидовича, единственного из большевистской верхушки, в похоронах поэта. Нашедшего, прав Горький, очень точные слова.

---

[1] То, что стишок появился в комедии «Квадратура круга» спустя два года после гибели Есенина, лишь подтвердило известное отсутствие у Валентина Петровича какой бы то ни было совестливости, даже человеческой эмпатии.

«Раскаяние и бунт, отчаяние и разгул -— вот что вычитывают сейчас в Есенине, уже не придавая особенного значения тому, в чем именно он раскаивается и против чего бунтует. <…>Это страдание и этот мятеж сейчас особенно ясно вычитываются в Есенине; и то и другое дано на фоне такой же страдающей, такой же мятежной, так же утратившей свет России. Есенинский надрыв, с его взлетами и падениями, оказался сродни всей России. За это Есенина любили и любят, за это должно его любить. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв её рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом»[2].

”

В 2015 году журнал «Знамя» номер семь опубликовал мой очерк «Григорий Фёдорович». Вот два о нём отзыва.

Писатель Каледин: *«Сереня, а ведь мы припухли, прочитав рассказ про твоего батю. И в полном соответствии с Вольтером — о мертвых только правду. Вот правда и получилась, панорамная, широкоугольная, короче, 3D»*.

Сын: «Ты деда не любил».

Отец прожил 87 лет, почти не болея, даже не простужаясь. При этом любил поговорить о лечении, звучно проговаривая медицинские термины. Когда в очередной раз пригласили соседку этажом ниже, доктора Фаину Клементьевну Гуткину, для преодоления запора, он с удовольствием повторял: «Нет, не запором страдаю, а хроническим завалом».

В конце 50-х у него было воспаление тройничного нерва. Помню, ночью, проснувшись из-за его беготни по комнате, на утешения мамы он воскликнул: «Скорей бы конец».

Вообще воспаление или блокада тройничного нерва случается у многих, в том числе и у меня. Различие с отцом в том, что у него это было со средней ветвью нерва на верхней губе, а у меня на виске. Боль огненная, но не длящаяся. Судя по откликам в интернете, она у всех одинакова.

Отец тогда даже отрастил свои негустые усы и стал лечиться без результата, пока по чьему-то совету не отправился в Москву, к профессору Штернбергу, лечившему блокаду алкоголизацией нерва. И правда, приступы прекратились.

А совсем уже старый, обрёк себя на воткнутую в мочевой пузырь трубку. Они с мамой были в писательском доме творчества Дубулты, когда его так напугали старческие сложности с, простите, ссаньём, что он отправился в Ригу, где в больнице ему рекомендовали уже дома, в Саратове, сделать операцию, он отказался ждать в страхе, что якобы может случиться отравление мочой, и ему вставили трубку.

Я встречал его на аэродроме, увидел среди заснеженного лётного поля, как отец спускался по самолётному трапу со страдальческим лицом, а мама была привычно горестна. Началась новая жизнь, и слава богу, что его вдруг взялись издавать (о чём ниже), так что хватало на лекарства, лечение, на постоянную медсестру для промывки. Но гулять с банкой на боку он не мог.

Так вот, об изданиях. Тогда, в середине 80-х, в угаре перестройки, издатели растерялись. Долгие годы приучили к такому раскладу, когда значительная часть книг художественной редакции должна была быть местного производства. Несколько позиций отводилось под русскую классику. Сколько-то под новинки, сколько-то по разрешению Комиздата под переиздания. Им — как подарок для поддержания штанов — заведомо раскупаемое зарубежное

---

[2] Правда, 17 января 1926. В телесериале «Есенин» (2005, режиссёр И .Зайцев, сценаристы В. Безруков, В. Валуцкий) ненависть Бухарина к Есенину удивительным образом переадресована Троцкому.

чтиво. Так вот, для издания земляка тексты Григория Боровикова подходили как нельзя лучше. Главный саратовский писатель Коновалов уже был издан аж собранием сочинений, молодые, которых в городе всего ничего, сочиняют непроверенное и отвлечённое, а здесь заслуженное имя, в его романах есть и о революции, и о стройках, и про любовь… Словом, отцовская сберкнижка стала пополняться. Кто же знал, что предназначенные маме деньги вмиг исчезнут в дефолте девяносто восьмого года.

Да, а что выписывали у нас на Яблочкова, 9, квартира один?

Сейчас говорят, что членов КПСС обязывали выписывать «Правду», но ни отец, ни потом тесть этого не делали.

Из газет выписывали только «Известия». Журналы «Работница» и «Здоровье». «Техника — молодёжи» -— Стасику, «Мурзилка», потом «Пионер» — мне.

”

Я никогда не обсуждал с отцом какие бы то ни было книги. Больше того, декларируя любовь свою к Тургеневу и Толстому, он не сказал ничего конкретного хоть о каком-то их сочинении. Он особо, подчёркнуто восхищался Буниным, и единственным дореволюционным изданием в доме было марксовское ПСС, переплетённое в два тома, но ни одного слова о каком-то его тексте я не услышал и не пытался завязать обсуждение, подобное тому, какое было изо дня в день в школе с другом Илюшей.

О стихах никогда ничего не сказал. И я не спросил.

Мы никогда не говорили и о живописи. Альбомов цветных репродукций в доме не было, да их тогда ещё у нас не выпускали, была лишь большая папка с пейзажами Ивана Шишкина, подаренная в 1955 году отцу на пятидесятилетие, да ещё альбом, куда отец наклеивал вырезанные из журнала картинки, из которых меня особо занимала брюлловская «Вирсавия».

Музыки в доме не звучало до тех, начала шестидесятых, пор, когда отец приобрёл магнитофон «Спалис». Считался портативным, а был тяжёлый — 15 кг.

Покупал его, конечно, брат, он же записал и первую кассету, долго бывшую в одиночестве, пока я не стал с грехом пополам брать с телевизора, когда там шёл фильм о временах НЭПа, запись с блатными мотивчиками. А на той первой кассете было то, что сформировало мои музыкальные пристрастия, прежде всего Вертинский. Ну и Морфесси, Лещенко и т.д. Когда бывали гости, отец велел включать «Девушка из Нагасаки. Исполняет артист Виноградов» и гордо всматривался в реакцию слушателей.

Тогда и такие громоздкие устройства были в редкость. Однажды на первом уже курсе я проговорился о его наличии, и меня компания убедила принести магнитофон на встречу Нового года у Светки Кузнецовой, жившей на окраине в частном доме у завода аккумуляторов, где её отец служил начальником охраны. Когда мой «Спалис» ночью замолчал, Вовка Бабаян, сволочь, царствие небесное, что-то в нём поковырял, и отец запретил прикасаться к этой вершине технического прогресса.

У отца не было музыкального слуха, как и у всего нашего семейства. Ни он, ни мама, ни брат не пытались петь. Но уже совсем старым он зачем-то купил гармошку и пытался на ней играть перед включенным в «Спалис» микрофоном. Жалость вызывало и зрелище, и записанные спотыкающиеся звуки.

К сожалению, в силу врождённой покладистости, я года полтора выдерживал напрасные упражнения на купленном пианино марки «Саратов» с приглашённой старушкой Надеждой Николаевной. Отец мечтал: «На вечеринке сядешь за инструмент, все потанцуют…» При виде пианино и слове *«вечеринка»* ему, вероятно, воображалось что-то гимназическое.

Я терпел. Я ещё не пил. Я рано женился.

”

«*И открытие картинной галереи в литературном музее на самом деле довольно гармонично вписывается в концепцию развития нашего учреждения, потому что Константин Александрович Федин очень хорошо рисовал».* (Директор музея Федина в Саратове Мария Григорьева)

Конечно, подобные сказки легко объяснить типологической зависимостью сотрудников мемориальных музеев от предмета их неизбежного поклонения. Но однажды я сравнил известную мне фединско-саратовскую бабью склонность к обожанию имярека, когда сравнил их с коллегами из аналогичного музея А.Н.Толстого в Самаре, каковые обходятся без слепого восторга[3]. Впрочем, и без аналогий можно обойтись цитатой из Т. Беловой: *«Поражает сила любви Федина к небольшому саду переделкинской дачи»*[4]. Автора давно уж нет, а дело и слово во славу земляка живы, и напрасно Нина Константиновна Федина со страхом ожидала закрытия музея. Куда там — он лишь расширяется: *«Директор, ученый секретарь, главный бухгалтер, заведующий отделом правовой и кадровой работы, заместитель директора по развитию музея, главный хранитель, заведующий экспозиционно-выставочным отделом, заведующий отделом по развитию, заведующий научно-просветительским отделом, заведующий отделом истории русской литературы XX века, заведующий отделом учета, заведующий отделом хранения».*

Читатель, если тебе довелось читать какое-либо сочинение писателя Федина, присмотрись к приведенному штатному расписанию одних лишь руководящих работников мемориального заведения с платой за вход для возможных посетителей, а при их дефиците — с приведенными по плану местного минкульта школьниками.

”

Во времена моего детства пугали «заворотом кишок». И пример приводили один, но страшный.

Жил в конце нашей улочки[5] мрачный бородатый непонятно кто, метший древний булыжник. И длинная борода, и длинная же шинель, и какая-то задумчивая ухмылка на жёлтом источенном лице — все пугало. Он умер, и взрослые с явным удовольствием говорили, что в результате заворота кишок, который, в свою очередь, случился из-за того, что непонятно кто купил утром свежий батон и целиком сожрал.

”

Не могу отделаться от строк: *«А ты? Входя в дома любые — И в серые, И в голубые, Всходя на лестницы крутые, В квартиры, светом залитые, Прислушиваясь к звону клавиш И на вопрос даря ответ, Скажи: Какой ты след оставишь? След, Чтобы вытерли паркет И посмотрели косо вслед, Или Незримый прочный след В чужой душе на много лет?»*

Затасканные цитированием нравоучительные стихи Леонида Мартынова (1945) почему-то особо жалят паркетом, я его даже вижу…

”

У женщин крестьянского происхождения пронзительные голоса. Именно они раздаются громче всех при любом намёке на конфликт. О причинах я догадался, живя в селе. Пронзительность воспиталась поколениями баб,

---

[3] См. Волга, 2011, №5/6.

[4] «Только одна жизнь. К 100-летию со дня рождения К.А.Федина», изд-во журнала «Волга», 1993.

[5] В один квартал улочка носила имя изобретателя Яблочкова, умершего в гостинице на углу, прежде Малая Казачья, как и соседняя Большая Казачья, названная из-за располагавшейся там казачьей сотни.

большую часть дня бывших на улице, где необходимо для двухсторонней связи иметь громкую глотку.

«Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая — и начинают перекрикиваться:

— Кого, мать, это хоронят?

А другая отвечает:

— И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли.

— Какого немца?

— А что блином-то вчера подавился.

— А хоронит-то его отец Флавиан?

— Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан.

— Ну, так дай бог ему здоровья!

И обе бабы повернулись и захлопнули калитки».

(Лесков. Железная воля.)

Именно так: проорать, узнать, сообщить, чтобы сразу захлопнуть калитку.

”

Мама рассказывала, как в 43-м поехала в Рязань, чтобы забрать из госпиталя неходячего из-за перебитой под Сталинградом ноги отца. И самым важным в этом неподробном рассказе был эпизод, когда соседи по купе, понюхав свои припасы, заметили, что блинчики, кажется, протухают. «И предложили нам…» Не сумею донести мамино выражение при словах «И мы не отказались».

”

У советских чиновников, с их предельной приверженностью к обкатанным словесным формам, был и свой язык, в котором гибко соединялась принадлежность к номенклатуре с тонкими оттенками понимания собственного в ней места.

Когда я сдуру попросил завотделом культуры обкома помочь купить мебель, она раздумчиво сказала: «Что ж, это можно. В порядке исключения». И поведала, что недавно помогла Ермаковой. Отечественный гарнитур. В порядке исключения.

Но мы желали импортный, а не как у Валентины Ермаковой, хоть та была народной артисткой, и в восьмидесятые годы, когда я сидел в обкоме на улице Советской, неподалеку на занятиях у Ермаковой мог сидеть юный Женя Миронов, благодаря которому Валентину Петровну и вспоминают.

Когда заметно выросли гонорары, мы через знакомых передали безо всяких гарантий две тысячи жившему в Каунасе бывшему саратовцу еврейского происхождения, и недели через две гостиный литовский гарнитур уже прибыл по ж.д. без обмана, а за кухонным жена съездила в Москву. Так что исключение в партийном порядке не понадобилось.

”

Уходит из культурного пространства понятие поколения.

Мне мало определения *«Одновременно живущие люди близкого возраста»*, я чувствую за этим словом исторический простор, словно бы понятие определяют лучшие, кто? правильно: представители. Но с этим словом словно бы влезаешь в советский учебник литературы: типичные представители чего? — класса. Нет, лучше на примерах.

Недавно я подумал над станицами прожитого, что рад тому, что не был в компании такой, как описана в культовом для нас романе юного Анатолия Гладилина «История одной компании» (1956). Шла речь о т.н. младших шестидесятниках. Кажется, это дополняющее первоначальное понятие Ст. Рассадина ввёл Женя Попов, причислив себя к таковым. С ним же, между

прочим, я спорил о том, что родоначальник исповедальной прозы вовсе не Аксёнов, а именно Гладилин, потом ещё невозвращенец Анатолий Кузнецов со своим «Продолжением легенды» (1957), а уж потом Аксёнов с «Коллегами» (1959). Факт лишь то, что пришли они тесно, потому, вероятно, потом и расплевались.

Шестидесятничество в моём восприятии всё же предполагало процент диссидентства. И его в старших было больше. Старшие пережили войну, а младшие нет. Старшие были беззаботнее и доверчивее нас.

Между прочим, от них к нам перешли эти Вовки. Таньки, Светки и т.д., чего у родителей с их полными именами не было.

”’

«Какого-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками…» («Окаянные дни»)

Бунин знал, что мужицкие руки вне их крестьянской загрузки при рукопожатии мокры. Странно, но типически мокры ладони бывают ещё у музыкальных барышень.

Однажды мне пришлось взять в обмен книги у Володи Васильева. У него не было собрания Алексея Толстого, а у меня Хемингуэя. Десять на четыре.

Васильев давно, по словам ядовитого имлийца же Семанова, «умер от злобы», а изъеденные его потными касаниями четыре черно-ледериновых тома у меня сохранились.

”’

Отчего любимым у т.н. революционных демократов и далее вплоть до Горького было словечко «анафемски»?

”’

Давным-давно директором лучшего саратовского ресторана «Волга» (до 1956 года «Астория»), располагавшегося в одноименной гостинице, был товарищ по фамилии Зубанов.

Когда принимали гражданок женского пола на престижную и денежную работу официантками, да и в кухонный цех попасть было много желающих, и дело доходило до оформления, кто-нибудь из отдела кадров предупреждал новенькую о возможном к ней внимании со стороны директора, что, разумеется, не содержало в себе особой неожиданности — профессия считалась довольно-таки вольной. Но в процессе вхождения в трудовой коллектив она узнавала про необычную и как бы неудобосказуемую особенность руководителя в женском вопросе, которую теперь запросто по-иностранному называют куннилингусом, а по тогдашней простоте обозначали как …лиз. Когда однажды в долгом стоянии у буфетной стойки я спросил у буфетчицы Тани Прокофьевой о достоверности информации, она спокойно её подтвердила: *«И что такого, даже приятно, и ему больше ничего не надо»*. А «Волга» ресторан центральный, в десяти минутах ходьбы от управления КГБ по Саратовской области, посещаемый и его работниками, был под неусыпным их вниманием, и там, конечно, знали о сексуальных предпочтениях тов. Зубанова — ну и что?

”’

«Лучшая проба талантливости — писать ни о чем». (Михаил Кузмин)

К СТОЛЕТИЮ ЮРИЯ ТРИФОНОВА (1925–1981)

Юрий Поклад

Поэзия и музыка прозы

Ольге Романовне Трифоновой

Закат столетия свинцов…
Мы не вполне живем на свете —
Мы доживаем жизнь отцов,
Тяжелые большие дети.
Татьяна Бек

Когда Валентина Катаева спросили, чем отличается проза от поэзии, он ответил: ничем. Давно замечено, что отдельные фрагменты повестей и рассказов можно легко представить в виде строф. Поэтесса Татьяна Бек писала о том, что проза Юрия Трифонова порой выглядит белыми стихами. Вот начало первой главы романа «Время и место», как бы вступление к нему:

«Надо ли вспоминать о солнечном, шумном,
воняющем весёлой паровозной гарью перроне,
где мальчик, охваченный непонятной дрожью,
держал за палец отца и спрашивал:
“Ты вернёшься к восемнадцатому?”»

Это «надо ли» припевом повторяется далее ещё семь раз в различных интонационных вариациях, до тех пор пока не выливается в скорбный вопрос «надо ли это всё?», а потом — в обречённое резюме:

«Мальчика звали Саша Антипов.
Ему было одиннадцать лет.
Отец Саши не вернулся из Киева никогда.
Мальчик Саша вырос и давно состарился.
Поэтому никому ничего не надо».

Вне всякого сомнения, это сжатая в одну страницу поэма о трагедии ребёнка, которую он пронёс через всю жизнь. С «Надо ли?» начинается каждая новая строфа, а резюме — отделённое отточием от основной части — подводит суровый итог жизни Саши Антипова.

Юрий Поклад (1954) — родился в Свердловской области. С 1961 года жил в Куйбышеве (Самара), где окончил нефтяной факультет политехнического института. Работал в геологоразведочных экспедициях глубокого бурения в Крыму и на Крайнем Севере, на нефтяных промыслах Западной Сибири. Публиковал рассказы и повести в журналах «Юность», «Москва», «Урал», «Аврора», «Слово/Word» (США) и др. Автор книги очерков и трех книг повестей и рассказов. Живёт в г. Мытищи Московской области.

При этом отчётливо слышится музыка, сначала — лирическая тема скрипок, лёгкие всплески фортепьяно; звуки постепенно нарастают, сгущаются, в них появляется сначала незначительная, потом всё более явственная тревога, и вдруг трагический всплеск с паузой, когда Сашина мама «в сердцах, схватила со стола фотографию любимого отцовского коня Звездочёта и бросила её на пол, так что рама раскололась, стекло разбилось на множество осколков». После этого уже нет сомнения в том, что трагедия неизбежна, не случиться она не может, — музыка приходит в совершенно бетховенское неистовство с преобладающей тяжёлой, угнетающей темой и наконец резко обрывается роковым финалом.

Роман завершается с той же обречённостью, с какой был начат, заключив его в три предложения, следующие друг за другом, словно шквальные порывы холодного осеннего дождя на промозглом Тверском бульваре:

«Москва окружает нас, как лес,
Мы пересекли его.
Всё остальное не имеет значения».

Финал фуги ре минор Баха, рвущий душу трагическим crescendo, — нарастанием силы звука.

Очень точно этому настроению соответствует окончание рассказа «Посещение Марка Шагала», словно часть одного и того же произведения, — впрочем, в каком-то смысле Юрий Трифонов и писал всю жизнь одно произведение, сюжетом которого была его жизнь:

«…море лежало в сумерках
громадной сине-голубой простынёй,
под которой можно было спрятать
всех, всех, всех».

А вот вступление к повести «Дом на набережной», оно создано в музыкальном темпе assai sostenuto, — весьма сдержанно, а настроение его можно охарактеризовать (пользуясь той же итальянской терминологией) как doloroso — печально и горестно; читать же этот текст следует sotto voce — вполголоса.

«Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете.
Кто погиб на войне, кто умер от болезни,
иные пропали безвестно.
А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей.
И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь
колдовским образом тех,
исчезнувших в бумазейных рубашонках,
в полотняных туфлях на резиновом ходу,
они не знали бы, о чем с ними говорить».

Этому стихотворению более всего соответствует соната си-минор для флейты и клавесина Баха.

Что касается романа «Старик», — это, безусловно, симфония, которую нужно слушать, не отрываясь, потому что текст романа плотен и неразделим, и завершается он пронзительно, не зря Юрий Трифонов говорил, что это роман о любви:

«Ася, одно мне неясно, и об одном спрошу:
куда он двигался в августе девятнадцатого? И чего хотел?»

Молчит старушка, кивает задумчиво, припоминая.
Дрожат старушкины веки, как мотыльковые
сохлые крылышки, и прикрывают выцветшие голубые…
После молчания, всё вспомнив, говорит:
«Отвечу тебе — никого я так не любила
в своей долгой, утомительной жизни…»

И далее то, что называется в музыкальном произведении кодой — финалом, то, ради чего оно создано:

«…бывают времена, когда истина и вера
сплавляются нерасторжимо, слитком,
трудно разобраться, где что,
но мы разберёмся».

Взволнованный речитатив рассказа «Кошки или зайцы?», когда автор через много лет вновь оказался в итальянском городе Дженцано, в траттории Пестаментуччиа, и узнал, что её хозяин попал под подозрение, он якобы вместо зайцев кормил посетителей жареными кошками.

«Значит, неправда?
Значит, не тёплые сумерки, не море цветов,
не песни враскачку с соседями,
трудовыми людьми Италии
с их мужественными, обожжёнными солнцем лицами,
не чудесное кьянти, не охотничий запах зайчатины,
а — жареные кошки?
……
Я молчал, подавленный.
……
Разумеется, мало радости узнать,
что когда-то тебя изумлявшее и делавшее счастливым
оказалось фальшивкой и ерундой.
Боже мой, но ведь ощущение счастья было!
И навсегда остались пение, шум в голове, петарды, Руссо.
Правда, я не почувствовал за всей красотой жареных кошек.
Я не прозрел истину.
Несчастные жареные кошки есть повсюду,
и писатель не имеет права делать вид, что их нет,
он обязан их обнаруживать,
как бы глубоко и хитро они ни скрывались».

Уникально умение Юрия Трифонова «поставить точку в произведении», которое после этой точки имеет свойство продолжаться в воображении читателя.

Рассказ «Игры в сумерках».

«Я подошёл к реке, сел на скамейку.
Река осталась.
Сосны тоже скрипели, как раньше.
Но сумерки стали какие-то другие:
купаться не хотелось.
В те времена, когда мне было одиннадцать лет,
сумерки были гораздо теплее».

Стоит ли объяснять, что не только в сумерках тут дело, хотя я могу подтвердить, что в 1965 году, когда мне было одиннадцать лет, они и в самом деле были теплее, дело в том, что жизнь кажется ребёнку теплее и счастливее — родители ещё живы, и дальнейшие перспективы видятся безусловно успешными. Ничего нет страшнее детского сиротства — Трифонова, Аксёнова, Окуджавы, Горенштейна, — которое, может быть, и рождает столь жестоким путём настоящих писателей.

Юрий Трифонов сумел заключить всю эту обширную гамму чувств в четыре строчки текста.

«Счастливая и трудная судьба Льва Кривенко».

На первый взгляд это обычный очерк о талантливом писателе, друге автора, всё так, если бы не две последние строчки:

«Но так или иначе Кривенко был
счастлив в своём творчестве
и прожил жизнь как хотел».

Наверное, ничего нет важнее в жизни, чем прожить её так, как ты хочешь. Читатель, тем более если он ещё и писатель, прочитав эти строчки, невольно спросит себя: «А я счастлив ли в своём творчестве? А живу ли я жизнь так, как хочу?» И ответить на эти вопросы будет нелегко.

Рассказ «Костры и дождь». Прелюдия номер пять соль-минор Сергея Рахманинова.

«Утром я встретил двух партизан,
с которыми сидел у костра,
и спросил их, где они ночевали.
Они сказали, что просидели
у костра всю ночь.
И всю ночь лил дождь.
А костёр, сказали они,
горит до сих пор».

Костёр, зажжённый Юрием Трифоновым, горит до сих пор, и погасить его невозможно.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Константин Комаров

Безлицый «Лицей»

В разгаре новый сезон премии для молодых писателей «Лицей». Чем не повод проанализировать сезон прошедший?

6 июня 2024 года, в день рождения Пушкина, на Красной площади в рамках одноимённого книжного фестиваля традиционно состоялось награждение лауреатов премии, пытающейся (с успехом, прямо скажем, относительным) гордо носить светлое имя «солнца русской поэзии». Присмотримся внимательно к финалистам восьмого сезона, тем более что именно шорт-лист наиболее показателен для любой премии в плане весомости, эстетической содержательности, разнообразия и пресловутой «объективности» годового «среза» определённого литературного сегмента (в данном случае — молодой поэзии). В некотором роде «шорт» репрезентативней и симптоматичней и «лонга» (где ещё слишком широкое «сито» отбора), и пьедестала (где велик элемент везения, стечения обстоятельств).

Восьмой сезон давал определённые надежды на некоторое «оздоровление» премии, необходимость которого представлялась назревшей даже стороннему наблюдателю. Надежды эти базировались на обновлении состава экспертного совета премии и особенно на «отчислении» из её организаторов Виталия Пуханова, активно лоббировавшего (что давно не является никаким секретом) представителей так называемой «актуальной поэзии». Надо сказать, что лонг-лист частично эти надежды оправдал: «актуальных» верлибристов (завсегдатаев длинных и коротких списков прошлых лет) кардинально поубавилось.

Но, как оказалось, обстоит всё далеко не так просто.

Итак, попробуем оценить подборки финалистов (из года в год называемые на сайте премии «сборниками стихотворений», что не очень грамотно в жанровом отношении), призванные являться лакмусом общего состояния современной молодой поэзии. Пойдём, ничтоже сумняшеся, по алфавиту.

Стихи **Ксении Август** (спецпризы от журнала «Юность» и Издательского дома «Аргументы и факты») из подборки *«Песочный человечек»* отличаются ритмосмысловой инерцией, избыточностью лирических излияний, слезливостью, проходной и банальной публицистической риторикой (*«живы все в нашей памяти»*), довольно искусственной и неискусной имитацией фольклора, пустопорожней пафосной экзальтацией и натужной

Константин Комаров — поэт, литературный критик, литературовед. Родился в Свердловске, окончил Уральский федеральный университет. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Урал», «Звезда», «Нева», «Октябрь», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Дети Ра» и др. Постоянный участник форума молодых писателей «Липки» (2010–2022). Автор книг стихов «Почерк голоса», «Только слово», «Соглядатай словаря», «Безветрие», «От времени вдогонку» и др. и сборников литературно-критических статей «Быть при тексте», «Магия реализма». Победитель «Филатов-феста» — 2020, лауреат премии «Восхождение» (2021), лауреат премий журналов «Нева», «Урал», «Вопросы литературы».

псевдотелесностью. Август всячески старается подчеркнуть глубинно-нутряную подлинность своего слова: *«Это не я, это то, что во мне говорит, / и разбивает до крови язык мой и губы»*. Но за рамки плоской констатации страдания подобные выкрики не выходят. Боль громко манифестируется, но не воплощается непосредственно в плоти стихотворений. «Разбитые губы» заявлены, но не явлены, а кровь, вспоминая Маяковского, оборачивается «водицей». При этом попытки рефлексии над собственным творчеством оказываются наивны до пошлости: с деланым простодушием поэтесса признаётся, что её стихи «ничего не смыслят ни в ритмах, ни в рифмах, ни в чём», а ещё не ведают, «что они и есть поэзия настоящая». У меня плохая новость — ненастоящая.

Мирослава Бессонова (спецприз от издательства «Стеклограф») в подборке *«Люди ходят по воде»* «жалуется» поэтически гораздо убедительней, что, увы, не отменяет легковесности и поверхностности этих «жалоб». Ближе к финалу подборки вторичное и заёмное в своей «сэлинджеровской» сентиментальности подростковое бунтарство и разгорячённые монологи (*«время мяло нас и рвало, / приковывало к батареям», «и крепко стянуты запястья, / и нас ведут, куда им надо»*) из позиции жертвы (от которой, помнится, убедительно предостерегал Бродский) начинают откровенно тяготить и давить даже на ни в чём не повинное ударение (*«дурдо́мами и роддома́ми / Уфы районы расцветали»)*. Лирическая зрелость в этих довольно беспомощных стенаниях просматривается слабовато. Эта содержательная одномерность, банальность нивелирует и экспрессию, и встречающиеся в стихах интересные образные и языковые находки — получается «колка орехов микроскопом».

Дарья Ильгова (спецприз от сервиса Ridero) с подборкой *«Перекличка»* тоже не чужда бунту, но он ещё более абстрактен, инфантилен и вторичен. При общей «сюсюкательной» детскости сквозной интонации подборки забавны попытки взять высокую ноту, логичным образом постоянно сбивающуюся на писк птенца. Когда Ильгова начинает говорить от лица взрослого, потрёпанного жизнью человека, звучит это откровенно комично. Понять же смысл лирического «месседжа» представляется возможным далеко не всегда. Так, например, поэзия провозглашается «рубежом, а не вещью» — «развидеть» сущность и цель этого противопоставления не слишком просто. Многие строчки производят впечатление придуманных лозунгов на сочинённых баррикадах. Среди прочего: пошловатый пафос, слабая рифмовка (*швы — живым*) и довольно примитивная звукопись (*пасти́ — па́сти, равнина — рванина*). По всем параметрам это стихи любительского поиска, начальной стадии творческого развития, а уровень выраженного в них «протеста» — отказ от гороховой каши в младшей группе детсада. Громкость сделанных заявлений обратно пропорциональна их художественной весомости. Финал подборки пессимистически фиксирует «*беспомощность слова в кругу наступающей тьмы*». Все громкие заявления, таким образом, оказываются недорогой бижутерией. Общая метарефлексия над собственным творчеством, как и в случае Август, отдаёт копеечным умилением по типу «*стихи мои, стишочки, бедные, вам нелегко, зато вы настоящие»*. Увы, снова — нет, не настоящие.

Майка Лунёвская (третье место) и её подборка *«Лес»* — первый проблеск осторожного света. Здесь уже чувствуется определённый версификационный уровень, поэтому органичнее смотрятся и неологизмы («абрикосточки»), и игры с грамматикой («кончается дышать»), и ритмическая раскованность, и метареалистическая оптика («не дорога ведёт, а её ведут»). Сюжет самоотождествления («становишься тем, кто есть») через (не)совпадение с пейзажем, с природной жизнью, исполненной неблагополучия (кивок в сторону «вековечной давильни» Заболоцкого), реализован психологически и эмоционально убедительно. Но и тут нельзя не отметить вторичность поднадоевшей уже интонации «бесполезной жалости». От простой констатации

человеческого экзистенциального поражения поэзия не выигрывает, она выигрывает от содержательной новизны, от «своего ракурса» и «не похожих ни на кого мотивов» (Кушнер). Тем не менее на фоне предыдущих подборок в «Лесе» наконец-то проглядывает «лица необщее выражение» поэта.

Василий Нацентов (второе место) действительно представил полноценную «книгу лирики» (первый и единственный на весь шорт-лист случай оправданности жанрового определения) *«Автопортрет»*. Это своеобразный лирический эпос, в просодии которого слышится античная гулкость, «благородная простота и спокойное величие» (так определял дух античности Винкельман). Центральный для книги мотив одиночества осмысляется как предоставленность себе самому, как парадоксальная свобода наблюдать и внутри этого наблюдения «мыслить и страдать» («к созерцанию приговорён»), рассматривать реальность в её многослойности и самоопределяться по отношению к ней. Стихи интертекстуально насыщенны (диапазон эпиграфов — от Горация до Олега Чухонцева), интересно подсвечены «памятью» древних жанров (в частности, эклоги) и античной метрикой. Временами, правда, медленность, тягучесть развёртывания мыслеобраза оборачивается опять же некой инерционностью, частично преодолеваемой, однако, динамизмом внимательной, ищущей, пытливой и цепкой оптики. Взгляд поэта пронизывает ландшафт, усилием зрительного «вчувствования» проецирует его на сетчатку, ловит его детали, словно на «мыслящую» клейкую ленту, и воплощает в оригинальных, пластичных, смыслоёмких и наглядных образах, сравнениях и метафорах. Это уже не трагически-беспомощное наблюдение, но одухотворённое созерцание, постижение сложной, внутренне конфликтной, но всё же гармонии (вопреки Заболоцкому с его «Я не ищу гармонии в природе…») природы, которая, по Тютчеву, «не слепок, не бездушный лик». «Автопортретные» стихи Нацентова с их спокойным, длинным древнегреческим дыханием, органическим прорастанием мысли из образа, способностью различать космос в «мельчайшей пылинке живого» — звучат весомо и, пожалуй, в ещё большей степени, чем подборка Лунёвской, выделяются из шорт-листа.

Вообще Нацентов и Лунёвская смотрятся среди финалистов наиболее выгодно, потому что им интереснее внеположенное им, они пропускают сквозь себя пространство и время и в этом живом процессе становятся собой в рамках стихотворения, осознают себя в нём, а не говорят с уже готовых, статичных и вторичных «позиций», не манифестируют свои переживания, но испытывают (во всех смыслах) их «здесь и сейчас», в рамках разворачивающегося текста. Такое самопознание через всматривание в мир располагает к осторожной симпатии.

Жаль, что на этом возникшее было воодушевление тут же и заканчивается, а лучики света вновь скрываются в «тёмном царстве».

Стихи завоевавшего первый приз **Леонида Негматова**, объединённые в подборку *«Открой»*, никак не дают понять, чем они заслужили вершины пьедестала. Нарочитая серьёзность, театральные ужимки, «северянинские» красивости («ротонды», «нормаль»), сахаристая вычурность («поцелуйный снег»), техническая беспомощность (например, в рифмоидах типа «согбенный — сирени»), неуклюжие в своём акцентированном желании казаться многозначными и оригинальными образы, коим ощутимо неуютно внутри стихотворения, никак не желающего складываться в цельнооформленное лирическое высказывание, и — ставшее, похоже, трендом этого шорт-листа — наивно-комическое прекраснодушие с претензией на «полную гибель всерьёз». Заполняющая эти стихи грошовая экзотика выглядит весьма сомнительной и какой-то рыхло-пестрядевой, как туристическая брошюра. Заключающие же подборку верлибры на тему «Восток — дело тонкое» настолько и формально, и содержательно пустотны, что даже комментировать их не возьмусь. Думаю, такие верлибры мог бы сочинять тыняновский подпоручик Киже, если бы увлекался стихописанием.

Стихи **Агнессы Перловой** из подборки *«Колыбельная»* насквозь вторичны даже по отношению к насквозь вторичной поэтике небезызвестной лауреатки не только «Лицея» Оксаны Васякиной. Перед нами уже выбившая всем зубы оскоминой поэзия «расковыривания травмы» — все эти ранки и царапинки, все эти искажённые нарочито картонной «телесностью» и корявой имитацией детской оптики вымученные страдания о внутреннем неблагополучии, от которых современная поэзия (равно как и проза) устала смертельной усталостью. Однако мучительство сие живуче, как плющ, ибо воспроизводится элементарно. О лирической индивидуальности здесь, ясное дело, говорить не приходится от слова «совсем». В качестве противоядия от подобного неблагополучия, вероятно, призвана выступать счастливая любовь, но и её стихотворное воплощение (вообще объективно тяжелей дающееся, чем «лирика травмы») абстрактно и сводится к розовым картинкам вроде «облаков из сахарной глазури». Игрушечная боль игрушечно лечится игрушечной любовью, а стихи (подборка довольно объёмная) быстро слипаются в не отличимые друг от друга слёзные «триллерки» (то ли стихотворная «кукла Чаки», то ли мелодрама по РТР), пестрящие громокипящими воздыханиями («люби меня пока нас только двое») и топорными аллюзиями («все вольные ветра несут нас в Мури— / но, / как будто в Мурино — покой»).

Появление (второе, кстати, подряд) в коротком списке **Артёма Рагимова** с безымянным «сборником стихотворений» чем-то, кроме выработки «патриотической квоты», объяснить сложно, хотя среди современных молодых поэтов есть гораздо более достойные кандидаты на эту вакансию. Кондово вдохновенная лозунговость по типу «вперёд к победе!» и разухабистое, заставляющее вспомнить незабвенное «Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился» псевдопростецкое говорение про «повесточку» убеждает, мягко говоря, слабо и смотрится «вертепно» даже на фоне в целом трагифарсового шорт-листа. Вопрос «зачем я это читаю?» возникает уже на второй строфе первого стихотворения («Потому что жизня — не пустыш гороховый, / даже самые светлые чувства требуют инвестиций»). А на строчке, призывающей отличать «летний дождик от только начавшей бури», этот вопрос можно закрыть, как и сам «сборник стихотворений», ибо превратно понятая «народность» индульгенцию на эстетически неоправданную безграмотность (аграмматизмы могут быть приёмом, но это не тот случай) не даёт. Я же по долгу службы подборку дочитал до конца и встретил множество перлов и вымученных попыток каламбурить («Этот город тебе идёт — / не навстречу, а так, на фоне» — «пояснение» здесь запутывает и без того косноязычный синтаксис), а вот хотя бы одной более-менее внятной лирической строки так и не встретил. Борис Рыжий, к примеру, тоже говорил от лица «социальных низов», но делал это тонко и музыкально, не пытаясь вырубить топором Венеру Милосскую. Здесь же мы не встречаем ни элементарных версификационных навыков, ни, что страшнее, желания их обрести. Вместо этого автор предпочитает издеваться над языком с грубой хамоватостью торжествующего зощенко-булгаковского «гегемона» из ближайшей пивнушки. Но в поэзии невозможно «стать всем», будучи «ничем», наплевательски относясь к сложной материи, с которой работаешь. Если у Нацентова и Лунёвской за стихами просматривается целостное миросозерцание, усилие подлинного поэтического осмысления себя в мире и мира в себе, то подборка Рагимова не подразумевает даже самой необходимости этого усилия.

«Сборник стихотворений» **Степана Султанова** представляет собой типовую «среднепись» и ровную, как каток, силлаботонику «комнатной температуры». Скрещение символистской бальмонтовско-брюсовской высокопарной торжественности, не поддержанной единством строя стихотворений («На багряном, на багрянородном, / Всё пронизывающем, при том», «И поток обрывается в пропасть, / Пламенея на ярком свету»), с научной фантастикой

a la Шефнер и зловещими антиутопическими мотивами перспективным не выглядит и приводит к созданию странных гибридов. Заявка на незаёмную, оригинальную оптику здесь присутствует, но реализована она в самой малой степени. Ни одного запоминающегося, удивляющего, врезающегося в память образа наскрести не удалось. При этом откровенных штампов тоже, кажется, нет, но многие строки к ним тяготеют, как бы «лежат в их сторону». В общем и целом — «тёплая водичка», ни уму ни сердцу.

Замыкает список финалистов **Артём Ушканов** (тоже не первый раз в финале), чей «сборник стихотворений» — это «привет» из прошлых сезонов премии, в финалах которых подобной «актуальщины» (сомнительной, неловко зарифмованной прозы, маскирующейся под стихи) хватало с избытком. Несмотря на то что некоторые из лидеров этого «направления» после ухода из «Лицея» Пуханова публично признали «поражение», совсем без подобного мейнстримчика обойтись, видимо, было нельзя (спойлер: можно и нужно), ибо на принципы «и нашим и вашим» и «пусть цветут разные цветы» «Лицей» хитроумно ориентировался всегда (менялось только соотношение и количество тех или иных «цветов»). Проблема только в том, что борщевик — не цветы. А стихи Ушканова хочется сравнить именно с зарослями борщевика. Потому что все эти рэпообразные речитативы про «полости в голосе», «единицы стволов нолики норок», «леса беременные цифрами» etc. заполняют прекрасную в своей невинной пустоте белизну бумаги или экрана столь же токсично, бессмысленно, беспощадно, произвольно, безблагодатно и механистично, как борщевик заполняет поля. Это своеобразные «верлибры в рифму», поскольку рифма в них случайна, необязательна и потенциал «катализатора смысла» у неё нулевой. В некотором смысле рифма здесь похожа на «разряд» дефибриллятора — сам по себе энергийный, но тщетно пытающийся оживить мёртвое тело стихотворения (а ни одного более-менее живого в подборке не найдено). Остаётся только констатировать кончину и выписать свидетельство о смерти.

Итоги неутешительны. Всерьёз, как о состоявшемся поэтическом высказывании, можно говорить о двух (или двух с половиной, с учётом Бессоновой) из десяти подборках шорт-листа. Скудновато. Кто-то, конечно, может счесть, что я излишне строг к финалистам-лицеистам. Ответствую: десять подборок, выбранные из более чем тысячи, уж явно претендуют на разговор по «гамбургскому счёту».

Слегка утрируя, можно констатировать: бледное верлибристическое версификаторство сменилось столь же (хоть и по-другому) бледным версификаторством силлабо-тоническим. Вот и всё. Почему так получилось? Я отказываюсь верить в отсутствие у членов экспертного совета, отбиравших финалистов, элементарного языкового чутья. Более того, о половине из этих членов я доподлинно знаю, что таковое чутьё у них есть. Так почему же тогда, читая это всё, буквально через строчку испытываешь страшный, жгучий, с трудом отпускающий испанский стыд? У меня ответа нет, но об экстралитературных причинах формирования столь, скажем мягко, спорного короткого списка не думать не получается. Шансы же на системные изменения к лучшему — после многообещающего, но откровенно разочаровавшего восьмого сезона — вновь представляются исчезающе малыми.

Впрочем, посмотрим-поглядим. Способности удивлять у жизни (в т.ч. жизни литературной) никто не отнимал.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМНЫХ КООРДИНАТ

Борис Гриненко. Признание в любви. Роман. — М.: ЭКСМО, 2024.

Эту книгу нельзя прочитать: ее можно только прожить так же мучительно и больно, как проживал самые тяжелые дни своей жизни автор. Борис Гриненко не профессиональный литератор, но поразительно: ему удается то, что иной раз не под силу искушенному мастеру художественного слова. Рассказанной им истории не просто веришь, а становишься ее частью.

Некоторые шероховатости стиля и местами сбивчивость пересказа не только не портят общего восприятия, но лишний раз доказывают искренность и глубину переживаемого чувства. Каким-то образом автору удалось передать свои эмоции так, что чувствуешь боль утраты, будто она твоя.

Это книга о большой любви и большой человеческой трагедии, произошедшей из-за врачебной ошибки. Здесь нет вымысла: история основана на реальных событиях, но при этом воспринимается как полноценное художественное произведение, оставляющее глубокий след в душе.

Композиционно роман выстроен так, что главным героем становится Чувство, вспыхнувшее между двумя: автором этой книги, зрелым мужчиной, начальником отделения Ленинградского НИИ, и его прекрасной умной молодой сотрудницей Ириной.

Сюжетная линия — зарождение, развитие любви и следующая за ней глубокая утрата. Невольно напрашивается аналогия с… «Божественной комедией»: да-да, так бывает! Данте сначала путешествует по подземному миру, а затем поднимается в Рай, ведомый своей возлюбленной Беатриче. У Бориса Гриненко почти так же… только наоборот. Перед читателем предстает масштабная картина с двумя главными героями. Сначала — райские небеса, потом своего рода чистилище — раскаяние героя в каких-то неправильных поступках, неурядицах, бытовых мелочах. И наконец — бесконечные круги Ада… Ада для двоих.

А начинается все с хризантем. Начинается именно в буквальном смысле слова. «Хризантемы» — название первой части книги. В дальнейшем эти цветы становятся сквозным образом-символом, который сопутствует героям на протяжении всего повествования.

Жизнь Бориса, мало чем отличающаяся от жизни остальных, тонущая в повседневной рутине, с появлением Ирины обретает совсем иной смысл. Герой (он же — автор) познает жизнь в любви, когда двое становятся единым целым (*«Изменился сам — вместе со мной изменилось всё»*). Его духовная эволюция состоит в постепенном отказе от эго-«я», взамен которого приходит, уже навсегда, объединение в диаду «мы»: *«Теперь — нашего окна наш горизонт…»*). В финале Борис сравнивает себя и Ирину с сиамскими близнецами.

Счастье взаимного чувства находит свое выражение и на художественно-языковом уровне. Пространство книги постепенно наполняется недомолвками, особыми знаками, понятными лишь двоим, атмосферой ожидания и трепета, а также еле ощутимым предчувствием будущей беды. Так происходит с хризантемами, подаренными Борисом Ирине во время их первого совместного отдыха в Геленджике. Цветы становятся двойственным, амбивалентным символом: *«В Греции хризантемы — символ скорби и печали. Понятно — когда люди уходят и цветы осыпаются, остается боль…»* В то же время

«цветочный» язык заменяет влюбленным слова и становится универсальным способом выражения чувств. *«Я покупаю хризантемы. С них ведь началась настоящая жизнь»*, — признается автор. А хризантема, нарисованная на кувшине в театре кабуки, — красноречивый подарок Ирины супругу и ее ответное признание. С помощью этих символов чувства героев оказываются зеркально отображенными друг в друге. Ближе к концу романа у цветов появляется уже иная, траурная функция. Они по-прежнему остаются признанием в любви, но с ярко выраженным прощальным оттенком. *«Белые пушистые хризантемы»* стоят на тумбочке у кровати неизлечимо больной Ирины. И уже после ее смерти — *«две хризантемы в старой вазе…»*. Автор умеет мыслить символически, создавая смысловую многоплановость. Знаки любви как дара, ниспосланного свыше, буквально растворены в атмосфере повествования.

История главного героя развивается на фоне переломных исторических событий. Доперестроечный период, августовский путч, время больших ожиданий и не менее больших разочарований — все это представлено в романе «Признание в любви» как опыт совместного проживания жизни «в горе и в радости, в богатстве и бедности». Множество грандиозных, но неосуществленных планов — проект перестройки исторической части Ленинграда, конверсия оборонки, закупка космического оборудования в Америке — это неудачи, поделенные на двоих. Оттого и переживаются легче. А во время путча Ирина боится отпускать мужа на Дворцовую площадь, намереваясь его сопровождать, следуя главному правилу — «с любимыми не расставайтесь». Борис же находит способ отговорить любимую от подобного шага: во имя безопасности. А уже там, на Дворцовой, ему суждено будет пережить знаменательный момент всеобщего ликования, сделавшего всех собравшихся на какой-то момент единым целым: *«Дождались… сообщения: «Бронетехника остановлена». Кто-то кричит «ура», кто-то обнимается. Родные лица, все стали близкими друзьями»*.

Это соборное, истинно христианское «мы» не берет ли свои истоки из каждодневного «мы» в личной истории героя? Подобное же чувство единения с миром Ирина и Борис неоднократно испытывают во время совместных путешествий по разным странам. И опять же прелесть любого путешествия, равно как и похода в театр, ресторан и пр., объясняется наличием главного в жизни: любви… Абсолютно все подано сквозь ее призму, вне ее ничего нет, все пустое и бездушное.

Каждая новая страна становится невольным свидетелем и поверенным любви главных героев. Каждая поездка сопровождается мистическими знаками: доказательствами ее подлинности. В Барселоне на празднике Святой Мерсе (день города) герои в очередной раз постигают истинное чувство единения со всеми, когда *«мы — одно целое, праздник для всех»*. А во время подъема на высокую башню Старого города в Хорватии Борис, не желая утруждать Ирину утомительным подъемом, оставляет ее внизу, но вскоре обнаруживает, что она идет следом. В подтверждение богоизбранности любовного союза над героями кружат *«две стаи голубей… навстречу друг другу»*. Мир природный и человеческий пребывают в гармонии, и только любящему счастливому взору удается постичь подлинную красоту происходящего: *«Чем больше наслаждаемся — прекрасным видом или нашей близостью? Вокруг открылась красота. Понимаешь, что сама по себе красота без главного — бездушная картинка, какой только что и была. А главное — вот оно, рядом, и сейчас все поет. Слышим музыку, хочется смотреть и смотреть, слушать и слушать. Когда любишь, красоту чувствуешь»*.

В Иордании и вовсе происходит знаменательное событие. Священник, впоследствии оказавшийся (земля круглая) их должником, обязанным им жизнью, венчает героев в местном храме. Они становятся «одной плотью».

И все же автор не стремится к созданию идиллической картинки. Он прекрасно понимает, что и на солнце бывают пятна, и рассказывает обо всем без утайки. В том числе и об измене… Можно было бы умолчать о подобном, но перед нами не просто книга, а книга-исповедь. Поэтому все честно. Возмож-

но, именно эта «ложка дегтя» становится той долей покаяния, которая еще больше подталкивает героя к окончательному объединению в диаду «мы».

Вместе «и в горе, и в радости…». Об этом гласит молитва брачующихся. И героев еще больше сближает горе, а чувство любви и привязанности все больше обретает христианский оттенок. Не оставив любимую в тяжкую для нее минуту известия о тяжелой болезни, герой как будто поднимается на духовную ступень выше: на тот уровень человеколюбия, когда можно пожертвовать собственной жизнью ради чужой. Любовь продолжает открывать все новые истины. Одна из них состоит в том, что жертвенность — неотъемлемая часть истинной любви. Именно поэтому столь важен эпизод, когда герой молится в храме о том, чтобы бог передал ему болезнь Ирины, а ее оставил здоровой…

Заключительную часть романа читать не только психологически, но и физически тяжело. Героям суждены мытарства, которым не позавидует даже великий грешник. Совместная борьба за жизнь и за любовь не прекращается ни на день, но парадоксально: в этой борьбе именно врачи оказываются не союзниками героев, а их врагами. Неправильное лечение и халатность медработников, недопустимая операция, проведенная без предварительной диагностики, предопределяют исход «сражения» и приводят к трагическим последствиям. Все это время Ирина и Борис практически не расстаются и по-прежнему уповают на помощь врачей. Но ее нет! Чувство безнадежности и отчаяния чередуется с проблесками надежды на чудесное спасение. Одна больница сменяется другой. В этой ситуации поражает и возмущает поведение виновников произошедшего. Они не только не стараются исправить содеянное, но и всячески открещиваются от пациентов, практически буквально выставляют их за дверь. Ситуация многим, увы, знакомая: не так ли? Но даже в этих условиях любовь не угасает, а только крепнет. Слово «мы» произносится все чаще: *«Вечером шли мы по дороге надежды весело и уверенно… Маленькая победа над собой, над болезнью…»*

Любовь прорывается на страницы книги уже не прозой, а поэзией: ее становится ощутимо больше. Читатель неожиданно открывает в авторе дар стихосложения, но он не удивителен. Чувство всегда окрыляет, каким бы трудным и мучительным ни был совместный путь в любви. «Вместе» — это всегда путь к спасению. Но в мире, где никто ни за что не несет ответственности, героям спасение не уготовано…

Последние дни жизни Ирины описаны крайне подробно и реалистично. И снова появляются знаки скорой развязки, неизбежного конца. Разбитая посуда, купленная когда-то Ирой (*«закаленная керамика потеряла закалку»*), случайно оброненная ею фраза о старинных каретных часах, завода которых может не хватить… а в итоге хватило *«на Ирочкину жизнь»* и многое другое, пугающее и тревожащее дурными предчувствиями.

После смерти жены в жизни Бориса наступает пустота. Он, осознающий себя только через категорию «мы», остается один. Но это одиночество для него противоестественно, ведь часть его самого умерла вместе с любимой: *«Ира была и другом, и любовью, и счастьем — она была всем…»* На смену большой любви пришло большое горе, которое невозможно вынести. Автор и не выносит. Он поднимается над ним, отстраняется от него и от самого себя, временно теряя самоидентификацию. Эта потусторонность взгляда приводит к некоему раздвоению личности и разговору о себе в третьем лице: *«Я не могу ничего слышать. Я ушел вместе с Ирой. Разве она может быть одна? Я любил и не мог оставить ее там одну. Мы ушли. Меня нет, нет больше… И хорошо, что нет. Тот, другой человек что-то говорит и делает. Я не знаю, что и зачем, я не понимаю его и не хочу понимать»*.

Казалось бы, битва проиграна, но можно ли проиграть в любви, если она действительно настоящая? И в этот самый страшный час герой открывает для себя еще одну непреложную истину: «Любимые не уходят, они с нами». Ира не умерла, а просто вся «перетекла в него», подарив ему свой последний вздох. Любовь невозможно потерять. Любовь никуда не исчезает, а просто выходит за пределы земных координат и становится Памятью. Необходи-

мость сохранить ее дают Борису Гриненко новый смысл существования. Он чувствует огромную ответственность перед Ирочкой и пишет книгу «Признание в любви», чтобы сохранить любимую для вечности. И вот она уже с нами: такая же юная, прекрасная, улыбчивая, в очередной раз доказывающая, что смерти нет. Она лишь для тех, кто никогда не любил…

Ты каждую ночь возвращаешься к дому,
безмолвные звезды, что слезы в судьбе.
По этим следам, как за руку слепого,
Господь мою душу проводит к тебе.

Елена СЕВРЮГИНА

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Алексей Мальцев. Перчатки с пришитыми пальцами. Роман. — М.: «РуДа», 2024.

Давно не встречал я ностальгической прозы о медицинском студенчестве. Именно о медицинском! И дело даже не в том, что передать истинную романтику становления будущих эскулапов в состоянии лишь тот, кто сам побывал в этой шкуре. И совершенно напрасно память при этом выводит курсивом фамилии В. Вересаева, А. Чехова, М. Булгакова, В. Аксенова, С. Моэма, С. Лема. Это лишнее.

При этом новый роман пермского писателя и врача Алексея Мальцева «Перчатки с пришитыми пальцами» — по сути, классический триллер. К примеру, я уверен, читатель до последних страниц останется в недоумении — что за необходимость сначала у хирургических перчаток пальцы отрезать, а затем, пришив обратно, подкидывать их студентам, направляющимся в стройотряд.

Вы можете возразить, дескать, Мальцев — детективщик, ему не впервой туманить читательский мозг, раскрывая «в час по чайной ложке» одну за другой интригующие детали. Отвечу: все так, и «Перчатки…» являются своеобразным романом-матрешкой, в котором все не так, как кажется на первый взгляд, где под первым слоем — студенческой дружбы и любви — есть второй, а под вторым — третий… И загадочное название, о котором забываешь по мере раскручивания сюжета, под занавес произведения выходит на первый план, придавая сюжету детективность.

Но это еще и психологический роман об Урале и уральцах далеких восьмидесятых: тотальный дефицит, фарца, кассетники с записями Высоцкого, стройотряды с кровавыми мозолями, ежедневные занятия студентов-медиков на человеческих трупах, переполненные трамваи с контролерами, длиннющие очереди за книжными новинками, череда дряхлеющих у власти генсеков, цинковые гробы, прибывающие из Афгана.

Из всех многочисленных книг Алексея Мальцева — «Перчатки с пришитыми пальцами», на мой взгляд, самая удачная. Лихо закрученный сюжет, который все время держит читателя в напряжении, совершенно непредсказуемая развязка...

Но это еще не все. Если у Чейза наблюдается простой разворот детективного интереснейшего сюжета, то у Мальцева, подобно Сименону, мы отчетливо видим характеры персонажей, их мысли, желания, чувства.

В романе много действующих лиц, большинство из которых — медики, призванные спасать человеческие жизни. И помимо детективного сюжета через весь роман проходит негласное противостояние двух главных героев — Станислава Пермякова, старательного, но сложного и непредсказуемого студента, а затем талантливого сосудистого хирурга, и профессора Евгения Анатольевича Гинзбурга, его учителя.

Гинзбург — этнический немец, который жестоко пострадал от советской власти. Его, молодого врача, работающего в госпитале вблизи Одессы, в начале войны интернировали по национальному признаку и заключили в колонию в районе Соликамска. Он был разнорабочим в «трудовой армии» в глухом таежном краю. Только через пять лет смог вернуться к профессии врача. Но удары судьбы и несправедливости не сломили Гинзбурга. Начав путь с провинциального хирурга и быстро обнаружив в себе большие способности к науке, постепенно он приобрел вес как знаменитый хирург и ученый, стал известным на всю страну академиком, ректором медицинского института. При этом он остался морально чистым человеком, всего себя без остатка отдавая больным, науке, неустанно воспитывая студентов и молодых врачей. Прототипом профессора Гинзбурга является академик Евгений Антонович Вагнер, в честь которого ныне назван Пермский медицинский университет.

Антипод Гинзбурга в романе — Стас Пермяков (его прототип — Сергей Суханов). В детективном сюжете постепенно раскрывается сложная личность Стаса. В студенчестве в его характере всходили хорошие ростки — стремление посвятить свою жизнь медицине, стать высокопрофессиональным хирургом. Казалось, он всё делает для этого: посещает ночные дежурства в клинике, стремится стать настоящим профессионалом-медиком. Отбросив многое другое в жизни (книги, театры, спорт), он целыми днями пропадает в больнице. Со всею страстью он пытается овладеть техническими основами своей профессии, не особенно вникая в жизнь, мысли и чувства своих больных. Главное для него — научиться «хорошо вязать узлы» и ушивать ткани, т.е. чисто техническое выполнение операций.

— Хирургия — не вся жизнь! — предупреждает студента Пермякова Гинзбург. — Пойми: жизнь не ограничивается профессией. Хирургу нужно не только хорошо выполнять операции, но и быть настоящим Человеком.

Слова учителя Стас пропускает мимо ушей. Для него важно втереться в доверие к ректору, он «трется» возле него в клинике, просится на операции, ассистирует ему. Здесь виден тонкий расчет студента и молодого врача, для которого очень важен карьерный рост. Автор мастерски показывает постепенную деградацию личности Стаса Пермякова. Робкие росточки доброго и человеческого в его личности заглушаются и вытесняются сорными всходами аморальных поступков. Он неуравновешен и необуздан, бесконечно вступает в конфликты и драки, всё более злоупотребляет алкоголем. Особенно возмущает его отношение к женщинам. Стас грубо насилует свою первую жертву — юную медсестру Люду, которая любила его, но не хотела быстрого развития интимных отношений. В стройотряде он живет со студенткой-поварихой Таисией, которая надеется на замужество. Но Стас заявляет: «Покувыркались для удовольствия, а жениться на тебе не хочу!»

Будущий хирург Стас Пермяков мечтает добиться технического совершенства Гинзбурга, завидуя ему. «Легко, словно волшебной палочкой, владел скальпелем Евгений Анатольевич». У своего наставника он учится только хирургической технике, отбрасывая в сторону как ненужный «хлам» высокие моральные качества, любовь к больным. Закончив мединститут, неплохо работая профессионально, с блеском завязывая узлы и орудуя скальпелем, талантливый хирург, которого его друзья зовут «Стасёныш», продолжает вести аморальный образ жизни. Все четыре его жены, не выдержав его мерзкого характера, пьянок и распутства, разводятся с ним.

В «лихие девяностые» Стас быстро добивается карьерного роста. Склонность к банкетам и выпивкам, умение легко заводить нужные знакомства, компанейский характер помогают ему подружиться с губернатором и его окружением, с журналистами. А еще помог случай — он удачно ушил рану сердца, полученную пьяным сыном высокопоставленного партийного начальника. И вот он уже принят во французском поместье Лангедок, принадлежащем губернатору О. Крикунову. В шикарном замке губернатор назначает Стаса руководителем Центра сердечно-сосудистой хирургии, решив возвести последний в Камской долине — болотистом месте, где за всю трехсотлетнюю историю

Перми никто бы не додумался строить дома. Но Стас несказанно рад назначению на высокую должность и охотно соглашается на строительство Центра в гиблом и топком месте. Знакомые журналисты начинают без устали восхвалять его в прессе, именуя «отцом пермской сердечно-сосудистой хирургии». Стасёныш не возражает, купаясь в ореоле липовой славы, хотя он прекрасно знает историю пермской хирургии. Еще в 1926 году профессор В.Н. Парин выполнил в Перми первую операцию на сердце, а к 1950 году пермяк Н.И. Григорьев уже имел опыт более двух тысяч операций на сердце.

Выпивка и женщины мешают Стасу заниматься наукой — он не изобретает новых операций и методов, не пишет научных книг. Даже свою диссертацию он строит на краже чужой методики. Врач Ройский разработал сосудистый шов, тренируя его наложение на пальцах резиновых перчаток. Еще студентом Стасёныш случайно увидел эти швы на перчатках и затем стал использовать этот чужой шов на материале своей диссертации. Развязка для читателя наступает лишь в последней главе романа, когда Стас признается, что украл этот шов у Ройского (прототипом последнего является известный пермский хирург В.Н. Бачериков, который действительно разработал замечательный сосудистый шов).

Конец романа — крах жизненного пути Стаса Пермякова. Операция на сердце, которую он выполнил своей возлюбленной далекой юности, закончилась смертью пациентки, наступившей по его вине; в сознании Стаса проясняется «никчемность» и аморальность его человеческой жизни, и вот тогда-то и признается он, что «свой» фирменный шов, которым раньше хвалился, украл у Ройского.

Детектив детективу рознь. Бывает, встретишь такой интересный сюжет, что оторваться от книги не можешь. А дочитал книгу — и вскоре полностью забыл. Но есть книги, которые на основе детективного сюжета поднимают на поверхность целые пласты жизни. Вспомним «И это всё о нём» Виля Липатова. Вот таким же знаковым произведением можно назвать и «Перчатки с пришитыми пальцами». Это — не легковесное чтиво в жанре детектива, а роман о трудной и сложной жизни провинциальной России. А главная идея его — доктор не только должен «хорошо вязать узлы», безошибочно ставить диагноз и лечить — врач должен быть морально чистым Человеком.

Другая наиважнейшая проблема, смело поднятая А. Мальцевым в романе, — национальная. Именно сейчас мы расхлебываем ошибки в национальной политике советской власти. Студенческая группа, в которой состоит Стас Пермяков, — интернациональная. Здесь вместе учатся, проходят медицинскую практику и отдыхают русские, украинец, грузин, узбек, белорус, еврей. Крепкая дружба связывает их всех. Но что же случилось через несколько десятилетий? Они разъехались по «своим» странам (Израиль, Украина, Грузия и др.) и превратились в лютых врагов. Каждый из них сейчас ненавидит другого, бывшего своего товарища по студенческой группе. «Как же такое могло случиться?» — справедливо задает вопрос Алексей Мальцев. Ни у него, ни у меня нет на это ответа. Но факт остается фактом. Мы каждый день убиваем друг друга, а наши бывшие друзья юности, если и смотрят на русских непроницаемым или даже вежливым взглядом, всё равно держат камень за пазухой.

Михаил ОРДЫНСКИЙ-ДАВИДОВ

НЕ СПЕШИ, КОЗА, ВСЕ ВОЛКИ ТВОИ БУДУТ

Эльза Гильдина. Коза торопится в лес. Роман. М.: Эвербук/Дом историй, 2024.

Девяностые для нашей культуры — это не просто десятилетие. Они давно стали именем нарицательным. Оттого и слышим иногда: «Вы что, хотите обратно в девяностые?»

В книге «Коза торопится в лес» Эльзы Гильдиной есть маркеры времени — строчки популярных песен, намёки на начало нулевых. Но какое это имеет значение, если волна девяностых накрыла всю страну одномоментно, а отступала медленно и лениво, отчего в некоторых регионах девяностые перешагнули в нулевые и едва ли исчезли в десятые.

И именно в таких «девяностых» разворачивается история Леси по прозвищу Татарка. Она сирота, хотя по факту у неё живы мама и папа. Правда, мама отбывает очередную ходку в местах не столь отдаленных, а папа — тот, кто подобные ходки организовывает, — он Большой начальник в маленьком башкирском городке.

Лесю вырастила бабушка Хаят — деспотичная и не знающая таких чувств, как забота и ласка. Нет, она, как могла, берегла внучку, но никогда не упускала возможности уколоть, будто бы это Леся виновата в том, что мать в тюрьме. Леся выросла замкнутым ребенком. Немудрено, что от реальности она предпочитала зарываться в книги, к своим фрейлинам и «настоящим» чувствам:

«Я сгусток комплексов. Нахожу утешение в колких мыслях о собственной ничтожности. И чем хуже, непереносимее эти мысли, тем отраднее потом плакаться. Уже заметно, что самобичевание — наше всё? А куда деваться, я ж будущая великая романистка!»

У Леси, как и у большинства подростков, заниженная самооценка, и она хочет поднять ее через признание себя. Заметьте меня! Посмотрите! Я жива, я здесь! Леся пытается добиться признания от второй бабушки, Люси. Признания от новых родственников по отцовской линии, с которыми ей приходится делить жилье. Признания от уличной компании и, главное, от Папы. Леся хочет этого больше всего, ведь слово «Папа» в книге пишется с большой буквы. Но Папа весь в работе, и ему не до дочери.

Однако, несмотря на внешнее своё желание, Леся не выглядит подростком, который остался без родительской опоры. Складывается впечатление, что родители были вынесены за рамки текста лишь по той причине, что они не вплетались в сюжет. Мать фоном сидит в тюрьме. Папа фоном постоянно работает. Родители не являются спусковым крючком сюжета. Они не выступают предметом Макгаффина. Их просто нет. При этом отсутствие родителей проходит мимо не только Леси, но, что важно, и мимо её сверстников. А это уже странно. Дети, как известно, жестоки. И нет ничего хуже, чем быть не такой, как все.

Леся ищет признания себя во внешнем мире, но при этом совершенно не ищет свою самость. Вы можете возразить, что для подростка это и есть норма. Быть принятым в стаю, а ещё лучше стать её вожаком. Но некоторые рассуждения Леси похожи на человека, который не только успел найти опору внутри себя, а даже успел в ней разочароваться.

«И постепенно с утратой собственной надуманной исключительности перестала нуждаться в окружающих предметах как в источниках самоуважения и вынуждать себя проявляться внешне, выделываться, помещаться в центр восхищенных взглядов. Закрылась и ограничила свой круг. Слава богу, не надо никому ничего доказывать!»

Противореча своим словам, Леся продолжает тянуть на себя внимание.

Пока Папа разъезжает по командировкам, Леся учится в пищевом и живет у второй бабки, Люси. Там вместе с Малым — это ее сводный двоюродный брат — она тусуется в компании, где опять же хочет признания (хочет ли?).

«Смотреть противно! Все она делает с видом напускной снисходительности. Терпеть ее не могу за такое фиглярство. Вот бы мне так научиться!»

Однажды Леся по воле случая посещает дискотеку, где местные авторитеты не очень жалуют её Папу и всю его семейку. Так Леся попадает в бандитские разборки и принимает в них далеко не последнее участие.

О «лихих девяностых» написано много. Эта книга отличается тем, что здесь девяностые представлены глазами подростка. И это совершенно меняет ракурс. Люди пытаются встроиться в этот дивный, новый и одновременно свихнувшийся мир. Урвать заработок, прокормить семью, выжить. Что касается детей, то они на этом фоне вынуждены взрослеть.

Девяностые в книге представлены не как время великих перемен, а скорее как сегодняшняя вечеринка в их стиле. Девушки обязательно в колготках и коротких джинсовых юбках. Яркий макияж и обязательный атрибут — чупа-чупс. Парни предпочитают разбавить свой образ барсеткой, малиновым пиджаком и игрушечным пистолетом.

Поначалу это кажется наигранным приёмом. Дескать, ну мы же знаем, как там было. Зачем автор приукрашивает и романтизирует?

А потом вспоминается собственное детство, проведенное в тех же временах и примерно тех же условиях, и на память приходят совсем другие девяностые. Отличные от рационального взгляда взрослого человека.

Стиль автора кинематографичен, а язык ироничен и экспрессивен. Правда, экспрессия часто показывается через обилие восклицательных знаков.

Эльза Гильдина умело вплетает в незамутненную подростковую и плюшевую реальность нити жестокости. Жестокость идет параллельно, отчего подростковый роман как бы заступает на территорию взрослой литературы. Собственно, как и сама Леся, которая вырывается из детства и заглядывает в жизнь зрелую.

Роман «Коза торопится в лес» — это свежий взгляд на девяностые. Мы привыкли в них видеть нищету и разруху, однако, если сменить оптику, меняется и восприятие. Детство происходит в любом случае, на какие бы времена оно ни выпало.

Егор КУЛИКОВ

ПУШКИН ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Борис Кутенков. 25 писем о русской поэзии. М.: Синяя гора, 2024.

Любое истинное открытие, к какой бы области оно ни принадлежало, нередко ставит под сомнение или и вовсе аннулирует общие места.

В области литературы таким опровержимым общим местом является утверждение, что поэт работает со словом. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не совсем так и слова не существует вне контекста. Внеязыковой пласт поэзии чрезвычайно разнообразен. Так, классическую завершённость, прозрачную стройность пушкинского «Онегина» контрастно оттеняют авторские комментарии к роману. Их составляют житейские и литературные анекдоты, меткие замечания автора на полях своего произведения и проч. и проч. Пушкин работает не столько со словом как таковым, сколько с границей, которая пролегает между житейской весёлостью литературных сплетен и классической завершенностью «Онегина» как художественного целого.

Не случайно сегодня едва ли не ещё одним — очередным — общим местом стало представление о том, что авторским комментарием к роману Пушкин предвосхитил нынешний интернет, который буквально кишит литературными сплетнями, замечаниями по поводу недавно вышедших книг et cetera.

В современном (а значит, вполне пушкинском) ключе построена и книга Бориса Кутенкова «25 писем о русской поэзии». Едва ли оные письма могут быть резко противопоставлены развёрнутым комментариям — речевому жанру, к которому нас всех располагает современный компьютер (а не только Пушкин).

Достаточно упомянуть, что и Кутенков ориентирован не на общие места и высокопарные «измы», а на колоритные частности. Одна из них присутствует в стихотворении Сергея Гандлевского «На смерть И.Б.»:

> Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать.
> Мы «андроповки» берем…

В данном случае окололитературный быт, который существует за кулисами поэзии, позволяет автору преодолеть штамп, избежать общих мест. В то же время без них литературный быт принял бы самодовлеющий характер. Борис Кутенков проникновенно замечает: «Не побоюсь даже сказать, что такому виду лирики необходима определённая степень попсовости, с которой как раз и совмещаются литературоцентричные координаты, дабы не оставить стихотворение всецелой попсой».

Доля пастозности в стихах Гандлевского обусловлена его принадлежностью к поэтической группе «Московское время», возникшей в эпоху 70-х и нацеленной на историческую конкретику. Не единственной, но, несомненно, значимой составляющей книги Кутенкова являются его комментарии к стихам, в которых массовая стихия парадоксально соседствует с сердечно-сокровенными нотами. Интимно-психологическими, но оттого не менее узнаваемыми на страницах рецензируемой книги являются стихи Бориса Рыжего.

> Погадай мне, цыганка, на медный грош,
> растолкуй, от чего умру.

Осмелимся утверждать: там, где можно встретить цыганку, ожидается обстановка не названного, но подразумеваемого вокзала хотя бы уже потому, что цыгане — неприкаянный, кочующий народ. Конечно, в текст необязательно привносить железнодорожные реалии, однако и без них цыганка ожидается в одном из посещаемых общественных мест, будь то хотя бы и базар или любое другое место множественного скопления людей.

И вот эта массовая стихия, извечная спутница бездомного народа, в стихах Рыжего несколько парадоксально сочетается с интимно-сокровенным вопросом: какая судьба ждёт поэта? (Гадание вообще тайное, а не массовое занятие.)

Рыжий пишет от лица цыганки:

> Станет сын чужим и чужой жена,
> отвернутся друзья-враги.

Мотивация трагического одиночества, которое неминуемо ждёт поэта, может быть восстановлена не из текста, а из контекста: как существо, равновеликое вселенной, поэт фатально исторгнут из уютного домашнего круга и даже из среды почитателей.

Борис Кутенков усматривает в участи поэта источник своего рода намеренной ломки слов; в созвучии *«чужой жена»* ему видится мужской род — свидетельство отчуждения поэта от своих домашних.

Контрастная соотносительность личной трагедии поэта и её подчёркнуто социального (едва ли не массового!) фона прямо или косвенно связана с принадлежностью Бориса Рыжего к уральской поэтической школе. Её приверженцы (не только Борис Рыжий, но и Олег Дозморов) склонны к аристократически-изысканной литературной игре с массовым сознанием. Так, в стихотворении Дозморова, которое Борис Кутенков включил в книгу, индивид-интеллигент контрастно предстаёт на фоне своеобразной поэтической массовки:

> В Москве, передают, забиты рестораны…

Если текст содержит нейтральное сообщение, то контекст не является нейтральным хотя бы уже потому, что на сторонне-житейском примере сообщается о положении дел в стране и её древней столице. Более того, пойти в ресторан — это социальный жест, отнюдь не сводящийся к простой физиологической интенции — пойти поесть.

В стихотворении Олега Дозморова значимо то, что не сказано или сказано между строк. Мы вновь убеждаемся: поэт работает с «немым» контекстом едва ли не в большей степени, чем со словом.

Борис Кутенков замечает: «Ни одно слово не произнесено впрямую (вполне в духе времени, но и в духе поэзии тоже)».

Стихи Дозморова, при всей их злободневности, не являются общественно воспитательными, поскольку в них присутствует достоевщина и сумасшедшинка.

Ещё более радикально некрасовские ноты сочетаются с достоевщиной в стихах Дмитрия Гаричева. Поэт обращается к приезжим, к чужакам, как он их понимает:

убирайтесь назад, подмосковье для ленинабадских.

Социальный пафос у Гаричева сочетается едва ли не с достоевской истерикой, с демонстративно скандальным жестом, по поводу чего Борис Кутенков замечает: «и здорово, что концовка именно такая: резкая, несправедливая, задиристо-подростковая. Гуманистическая. Противоречащая бытовой логике. Нарушающая — да к чёрту её — эту самую логику; конечно, в пользу поэзии».

И всё же возникает один вопрос: кому присущи подростковые качества, автору или герою произведения? Если перед нами не слова автора в собственном смысле, остаётся признать, что автор (находящийся «за кадром») ироничнее и шире своего героя. Впрочем, широта поэтической души внутренне оправдывает тот самый эстетически обаятельный перехлёст, о котором с восхищением пишет Борис Кутенков.

В стихах, которые Кутенков опубликовал в своих «Письмах», прослеживается единый умственный зигзаг. Автор, бывало, заведет разговор на социальную тему, а закончит упоминанием о тайнах счастия и гроба (Рыжий, Гандлевский, Гаричев и др.). Однако в некоторых стихах, собранных Кутенковым, наблюдается и нечто резко противоположное: иррациональное начало, сопряжённое с силами смерти, обретает житейски удобопонятную форму. Так, выказывая необъяснимое влечение к боли, Лена Элтанг пишет:

я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу…

Напрашивается параллель из Достоевского. Жестокий классик некогда сказал: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. …Человек не родится для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием».

Книга Бориса Кутенкова не является просто антологией русского стиха, прокомментированной автором. Раскрытая перед читателем книга Кутенкова содержит прямой или опосредованный ответ на вопрос о том, на каких перепутьях стоит русская поэзия сегодня и какие дороги перед ней открыты. Отдалённо вторя творцу «Онегина», наш современник устремлён к трогательным частностям в поэзии. (В эстетике минимализма выдержана и вся книга.)

Её автор подчас явно, подчас иносказательно свидетельствует о том, что громогласный бас Маяковского сегодня востребован менее, нежели сердечный шёпот Ахматовой. Наблюдения и тезисы Бориса Кутенкова согласуются и с нынешней литературной ситуацией: поэзия перешла из людных стадионов в уютные библиотеки и стала уделом меньшинства, что, однако, не отменяет гениальности Маяковского. Просто сегодня иной век русской поэзии, эпоха гигантизма миновала.

Случайно ли то, что в книгу Бориса Кутенкова включена особая глава об Ахматовой, чья поэзия намеренно тиха. «Ахматовской звать не будут / ни улицу, ни строфу», — напророчила о себе Ахматова, добровольно отрекаясь от славы.

Новая волна русской поэзии, которая, возможно, явится из ахматовских глубин, позволяет нам перефразировать известные слова Евтушенко: «Поэт в России — больше чем поэт». Это значит, что поэт при необходимости берет

на себя глобальную общественную роль и едва ли не пророческую миссию. Однако сегодня мы могли бы сказать, опровергая Евтушенко: «Поэт в России — меньше, чем поэт». Это значит, что поэт сегодня оберегает свободу частного бытия и сам не встаёт на котурны. Он позиционирует себя не в качестве гиганта, а в качестве мягкотелого интеллигента (разумеется, способного испытывать боль и знающего цену страданию человеческому).

Случайно ли то, что в книге Бориса Кутенкова опубликовано стихотворение Ганны Шевченко «В том же платке…», где с долей скепсиса описана эпически суровая личность?

я, говорит, ваш учитель, а вы не слушаете меня…

По контрасту вспоминается евангельская максима: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос; все же вы — братья».

Евангельская свобода от спорного морализирования в составе книги согласуется со стихией смиренномудрия. Оно, в свою очередь, побуждает нас вопреки грозным витиям ставить милосердие выше справедливости. Именно к милосердию взывает митрополит Илларион — древнерусский автор, написавший «Слово о законе и благодати».

Но неужели поэзией не может управлять и несгибаемый закон, который Пастернак соотнёс с ужасным существом, дьяволом недетской дисциплины? Конечно, поэзия может быть неисчерпаемо разнообразной, однако Борис Кутенков говорит о том, как в современной русской поэзии живёт зов будущего. Вслушиваясь в него, мы со временем, как знать, почувствуем звучание русской классики XXI века.

Василий ГЕРОНИМУС

ПРОСТРАНСТВО СТРАДАНИЯ

Джесмин Уорд. Пойте, неупокоенные, пойте. Пер. с англ. М. Череповского. М.: АСТ, Corpus, 2024.

В 2017 году Национальную книжную премию США получила чернокожая писательница Джесмин Уорд за роман «Пойте, неупокоенные, пойте», который семь лет спустя вышел по-русски в издательстве Corpus. Уорд продолжает традицию Тони Моррисон и пишет о сложностях общежития чернокожих и белых в Америке. Писательница не обвиняет белых в расистских преступлениях прошлого, а просто рассказывает американскую историю, когда в середине XX века на американском Юге по-прежнему могли линчевать. На страницах романа есть ужас, но нет ненависти, и книга Уорд — это скорее крик, а не обвинительная речь. При этом текст, хоть и представляет собой выдуманную историю, вырос из вполне конкретных исторических и географических реалий.

В романе рассказ ведут трое. Первый — это тринадцатилетний подросток Джоджо, который родился у чернокожей матери и белого отца. Отец Майкл некогда работал в море на нефтяной вышке, но там случился разлив нефти, и он потерял работу. Когда вернулся домой, то впал в депрессию и превратился в наркомана. Что касается матери по имени Леони, то она работает в каком-то кафе и тоже сидит на наркотиках. У нее от Майкла еще есть трёхлетняя дочь Микаэла, но детьми Леони не занимается, поэтому Микаэлу фактически воспитывает старший брат Джоджо. Майкл сейчас находится в тюрьме из-за наркотиков, и сидит он в печальном месте под названием Парчман — это старое исправительное учреждение.

Джоджо вместе с младшей сестрой и матерью живёт у чернокожих родителей Леони, которых называет Па и Ма, хотя они ему дедушка и бабушка. Па — крепкий мужчина, который держит свиней и коз и своей твердостью является образцом для внука. А у Ма диагностировали рак, и она медленно умирает, уже не вставая с кровати. И вот приходит сообщение, что Майкла досрочно выпускают из тюрьмы. Леони берет детей и отправляется его встречать к воротам Парчмана. Путь туда и обратно составляет добрую половину книгу, и периодически рассказчицей будет становиться Леони.

Третий рассказчик — это двенадцатилетний чернокожий мальчик Ричи, появлению которого мы обязаны прошлому Па. Когда Па был очень молод, он тоже попал в Парчман, и совершенно ни за что. Оказавшись там, он познакомился с Ричи, которого посадили в тюрьму из-за мелкого воровства — мальчик крал еду, потому что ему и его семье нечего было есть. Па, будучи старше, стал заботиться о юном друге и всячески помогал ему. Однако с Ричи произошла очень трагическая история, и до самого конца мы не будем знать, какая именно. Теперь этот мальчик в виде призрака будет являться Джоджо, которому Па кое-что расскажет из своего тюремного прошлого, и что-то требовать. Все станет ясно только в конце.

Действие романа происходит в вымышленном местечке Бойс в штате Миссисипи. Это местечко является братом-близнецом реального городка Делил с населением не более 1500 человек, где выросла сама писательница. Многие проблемы Делила Уорд перенесла в свой роман. В 1980-е и 1990-е городок охватила эпидемия употребления крэка, а в последние годы изменилось только то, что вместо крэка стали употреблять метамфметамин. Поэтому Майкл и Леони наркоманы. В Делиле редко кто стремился получить образование, и Джесмин Уорд единственная в своей огромной семье пошла в колледж. Несмотря на то, что чернокожие семьи живут здесь поколениями, у них нет никакого реального влияния на власти. Получив образование, Уорд

вернулась в Делил, но ей совершенно не нравится происходящее в городе. Избираемые власти не представляют интересы своих избирателей, люди живут без страховки и нормальной медицины, хотят только чуть-чуть подняться по социальной лестнице и дальше жить на взятки. И кругом постоянное насилие, причем чаще в кругу близких друзей. Поэтому и в романе брата Леони убивает кузен ее будущего мужа. Собственный брат Джесмин Уорд был сбит пьяным водителем, и никто не понес ответственности за его смерть.

Тюрьма Парчман тоже не выдумана. С детства писательница знала, что Парчман страшное место, и ей снились кошмары о том, как ее родных арестовывают и отправляют туда. В середине XX века люди у власти изменили законы так, чтобы даже за незначительные преступления вроде бродяжничества или мелкого воровства чернокожих можно было упрятать за решетку и заставить работать на полях. Подавляющее большинство заключенных в Парчмане были черными. Они также сдавались в аренду промышленным магнатам и использовались на строительстве железных дорог. В романе заключенному мальчику Ричи всего двенадцать лет, и это тоже не выдумка. Информацию о малолетних заключенных Парчмана автор взяла из реальных источников.

Тем не менее нельзя сказать, что антипатия черных и белых — это главное высказывание «Неупокоенных». Родители Майкла, правда, не приняли чернокожую супругу сына и даже ни разу не видели внучку Микаэлу. Да и Джоджо ни разу не слышал, чтобы белый дедушка по отцу хоть раз назвал его по имени. Будет некрасивая сцена, когда освободившийся Майкл с семьей заедет к родителям, и все это закончится скандалом — до того сильна будет неприязнь его отца к черным. Но, с другой стороны, сам Майкл ведь женился на чернокожей, и любовь у них самая настоящая, полная страсти. Как же сильно Леони мечтала о том, что Майкла выпустят из тюрьмы! Кроме того, черные родители Леони приняли Майкла в свой дом. Поэтому Джесмин Уорд не абсолютизирует расовую ненависть, хотя история молодого Па и мальчика Ричи полвека назад действительно была полна расистского ужаса.

Есть много признаков того, что даже в суровые годы XX века на американском Юге уже не было реального рабства. По словам Па, в середине века белые из кожи вон лезли, чтобы заставить черных работать бесплатно, но сделать этого уже не могли, несмотря на все желание. Работать могли заставить только в тюрьме, и Па помнит, как тяжело было трудиться на хлопковом поле Парчмана от рассвета до заката в страшную жару. Тем не менее уже в XXI веке юная Леони водит «Шевроле Малибу» — машину, которую родители подарили ей на выпускной. Значит, в Америке черные без труда уже могут заработать на машину для детей.

В «Неупокоенных» изображена, конечно, неблагополучная семья. Джоджо был вынужден повзрослеть гораздо раньше, чем это обычно бывает. Он отдает себе отчет в том, что никогда не сможет понять родную мать и ее равнодушие к детям. Он научился многое замечать и делать горькие жизненные выводы. Иногда воспоминания этого тринадцатилетнего подростка о прошлом напоминают воспоминания пожилого человека.

Еще в романе Уорд есть элементы мистики. Мать Леони была кем-то вроде местной знахарки и лечила травами. Она имела доступ к потусторонним силам и умела слышать голоса вещей и все понимать о людях с первого взгляда. Теперь и Леони видит призраков, например, своего убитого брата, правда, возможно, все эти видения вызваны наркотиками. Стройной философии в этих мистических элементах нет, а отец Леони вообще исповедует что-то вроде первобытных воззрений. Он верит, например, что клык кабана на поясе даст ему силу этого животного. Это какая-то невнятная и сырая мистика, в которой нет системы, а есть нагромождение банальных эзотерических элементов, которые к тому же никак не резонируют друг с другом и не совершают сюжетной работы.

Наибольшее развитие получает история с Ричи, который был маль-

чиком в 1948 году, когда сидел в Парчмане с Па, а теперь, уже в XXI веке, явился Джоджо таким же двенадцатилетним. Если прибегнуть к восточной традиции, его поведение напоминает голодного духа, который не может успокоиться, потому что на земле у него остались печали и незавершенные дела. Но при чтении этой книги в общем-то даже неинтересно ждать, чем кончится история, потому что и так все понятно. Ричи неспокоен, поэтому ясно, что с ним случилась трагедия — его убили, и наверняка жестоко. Ма умирает, и тоже не вызывает сомнений, что она умрет и смерть ее будет обставлена мистическими сценами, ведь она была знахаркой. А Па, долгое время избегавший этого, обязательно расскажет Джоджо, чем все закончилось в Парчмане с Ричи. Конец истории ясен заранее, хотя это и не отменяет важности сказанного.

Как и Тони Моррисон, Джесмин Уорд хочет вернуть достоинство американским чернокожим. Такие достойные люди в романе — это, конечно, не наркоманка Леони, а ее отец Па и сын Джоджо. Джоджо во все глаза смотрит, как держится его дедушка, как он зачесывает волосы назад и как аккуратно ест. В Парчмане Па прошел через страшные испытания. Чтобы не умереть там, он думал о матери — подлинно человеческое чувство. Вот и Джоджо, вполне вероятно, станет таким же достойным человеком. А Леони отказалась от сопротивления. С юности она наблюдала жизнь в деревне и знала, что за ярким периодом расцвета всегда следуют старение и гибель. Эту депрессивную идею она усвоила как-то очень легко и даже не постаралась как-то облагородить свою жизнь, позволив ей медленно катиться под откос. Даже будучи беременной, она нюхала наркотики. В это же самое время Па учил внука Джоджо совершенно противоположному: быть взрослым — это значит понимать, когда нужно плыть по течению, а когда с ним бороться. Леони бороться не хочет, она инфантильна.

Проза Уорд не достигает напряжения, присущего работам Фолкнера и Моррисон. Часто текст «Неупокоенных» вязнет в описании повторяющихся бытовых ситуаций. Повествование, бывает, прерывается, чтобы задержаться на описании физических контактов между людьми: поглаживаниях, прикосновениях, объятиях. Сюжетного материала здесь скорее на повесть, поэтому роман может показаться немного затянутым.

В «Неупокоенных» описана неспокойная жизнь, которая вся состоит из узлов и боли. Старшее поколение вроде несёт знание, но оно какое-то депрессивное и не помогает облегчить жизненные страдания. И одновременно парадокс: несмотря на то, что речь идёт о семье наркоманов, в романе много сцен настоящей нежности и любви. Ма любит Леони, когда та заявляет о своей беременности в семнадцать лет, Леони любит Майкла, когда тот выходит из тюрьмы, Джоджо любит сестру Микаэлу, когда ту тошнит в дороге. Как будто нужны трудности, чтобы в семье расцвела любовь. Сознательный выбор своей темы подчеркивала и сама писательница. Она выбрала писать о чернокожем мальчике, растущем на американском Юге, потому что в этом был драматический потенциал. И намеренно решила сделать Джоджо ребенком белого отца и чернокожей матери, чтобы отразить всю сложность ситуации. Поэтому есть основания полагать, что роман получил национальную книжную премию США как раз скорее за тему, чем за художественные достоинства. А тема здесь очень болезненная для американцев, и действительно кажется, что пространство страдания здесь поглощает прошлое, настоящее и даже будущее.

Сергей СИРОТИН

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ

Анора. Реж. Шон Бэйкер, 2024, США.

Нечасто фильмы с российскими актерами номинируются на престижные западные кинопремии и тем более выигрывают их. Фильм «Анора» в этом плане стал триумфальным. Он был снят американцем Шоном Бэйкером, а многие ключевые роли сыграли актеры из России — Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. «Анора» получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2024 году, а в 2025 году пять премий «Оскар», включая премию за лучший фильм. Юра Борисов первым из российских актеров претендовал на «Оскар» в номинации на лучшую мужскую роль второго плана, но не получил его. Однако скажем сразу: не нужно думать, что раз здесь играют актеры из России, то режиссер захочет выразить русский дух, описать историю нашей страны или ее героев. Все с точностью до наоборот. Образ русских людей здесь совершенно отталкивающий, это абсолютно разложившиеся и избалованные персонажи, которые привыкли все получать за деньги безо всяких церемоний. Русские в «Аноре» — это богачи-выскочки, считающие, что им принадлежит весь мир. Но, конечно, фильм Бэйкера интереснее стереотипов о России. Его послание лежит не в области поучительной морали или ее отсутствия, а в области эффектных историй о жизненных поражениях, когда неудача приходит именно потому, что так устроен мир — сильные властвуют, а слабые подчиняются. Это очень импонирует в «Аноре», потому что подавляющее большинство американских фильмов снимается как раз об историях успеха. А здесь поражение — полное и бесповоротное. Героям «Аноры» не хочется сопереживать, они отталкивают, но сама история удерживает наше внимание яркостью своего кинематографического движения, которое поддерживают взрывные эмоции, ярость и ругань. Траектория киноповествования здесь интереснее, чем его содержание. Однако содержание для многих наших соотечественников может показаться настолько возмутительным, что пересказать его необходимо.

Двадцатитрёхлетняя девушка Анора, которая предпочитает имя Эни, работает в Америке, в так называемом танцевальном клубе. На самом деле этот клуб следовало бы назвать борделем. Эни танцует стриптиз, но за отдельную плату готова уединиться с клиентом в отдельном номере и исполнить любой каприз. То, что происходит в отдельных номерах, — это уже почти порнография. Вроде бы это только танцы, но телесный контакт вполне возможен. На словах Эни мила и приветлива, однако ее немного помятая физиономия уже многое говорит о жизненном опыте. Быстро становится понятно, что она лицемерит и танцует только для того, чтобы содрать с клиента побольше денег.

И вот однажды в клубе объявляется 21-летний молодой человек по имени Иван Захаров. Подбежавшая Эни со своим наигранным щебетанием говорит Ивану, с которым еще и десяти секунд не проговорила, что он ей очень нравится. Иван тоже в таком восторге от Эни, что после всех увеселений в клубе приглашает ее к себе домой за отдельную плату. Иван живет в гигантском особняке в исключительной роскоши. Выясняется, что он сын русского олигарха и временно находится в Америке. Чем он здесь занимается? Только тусовками, сопровождающимися употреблением алкоголя и наркотиков. Он избалованный бездельник, не работавший ни единого дня. В частности, приводя Эни в дом, Иван говорит, что «они не убрали мою кровать». Так мы понимаем, что кровать за него убирает прислуга.

Эни понимает, что нужна этому парню только для секса. Она и не

против, ведь ей хорошо платят. Однако после пары встреч Иван начинает предъявлять полные права на девушку. У нее не должно быть никаких своих планов, и она просто обязана явиться на его вечеринку по случаю Нового года, при этом приводить других парней запрещено. Эни отвечает, что на Новый год у нее праздничный тариф, но для Ивана деньги не проблема. Позже дело заходит еще дальше. Иван предлагает Эни жениться, и для девушки это выглядит настолько немыслимо, что она не может поверить своим ушам. Однако Иван серьезен, и Эни, посмеивавшаяся над ним во время интимной близости, соглашается. Пара расписывается в Лас-Вегасе, и в ответственность молодых людей в маленькой часовне трудно поверить, до того она шутлива и несерьезна. Но дело сделано, и теперь Эни, очевидно, может претендовать на богатства нового мужа.

Разумеется, все это очень не понравилось родителям Ивана. Армянин Торос, который не последняя величина в местной армянской диаспоре и одновременно подчиненный русского олигарха Николая Захарова (отца Ивана), осторожно докладывает боссу, что ситуация вышла из-под контроля. Реакция следует незамедлительно. Родители Ивана вылетают в Америку, а Торосу нужно заставить Ивана и Эни аннулировать брак.

Иван воплощает собой абсолютно беспринципного, безответственного и морально разложившегося человека. Речь его очень бедная, любимое слово — «офигенный». Чувства неглубоки и сиюминутны. Если он видит что-то и ему это нравится, он хочет это немедленно получить за деньги. Всю планету он воспринимает как место для тусовок и отмечает, что таких вечеринок, какие он организовавает в Америке, в Москве просто нет. Он играет в игры на приставке, курит травку и нюхает кокаин, а однажды медсестра, похоже, специально нанятая, колет Ивану и Эни наркотики в вену, причем Иван сразу требует двойную дозу, ведь ему нужно «тусить до утра». Когда он проигрывает в казино, ему это абсолютно «пофиг». Иван говорит, что всегда счастлив, единственная проблема — это родители. Они запрещают ему ездить на дорогих машинах, и он за это называет их «тупыми». Но самое страшное, отец требует от сына вернуться в Россию и начать работать в его «дурацкой компании», поэтому в Америке сын отрывается по полной. Вот Иван и думает, что если женится на американке, то сможет не возвращаться в Россию.

А что же Эни? Ее жизнь — это совсем другое. В своем танцевальном клубе она работает без страховки и соцпакета, живет только за счет щедрых чаевых, да и теми делится с работодателем. Как же она может отказаться от шанса выйти за сына олигарха? Поэтому, став женой Ивана, она всеми силами защищает свой брак. Защищать его ей придется перед Торосом и его подчиненными, среди которых немного брутальный, но очень обаятельный Юра Борисов, которого она называет «гопником». Трудно переживать за борьбу Эни, которая пытается сохранить свою любовь, потому что любви здесь, по-видимому, нет, слишком все взбалмошно и несерьёзно. При этом Эни не считает себя проституткой, хотя первоначально начала оказывать интимные услуги Ивану за деньги, да и сам режиссер говорил, что снимал фильм именно о секс-работницах. Когда Эни кроет ругательствами Тороса и его подчиненных, мы и видим ту самую безудержную кинематографическую энергию фильма. Эта энергия истерии и накал страстей делают фильм чрезвычайно живым, несмотря на глубокую порочность происходящего. Эни напоминает разъярившуюся кошку, когтями вцепившуюся в свое счастье. Она не будет аннулировать брак, да и Иван поначалу этого не хочет. Необходимо признать, что Эни одновременно дерзка и мужественна, некоторое время ее даже не пугают угрозы сесть в тюрьму, которыми сыплет Торос. И родителям Ивана она в конце в лицо бросает, что думает об их сыне-тряпке.

Тем не менее внимание режиссера к русской культуре очень поверхностно, фактически мы видим только стереотипы. Один раз в фильме играет англоязычная версия песни «Я сошла с ума» поп-группы «Тату».

Здесь Шон Бэйкер действительно взял нечто общеизвестное из России, ведь в 2000-х «Тату» были популярны в мире, почти как «Битлз». Но все же классическая русская культура и пара девушек, притворяющихся лесбиянками, очень далеки. Еще из стереотипов можно упомянуть шубку, которую Иван подарил Эни. Норковая? — спрашивают ее. С высоты своего интеллекта Эни отвечает: «Нет, это сраный русский соболь». Что здесь сказать? Соболя действительно можно символом России, были периоды, когда экономика русского государства во многом держалась на экспорте меха этого пушного зверя. Так что режиссер не погрешил против истины, выбрав этот символ. В дополнение к русской теме можно добавить, что в фильме чувствуется сохранившееся представление американцев о народах Советского Союза как о русских. Так что армяне в «Аноре» — это тоже русские. Торос в стихаре готовится крестить ребенка в церкви, когда его отвлекает телефонным звонком разгневанная мать Ивана, и вряд ли кто-то отличил бы эту церковь от православной. Армяне и семья Ивана действуют как одно целое, что только усиливается какими-то архаично-мафиозными отношениями. Торос и его ребята готовы нарушать американские законы, лишь бы не вызвать гнев русского олигарха, так что изображение наших злых и всемогущих соотечественников здесь явно карикатурно.

Что касается Эни, то ее трудно жалеть, потому что она беспринципна и все делает только ради денег. Но ее борьба за свое недолгое счастье, которое свалилось так случайно, и горькое поражение в конце способны зажечь искру симпатии к ней. Каким бы отталкивающим ни был человек, а все же страданий ему не желаешь. В растоптанной и униженной Аноре мы как будто на мгновение видим рост ее личности и силу характера, и в душе поднимается волна теплоты к этой девушке, несмотря на то что порок практически уничтожил ее душу. Мы понимаем, что это был порок молодости, а сейчас — после жестокой шутки судьбы — она как будто повзрослела, а значит, у нее есть шанс исправиться. Иллюзий мы строить не будем, скорее всего, она вернется в танцевальный клуб и по-прежнему будет развлекать мужчин за деньги, но полученные шрамы, возможно, заставят ее переосмыслить свою жизнь.

«Анора» не решает моральных дилемм и ничему нас не учит. Но это кино заводит зрителя своей энергией и постоянно взвинчивающейся агрессией в духе Тарантино. Здесь мало спокойных диалогов, большинство из них — это так или иначе выяснение отношений. Герои порочны, а их внутренний мир ничтожен. И все-таки печально, что весь богатейший русский мир в этом фильме сводится к избалованным детям русских олигархов и полумафиозной армянской диаспоре, пытающейся их опекать.

С.В.С.

Юрий Казарин

Лента белая моя…

(Несколько слов любви о Вадиме Месяце)

Бог подарил мне дружбу с поэтом Вадимом Месяцем, которая длится и укрепляется более сорока лет. В. Месяц, с учётом времени планетарного, социального и свободного возраста этого выдающегося поэта, поэтического говорителя и песенного мечтателя, — за долгие годы ничуть не изменился: уникальный голос свободного разума, открытого сердца и чистой души работают в лингвопоэтическом космосе по-прежнему вольно, напряжённо (энергийно) и с вызовом. Иосиф Бродский написал объёмную статью о стихах этого странного, сильного и ни на кого — ни на что не похожего думателя и говорителя стихов — небывалых, повторюсь, — странных и уникальных. Произносителей своих, как сегодня любят говорить, «текстов» — много. А певец своих поэтических дум и страданий — один, и это Вадим Месяц, который бросает свой взгляд и слёзный, и улыбчивый, и вербальный всегда, повторюсь, с вызовом. Я знаю очень немногих (а это О. Мандельштам, И. Бродский, их предшественники Ф. Тютчев, Е. Баратынский и подревнее — Г. Державин, В. Жуковский и непревзойдённый Иван Семёнович Барков), — кто «бросает» своими стихами бесконечный, вечный и плодообещающий вызов одновременно бытию, инобытию, интербытию; звучанию фонетическому, полёту стиха музыкальному, любой онтологически оснащённой мысли; социально-интеллектуальной жвачке; и т.д. и т.п. А главное — бесплодной актуальности, литературности и обобществлённости поэтической интенции, которая перерождается в версификаторскую импотенцию. В. Месяц, слава богу, здесь не один: он обитает в хорошей компании поэтов, способных одновременно плакать и петь.

Месяцевская поэтическая скороговорка — неповторима, убедительна и действенна: она подгоняется, разгоняет до высочайших скоростей мышление читателей и коллег. Месяцевская поэтическая ЭНИГМА (см., например, его «Хельвига», его песни и плачи, которые поют и плачут по/о поэзии) способна кричать, шептать и петь одновременно и в пустоту вечности, и в богородность времени — любого: и человеческого в том числе.

Я корову хоронил.
Говорил сестре слова.
На оплот крапивных крыл
Упадала голова.
Моя старая сестра,
скоро встретимся в раю —
брось на камушки костра
ленту белую свою.

(Из «Восьмистиший»)

Моя старая сестра — значит «вечная». Поэт вечно плачет, хороня время, поэт вечно говорит слова — они и есть НАШЕ время, поэт вечно опускает голову на грудь, упираясь затылком в звёзды, поэт вечно в раю со своей бессмертной сестрой/поэзией, бросающей белую ленту на раскалённые камушки костра.

ПОСЛЕДНЕЕ КОЧЕВЬЕ

Let my people go wild

На Камчатке есть такая особенность.

У нас здесь чёрные белки, чёрные берёзы и чёрный песок.

Чёрные белки и берёзы — уже парадокс, противоречие в определении. Белки и берёзы этимологически «белые». Песок этимологически «пёстрый», как «пёс», в Китае — красный, в Екатеринбурге — жёлтый, в Греции — белый. Из-за чёрного песка Петропавловск считается самым грязным городом на планете.

Камчатка — как бы негатив мира и остальной страны.

Непроявленный снимок.

Камера-обскура.

Роман Владимира Ильича Лима, публикуемый в «Дружбе народов», называется «Последнее кочевье».

«Последнее кочевье» — это смерть, последний путь и огненное погребение. На Камчатке ещё в 1960-е коряков-кочевников хоронили, сжигая на костре с собакой и оленем, как Вещего Олега или ветеранов Троянской войны.

Последний поклон превращается в истерн и роуд-муви.

Сделаю небольшое отступление.

У нас на Камчатке сосуществуют 6 собаководческих культур.

Охотничья — друг охотника.

Охранная — друг охранника (кшатрия).

Ездовая — друг таксиста. Это главный после икры камчатский бренд, «Берингия».

Съедобная — для крестьянина-собаковода.

Декоративная — для среднего класса.

Космическая — для запуска в космос. Наш посёлок Вулканный был специально построен для этой цели.

Примиряет всех Анубис, самый лютый судия, проводник в смерть. Он же главный псоглавец. Он же Христофор-богоносец. Он же — пёс-Ц.

Война, охота, промысел, рискованное земледелие и космонавтика — 4 способа «последнего кочевья». Уход на новые земли, переход со старого кочевья на новое — тоже «последнее кочевье». Переход диалектической спирали на новый круг — это «последнее кочевье» для тех, кто в потоке. Бросок в космос — последнее кочевье. «Последнее кочевье» — это исход.

Le roi, la foi, la loi, la voie
Король, вера, закон, путь
(лозунг французских роялистов)

Центральными героями романа являются собака Айна (по-эвенски айинна — природа) и мальчик-аутист, Максим Иннокентьевич Долганов. Герои Лима, три поколения Долгановых, — из эвенов-долган, тунгусского племени, пришедшего на Камчатку ещё позже нас, русских. И открывшего в центре полуострова долину Эссо. Эссо у нас называют камчатской Швейцарией, она прикрыта сопками от моря-океана, что создаёт особый микроклимат. Эвенов называли французами севера, потому что они ездили на оленях верхом. А Эссо называли Шамбалой.

Дилемма кочевника описывается анекдотом про богатыря. Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — от жены умрёшь, назад пойдёшь — совсем пропадёшь, никуда не пойдёшь — всё равно умрёшь. Тогда богатырь говорит: «Будем взлетать!»

Когда-то в 1740 году для эвенов переход из Якутии на Камчатку был таким же «последним кочевьем», как для Бенёвского в 1741-м бросок с Камчатки на Мадагаскар, а для Гагарина — в космос, вслед за Белкой и Стрелкой.

Второй после собаки центральный герой романа — её хозяин, мальчик-аутист.

Очень характерное напарничество. Собака — инстинкт, Оно. Аутист —

интеллект, Суперэго. Мальчик-аутист (или, скорее, аспергик) отмечен способностью запоминать и считать. Что сразу заставляет вспомнить locum classicum из «Анны Карениной».

«А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе. Она трудная. Счел ли ты деревья?

— Как счесть деревья? — смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. — Сочесть пески, лучи планет хотя и мог бы ум высокий…

— Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит, не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку. Значит, ты ему подарил тысяч тридцать.

— Ну, полно увлекаться, — жалостно сказал Степан Аркадьич, — отчего же никто не давал?

— Оттого, что у него стачки с купцами: он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль».

Тут весь неолиберализм до копейки в одном абзаце.

Итого резюме: «у детей Рябинина будет состояние, а твои дети будут нищими».

Мальчик-аутист — это такой Костя Лёвин. Слишком по-толстовски рассудочный. Который верит, что можно всё сосчитать. Деревья в лесу. Зверей в поле. Рыб в реке. 10 000 часов — чтоб овладеть любым навыком, превратить информацию в инстинкт. 6000 патронов — чтобы стать хорошим стрелком. 27 вещей передвинуть, чтоб изменить свою жизнь по фэншую. 12 шагов — чтоб избавиться от любой зависимости. Его способность считать и «видеть за лесом деревья» — это очень важно. Аутист даёт как бы объективную картину происходящего, эпично-отстранённо, как Гомер. Ну и это ещё намекает на его связь с шаманским родом.

Тут перекидывается лесенка к гностическому мировоззрению эвенов-долган.

12 шагов — это 12 небес гностического космоса долган.

В боевике-истерне Лима события представлены с точки зрения трёх поколений: дедушки-шамана, сына-ветерана, внука-аутиста.

Говорят, чтоб ребёнок выучил язык настоящим образом, ему надо общаться с тремя поколениями: бабушек, родителей и ровесников.

Когда я был молодым, возможно, такая трехпоколенная система работала. Но в 1990-е опыт бабушек и отцов стал быстро обесцениваться. Школы из источника знаний превратились в центры скопления детей и источники кормления для продавцов учебников и школьной формы. Обучают детей смартфоны.

Бабушки — это доиндустриальное обучение.

Родители — индустриальное.

Смартфон — постиндустриальное.

Доиндустриальное обучение — это обучение в семье (предполагалось, что человек нужен семье).

Индустриальное — обучение в школе (родители помогают делать домашку, предполагается, что человек нужен государству или тому учреждению, которое содержит школу).

Постиндустриальное — обучение в смартфоне (человек нужен продавцам смартфонов, чтобы покупал, покупал и ещё раз покупал).

И вот у нас мальчик-аспергик с дедушкой-шаманом, книгами и собакой.

Возможно, книги, дедушка и собака с оленем могут заменить три поколения улиц, детских садов и смартфонов. Как говорил Фёдор Абрамов: «общение с животными — неиссякаемый источник человечности!» Кстати, я встречал такое мнение, что воспитание детей не слишком отличается от дрессировки собак, и что справочники по собаководству описывают процесс воспитания лучше, чем книги по педагогике.

Кочевье воспроизводит процесс обучения в образе «пути» чуть ли не пошагово. Кочевье — вот это вот хождение по кругу до определённого момента — это в общем виде формула любого обучения. В процессе кочевья человек становится путным. Кочевье — это процесс обучения че-

рез повторение и переход на новый уровень, после исчерпания старого.

Племя идёт по определённому пути, в сущности — по кругу, то, что христиане называют error. В какой-то момент истощаются пастбища, тело больше не радует мозг, а мозг не радует тело. И кочевники совершают рывок, переходят на новый уровень.

Это исход, освобождение.

Моисей водил рабов по пустыне кругами (заставил кочевать) не для того, чтобы сделать их свободными в современном смысле. А для того, чтобы сделать их солдатами, то есть навязать им гораздо более жёсткую дисциплину, чем у рабов.

Парадокс? Отнюдь.

Свобода — это рабство.

12 шагов — 12 небес.

Если XX век был веком неврозов, то XXI век стал веком зависимостей.

Достигая 12-го неба, человек получает полное освобождение.

Жаль, что в романе не задействован женский взгляд, взгляд собаки и взгляд врага. «Хищник смотрит на Чужого, Чужой на Хищника». Хотелось бы узнать точку зрения на происходящее и собаки, и медведя. Точку зрения браконьеров и рыбы.

Собака — то, что объединяет аутиста-шамана с землёй.

Женщина — это земля.

Лихой медведь-каннибал — соответствует браконьерам-разбойникам из остатков «Общака».

Ирония судьбы! Как раз когда я консультировался с Владимиром Ильичом и параллельно смотрел сериал Быкова «Лихие» (про дальневосточную ОПГ «Общак»), в Петропавловске один из бывших «общаковцев» (фигурирующий в «Последнем кочевье»), бывший танцор «Мэнго» и актёр фильма «Когда уходят киты», застрелил из карабина директора гостиницы «Петропавловск».

Показательно, что сериал «Лихие» начинается со знаковой сцены разорения медведем пасеки. И заканчивается тоже медведем, но уже каннибалом.

Медведь-каннибал действует в «Последнеем кочевье».

Как медведь становится каннибалом?

Случается, что медведь хочет секса, а медведица с медвежатами не подпускает его к себе. Тогда медведь убивает медвежат, чтобы продолжить, продолжить, продолжить.

Хороший символ кризиса перепроизводства.

Культ экономического роста в современном капитализме — это культ раковой опухоли. Потому что она растёт несмотря ни на что.

Каким будет новый человек?

Когда-то млекопитающие уже однажды решили вернуться в океан. Они не стали изобретать ничего нового. Дельфины и киты стали как рыбы.

Выдумывать ничего не пришлось.

Лапы стали плавниками итд.

Это называется конвергенция.

Теперь человечество тоже стоит на распутье. Стать волком или тараканом? Ликантропия, обращение в волка-варга-врага, оборотня-изгоя, — давняя традиция. Освящённая, например, в «Песнях западных славян» Пушкина. Пушкин самостоятельно придумал слово «вурдалак», переврав сербское «вукодлак», «волчья шерсть».

Другой вариант — стать насекомыми, каковой вариант нам пропагандируют тт. Кафка, «Битлз» и Роман Сенчин.

В общем, человеку предстоит ещё многому научиться у деревьев, собаки, пчелы и рыбы.

Василий ШИРЯЕВ,
Камчатка,
посёлок Вулканный

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2025 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: https://www.pressa-rf.ru/ или https://www.akc.ru/ (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»
по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130,
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

18+

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:
Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
Константин Богомолов — ответственный секретарь
Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
Валерий Исхаков — литературный сотрудник
Александр Зернов — литературный сотрудник
Татьяна Сергеенко — корректор
Юлия Кокошко — корректор
Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:
О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков, В. Исхаков

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
Адреса электронной почты: editor.ural@mail.ru, poetry@uraljournal.ru (для поэзии)

Телефоны:
376-57-49 — главный редактор
376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Подписано в печать 15.07.2025
Дата выхода в свет 27.07.2025
Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6
Тираж 1100 экз. Заказ № 8140
Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

http://uraljournal.ru/
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/ural/